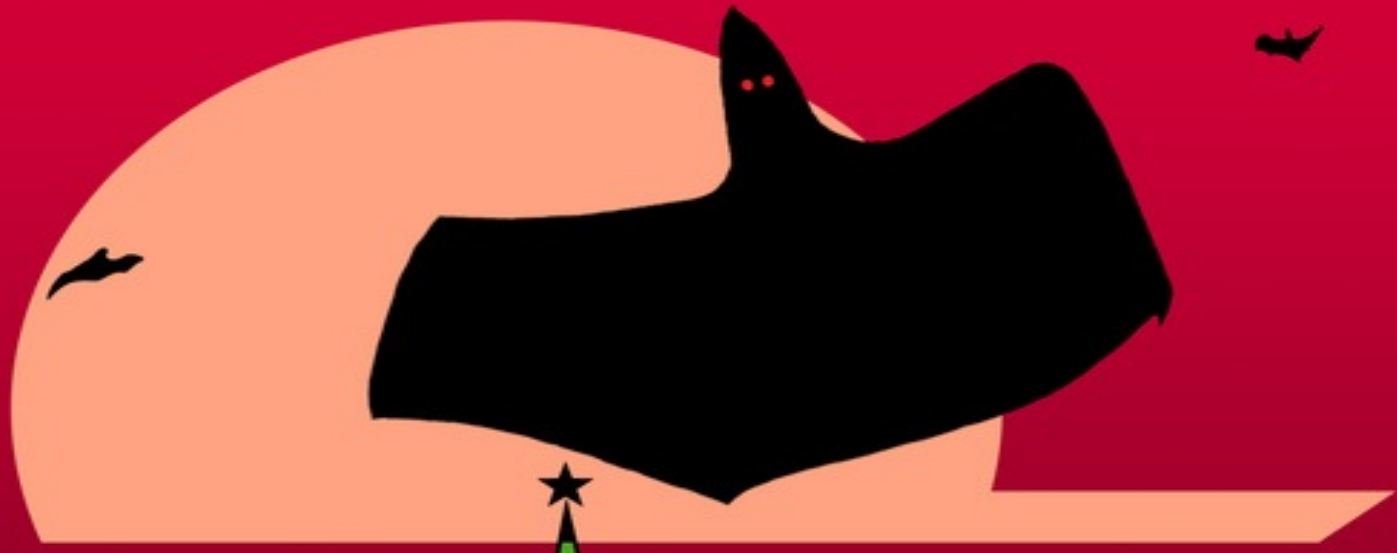
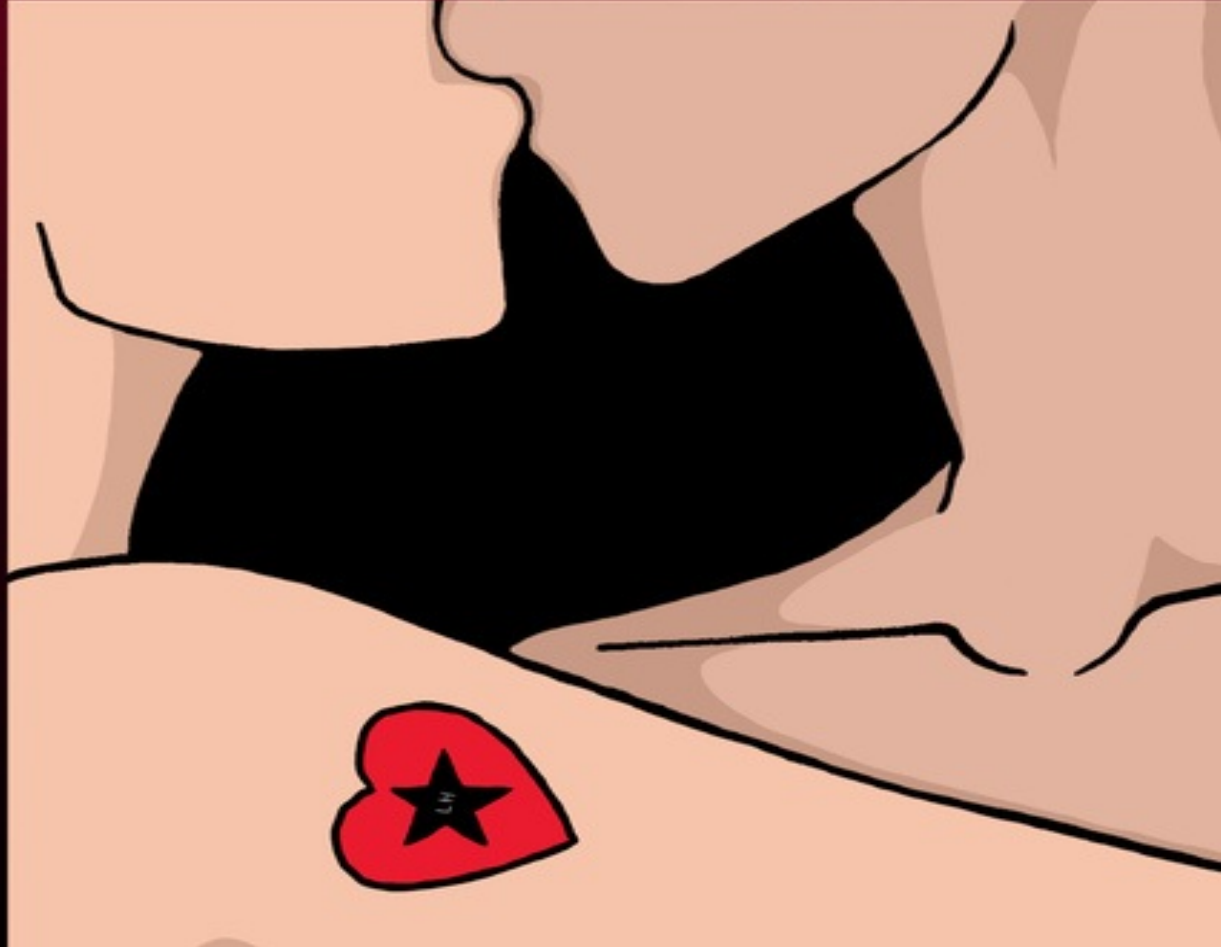


ВИКТОР ПЕЛЕВИН

BATMAN Pollo



Annotation

Про любовь, которая сильнее смерти. Про тот свет и эту тьму. Загадки сознания и их разгадки. Основы вампозкономики. Гинекология протеста. Фирма гарантирует: ни слова про Болотную! Впервые в мировой литературе: тайный черный путь! Читайте роман «Бэтман Аполло» и вы узнаете все, что должны узнать!

- [Виктор Пелевин](#)
 -
 - [Ридмидок](#)
 -
 - [1\) «Язык», или магический червь](#)
 - [2\) Божественные имена](#)
 - [3\) Хамлет и Халдеи](#)
 - [4\) Blood libel](#)
 - [5\) ДНА, Красная жидкость и ее препараты](#)
 - [6\) Ум «Б», агрегат «М5» и Великая Мышь](#)
 - [7\) Баблос и Красная Церемония](#)
 - [8\) Рублевка и Хартланд](#)
 - [9\) Древнее Тело](#)
 - [10\) Черный Шум и Черный Занавес](#)
 - [11\) Покрывающее Восприятие](#)
 - [12\) Укус и Крик Великой Мыши](#)
 - [Позови меня с собой](#)
 - [Воздушный замок](#)
 - [The Hard Problem](#)
 - [Лимбо](#)
 - [Свидетели неизбежного](#)
 - [Золотой парашют](#)
 - [Неизбежное](#)
 - [Ацтланский календарь](#)
 - [Семь Сатори](#)
 - [Haute SOS](#)
 - [Dionysus the Oracular](#)
 - [Щит Родины](#)
 - [Великий вампир](#)

- [Тайный Черный Путь](#)
- [OMEN](#)
- [American Dream](#)
- [Подвиг](#)
- [Приложение](#)
 - [Записи на букву «С»](#)
 - [Сквернословие](#)
 - [Столица](#)
 - [Социальная реализация](#)
 - [СРКН](#)
 - [Совместно с «Wall-Street Journal»](#)
 - [Симулякр](#)
 - [Современная философия](#)
 - [Сознание](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
-

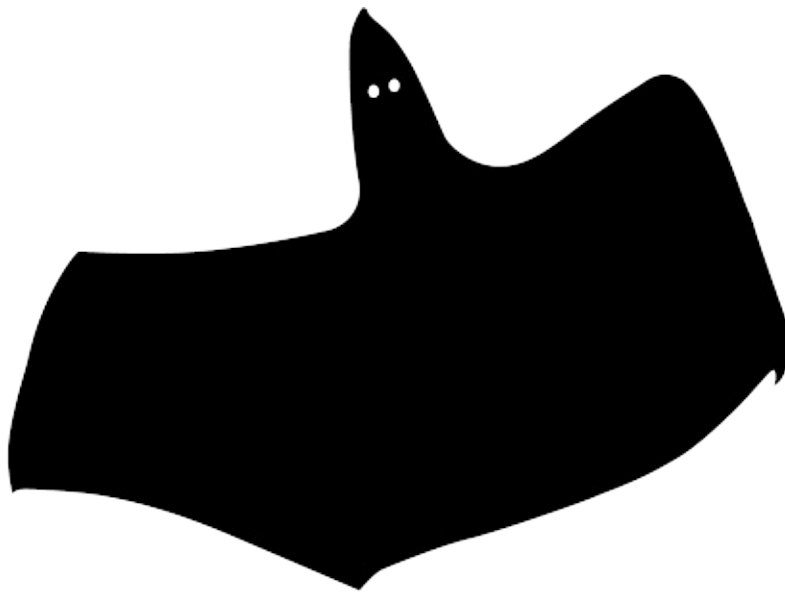
Виктор Пелевин

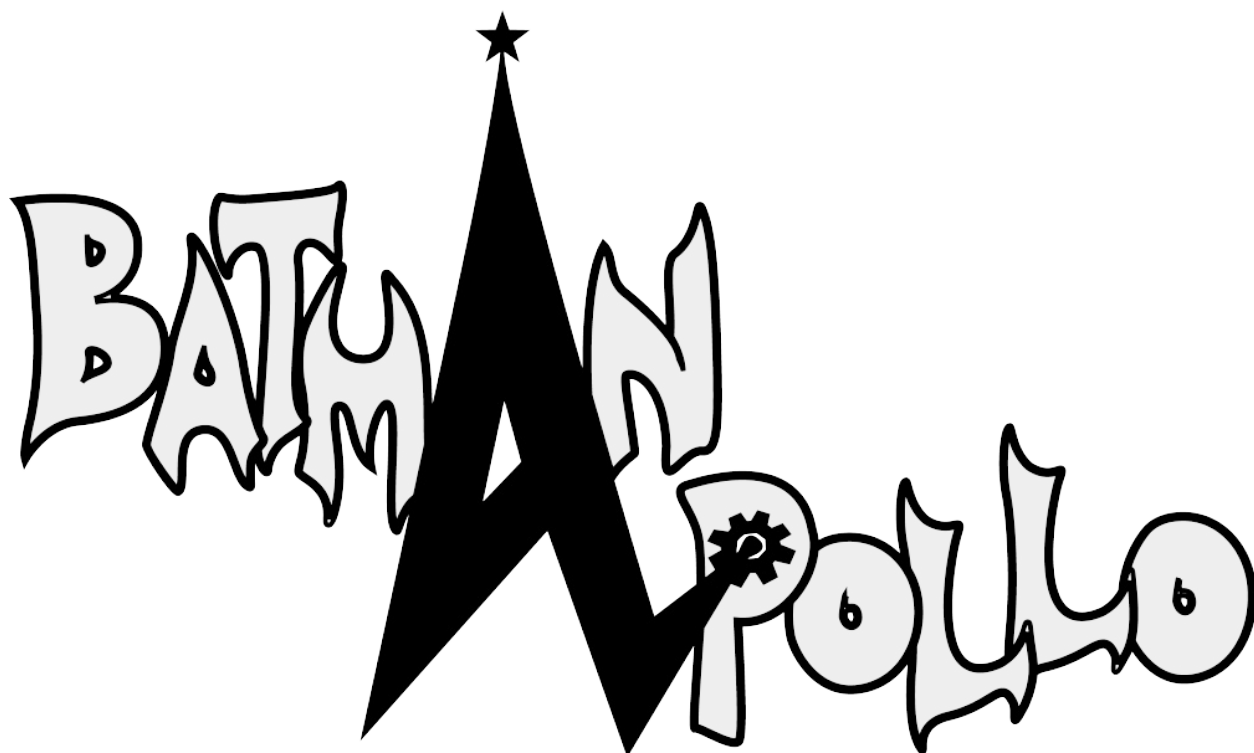
Бэтман Аполло

В жизни вампира есть тайная отрада и тихое счастье.

Они в том, что цивилизационные стандарты либерального гуманизма более не являются для него обязательными.

Граф Дракула





сверхчеловек — это звучит супергордо!

Предупреждение:

книга содержит элементы живого разговорного русского языка (менее 0, 016 % текста). Могут быть задеты сексуальные, политические и религиозные чувства читательницы, а также ее шизофренические и параноидальные комплексы. Автор не ставит такой цели и не несет ответственности за эффекты, возникающие в уме «Б» во время выработки агрегата «М5».

Ридмидок

Все, что вы знаете о вампирах, ложь.

Все, что вы можете прочесть или услышать о них в современном мире, не соответствует истине. Исключением является моя первая книга — «Empire V».

Это короткое вступление предназначено для тех, кто не читал ее — чтобы кратко объяснить, что такое вампир на самом деле.

«Empire V» написан юным и неопытным вампиром — и содержит некоторые фактические неточности, соответствовавшие моему тогдашнему уровню знаний. Поэтому, даже если вы прочли мой первый **роман**, стоит потратить на это введение несколько минут — будет полезно освежить в памяти ключевые понятия нашего мира. Но вы можете вернуться сюда и потом — если возникнет такая необходимость.

Ввести читателя в курс дела проще всего, объяснив термины «Empire V», которые встретятся ему в дальнейшем: это и означает вкратце описать нашу вселенную.

Итак, я начинаю — не в алфавитном порядке, а в той последовательности, в какой мысли приходят мне в голову.

1) «Язык», или магический червь

Вампир по своей природе является двойным существом, подобием всадника, едущего на лошади. В самом центре его черепа живет так называемый «язык» — древняя сущность высшей природы, находящаяся в симбиозе с его мозгом. Интенция магического червя обычно ощущается нами как наше собственное желание. Но язык — дополнительный мозг, поэтому вампиры намного умнее людей. И оттого намного несчастней. Как говорил «наше все» граф Дракула, «один ум плохо, а два — хуже».

Сравнение с всадником и лошадью очень точное: магический червь переходит из одного человеческого тела в другое и практически бессмертен. Поэтому в некотором смысле бессмертен и вампир — меняются только его человеческие оболочки. Разумеется, если вы работаете такой оболочкой, вам от чужого бессмертия не легче. Хотя определенные загробные предпочтения у вас все же есть.

Но об этом позже.

2) Божественные имена

Именно вампиры когда-то открыто управляли людьми под видом эллинских и прочих богов. Потом по ряду обстоятельств мы ушли в тень — но по-прежнему сохраняем власть над миром. По древнему обычаю мы берем себе имена богов, которым поклоняются люди. Но это всего лишь лошадиные клички. Живущие в нас магические черви безымянны.

3) Хамлет и Халдеи

Вампиры любят впадать в нирванический ступор, который наступает от прилива крови, когда мы свешиваемся со специальной перекладины головой вниз. Это связано с физиологией магического червя — но мы переживаем происходящее как собственную потребность и отраду.

У нас, конечно, немыслимые преимущества перед людьми. Мы вытирали бы ноги о список «Форбс», будь у нас хоть капля тщеславия. Но его нет — у нас другие потребности. Нам не интересно трахать дорогих проституток на океанских яхтах, занюхивая кокаином запах приближающегося распада. Любой из нас предпочтет провести несколько лишних часов в хамлете (так называется интимное помещение для зависания вниз головой). В этом наше служение, долг — и награда. Да и просто кайф, чего уж там.

Халдеи тоже начинаются на букву «Х». Больше никакого отношения к хамлету они не имеют. Это наши человеческие слуги, через которых мы управляем планетой. Можно было бы называть их криптоэлитой — если бы это не было так смешно.

Мне скучно говорить про них слишком много — вы и без меня все про них уже поняли. Да, вы видите их много раз каждый день. Если, конечно, смотрите телевизор.

4) Blood libel

Так называемая «кровавая клевета», или «кровавый навет». Издавна висящее на нас обвинение в страшном грехе — что мы якобы пьем человеческую кровь (вампиры старших поколений не употребляют это слово в устной речи и обыкновенно пользуются термином «красная жидкость», который в последние годы уже несколько устарел и все чаще заменяется аббревиатурой «ДНА» — особенно в Америке).

Надо, впрочем, признать, что этот слух распускают не желтые романисты, а мы сами. Более того, все придурковатые фильмы, книги и прочие эмо-франшизы про вампиров финансируем и внедряем тоже мы.

Мы сознательно стремимся спрятаться за грубыми мифологемами и примитивной сказочной образностью, в которую не поверит ни один взрослый человек. Это делает нас абсолютно невидимыми для общества. Мы считаем, что будет лучше, если нас ложно обвинят в грубом грехе, чем правдиво изобличат в тонком, о котором я скажу ниже. И потом, красной жидкостью мы тоже пользуемся. Но не в качестве пищи. См. также «Черный Занавес».

5) ДНА, Красная жидкость и ее препараты

Красная жидкость — это основной информационный агент организма. Когда человек приходит в больницу, он сдает анализ крови — и через час доктор все про него знает. Ну или почти все. Вот так же и мы. Информация не заключена, конечно, в самой крови — она находится в пространстве, известном среди вампиров как «лимбо». Кровь содержит только шифры и коды, которые позволяют считывать сведения, имеющие отношение к данному человеку. Грубая аналогия — это удаленный сетевой доступ. Дегустируя чужую красную жидкость, мы получаем все логины и пароли. Мы можем свободно проникать в чужой внутренний мир.

На этом принципе основана вся вампирическая информатика. Вампиры пользуются препаратами красной жидкости для доступа к знаниями другого человека. Даже если тот умер, особая очистка препарата позволяет сохранить часть его знаний и эмоций. Разница примерно как между живым цветком — и цветком, засушенным между книжными страницами. Однако некоторые вампиры — их называют «undead» — способны переходить грань между жизнью и смертью немислимыми для людей способами.

Особые технологии очистки позволяют отделять записанные в красной жидкости знания от личности обладавшего ими человека. С помощью таких препаратов можно мгновенно овладевать большими массивами незнакомых прежде сведений, совершенно не соприкасаясь при этом с чужой душой.

Различные препараты К.Ж. используются в наших информационных вампотеках и вампонавигаторах, о которых я расскажу в этой книге.

6) Ум «Б», агрегат «М5» и Великая Мышь

В быту мы едим, как люди, только предпочитаем экологические продукты. Если мы и сосем чужую кровь, то исключительно метафорически. Мы высшее на Земле звено пищевой цепи, потому что нашей пищей является сам человек, которого мы когда-то вывели именно с этой целью. Но мы питаемся не жидкостями человеческого тела, а его очищенной жизненной силой.

Под жизненной силой я подразумеваю не телесный жар, который имеет грубую животную природу, а психическую энергию определенного диапазона. Ее генератором является мозг, оснащенный второй сигнальной системой — то есть языком, на основе которого возникает абстрактное мышление.

Вся человеческая культура служит для этого генератора топливом. А все душевные метания людей становятся источником питающего нас психического излучения.

Его производит так называемый ум «Б», создав который много десятков тысяч лет назад, вампиры сотворили и современное человечество. Ум «Б» — это вовлеченная в лингвистическое мышление часть сознания, где слова и основанные на них образы сталкиваются и реагируют друг с другом, образуя нечто вроде смысловой вольтовой дуги, на которую человек замороженно глядит всю свою жизнь как на единственную реальность.

Один из наших поэтов уподобил язык, на котором говорят люди, тени Языка — магического червя, живущего в черепе вампира. Трудно выразить суть дела короче и точнее.

Даже некоторые халдеи не понимают, что «лингвистическим» является абсолютно все человеческое мышление, так как набор доступных людям восприятий определяется имеющимися у них «шаблонами узнавания», то есть словами. То, для чего нет слова, для 99,99 % людей не существует вообще. Поэтому человеческая культура с самого начала выстраивалась по нашим чертежам и никогда не отходила от них ни на миллиметр.

В соответствии с принятой у российских вампиров терминологией, культура состоит из двух агрегатов, «гламура» и «дискурса», сливающихся в гламуродискурс. Это и есть те электроды, между которыми возникает ослепительная дуга, скрывающая от человека все остальные аспекты бытия (вампиры других великомышеств пользуются иным терминологическим

аппаратом, о чем я упомяну в этой книге — но суть дела не меняется).

Сжигая гламуродискурс, ум «Б» производит излучение особого рода, которое вампиры называют агрегатом «М5». Его социальной проекцией являются человеческие деньги. Это и есть пища вампиров.

Об истинной природе агрегата «М5» я буду говорить на этих страницах со всей неполиткорректной прямоотой.

Вампиры не ловят агрегат «М5» напрямую. На это способна только Великая Мышь — древнее бессмертное существо, являющееся своего рода сверхмассивной черной дырой в сверкающем центре каждой крупной национальной культуры. Место ее обитания называется «Хартландом» и представляет собой глубокую пропасть с пещерой на дне.

Великая Мышь не является физическим существом в том же самом смысле, в каком им является человек. Но физическое тело у нее есть — это гигантская летучая мышь с крайне длинной шеей, спрятанной в специальном каменном желобе с окнами. Обычно это тело недоступно людям. Но раз в несколько десятков лет к нему приживляют очередную человеческую голову, которая становится новым человеческим аспектом Великой Мыши — и ее новой антенной.

Мы зовем эту голову Иштар; другим вампирессам не дают такого имени. Благодаря этой голове Великая Мышь способна поддерживать психический контакт с меняющимся миром на поверхности земли, создавая для людей их мечты, надежды и жизненные цели, которые и становятся в конечном счете баблосом. История того, как моя подруга Гера стала нашей новой Иштар, описана в книге «Empire V».

Прежней голове Великой Мыши устраивают пышные похороны — а затем сохраняют ее в собственной камере в засушенном виде. С непривычки эта подземная галерея — довольно жуткое зрелище. Но мы привыкаем ко всему.

7) Баблос и Красная Церемония

Агрегат «М5» улавливается Великой Мышью и перерабатывается ею в баблос — священную жидкость, которую в древней мифологии называли амброзией, напитком бессмертия (слово «баблос» этимологически связано с Вавилоном, а вовсе не с «баблом» — хотя по сути эта ложная этимология совершенно правильна). Баблос — это подобие высококонцентрированной нефти, в которую конденсируются душевные метания и муки человека, уверенного, что он свободно выбирает маршрут своей судьбы в соответствии с личными вкусами и предпочтениями.

Обычный вампир живет не для того, чтобы висеть в хамлете. Он живет для того, чтобы сосать баблос. Процедура, во время которой это происходит, называется «Красной Церемонией».

Потребителем баблоса является не человек, носящий в себе магического червя, а сам магический червь. Что он при этом испытывает, вампиры не знают. Но для нас это крайне приятный опыт, результатом которого является трудноописуемое трансцендентное переживание, похожее на озарения человеческих мистиков.

Материальная основа этого переживания, как утверждают некоторые вампиры-диссиденты, в том, что баблос отключает на время ум «Б». Мы перестаем быть полулюдьми, ежесекундно производящими агрегат «М5» — и тогда проявляется наша сверхчеловеческая природа... В этом есть изящная рекурсивность — прием баблоса как бы на время освобождает вампира от необходимости вырабатывать баблос. Но абсолютной уверенности в том, что это именно так, у меня нет.

Именно благодаря баблосу магический червь и сохраняет свое бессмертие. Баблос занимает в нашей иерархии ценностей высшее место. Это «бесценный дар Великой Мыши, ее святое молоко», как сказал один наш поэт. Но сравнение с героином было бы более точным. Однажды попробовав баблос, вампир обречен страстно желать его всю свою жизнь. Человеческая озабоченность деньгами — лишь тень этой великой вампирической жажды.

8) Рублевка и Хартланд

Российский Хартланд расположен в лесах недалеко от Рублевского шоссе.

Хотелось бы, чтобы читатель сразу понял — это не вампиры устроили там Хартланд, потому что рядом Рублевка. Это Рублевка образовалась там, потому что рядом Хартланд. Нам никогда не нравилось соседство с нуворашиами. Но это был удобный социальный буфер, позволивший отделить Хартланд от дикого поля — то есть всей остальной России. А сегодня мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы Рублевка постепенно приходила в запустение, а расположенная здесь недвижимость теряла свою привлекательность и статус.

Наш идеал — вампирический анклав на безлюдном кладбище тщеславия. Мы хотим затеряться среди сотен выставленных на продажу мавзолеев воровской мечты, которых никто никогда не купит из-за их безумных цен. Такова продуманная стратегия, в соответствии с которой мы развиваем этот район.

9) Древнее Тело

Как я уже сказал, материальность Великой Мыши несколько иная, чем у людей. Ее может лицезреть только вампир (кроме редчайших исключений по воле самой Мыши). Человек просто не сумеет обнаружить вход в Хартланд — и вопрос о том, где именно он находится, лишен для людей смысла. Вампир попадает в Хартланд, прыгая в пропасть. Во время этого прыжка он превращается в подобие огромной летучей мыши (конечно, значительно меньшего размера, чем титаническая Великая Мышь). Это и есть Древнее Тело, в котором, если верить нашей мифологии, магические черви жили на Земле за сотни миллионов лет до человека. Входя в Хартланд, мы опять становимся людьми.

Древнее Тело может использоваться вампиром для незаметных перемещений по физическому миру. Нас в это время не способен видеть никто из людей.

10) Черный Шум и Черный Занавес

Это близкие, но не тождественные понятия.

«Черный Шум» — это информационная среда, окружающая современного человека. Информационные потоки, омывающие человеческое сознание, состоят из непредсказуемой комбинации множества тщательно просчитанных дезинформационных паттернов (как кто-то изящно выразился, Черный шум — это белый шум, все составляющие которого проплачены).

«Черный Занавес» — это аспект Черного Шума: информационная технология, позволяющая вампирам скрывать свой мир от людей. Она заключается в том, что различные явления вампирического быта принято прятать под **информационными омонимами** — то есть смысловыми масками, пустышками-симулякрами, карнавально дублирующими подлинные сущности нашего мира. Все книжные и кинематографические франшизы про вампиров, навязчиво переснимаемые и переписываемые каждый год — это элементы Черного Занавеса. У него есть даже лингвистическая проекция — именно ею обусловлены многие выражения, которыми, не понимая их сути, пользуются люди («he or she», «batman» и пр.).

Реальные события и процессы в мире вампиров сознательно искажаются и отыгрываются нашими слугами-халдеями в качестве полубессмысленного перформанса в пространстве человеческой культуры (отсюда и выражения «общество спектакля», «как внизу, так и вверх» и пр.). Поэтому никакая утечка сверхтайной информации вампирам не страшна — люди и так все уже «знают». В пространстве человеческой культуры не осталось ни одной чистой страницы, на которой можно было бы написать правду — все они исписаны хлопотливо-бессмысленным халдейским почерком, и никакое «мане, текел, фарес» просто не будет видно на этом фоне (см. «blood libel»).

Обилие «черного цвета» в этой терминологии не имеет физического или мистического смысла и вызвано исключительно эстетическими предпочтениями вампиров. Черный — наш национальный цвет.

11) Покрывающее Восприятие

Некоторые материальные аспекты нашей культуры — такие, как пещера Великой Мыши, Древнее Тело и пр. — не могут быть скрыты с помощью одних только культурных манипуляций. У нашей маскировки есть еще один аспект, понять который бывает намного сложнее. Он называется «Покрывающее Восприятие».

Его суть в том, что элементы вампирической реальности просто не воспринимаются людьми — примерно так же, как «слепое пятно», пустое место в самом центре их поля зрения, где поток попадающего в глаз света проецируется на выход зрительного нерва. Слепое пятно можно обнаружить с помощью специальных опытов, заняться которыми я и предлагаю всем сомневающимся — они просты, и их описание легко найти в сети.

Запрещенные элементы реальности точно так же вычеркиваются из воспринимаемого человеком. Они как бы заклеиваются заплатой, повторяющей ближайший разрешенный паттерн восприятия. Такое штопанье реальности — одна из любимейших технологий человеческого мозга, и нам она очень кстати. Вампиры утверждают, что специально привили человеку этот навык в глубочайшей древности, когда выводили его в качестве кормового животного.

Механизм покрывающего восприятия не ясен мне до конца. Могу только повторить чужие слова (если вы их не поймете, не расстраивайтесь — их не понимаю и я). Как предполагается, вампир в Древнем Телe невидим для человека потому, что Крик Великой Мыши (см. ниже) заставляет человеческий мозг провести «принудительную инспекцию множественных набросков воспринимаемого и их предсознательную цензуру». Возможно, смысл этого заклинания в том, что нервная система человека на самом деле регистрирует все, просто мозг получает строжайшую команду отредактировать восприятие так, чтобы нас не было заметно.

Точно я знаю только одно — вампир в Древнем Телe невидим. Мало того, Покрывающее Восприятие помогает великим вампирам скрывать себя и свои мысли не только от людей, но и от менее опытных сородичей.

Вампира, летящего над городом в Древнем Телe, может увидеть лишь другой вампир — но не человек. Часто задают вопрос, виден ли вампир в это время на радаре. На это нет ответа, потому что речь идет не о физике

явлений, а о человеческом восприятии. Даже если вампир и виден на радаре, изображающая его точка на экране не будет в это время видна никому. Кроме, конечно, другого вампира.

12) Укус и Крик Великой Мыши

Вампир умеет экстрагировать крохотную каплю красной жидкости из-под кожи живого человека, чтобы получить доступ к его внутреннему миру. Происходит это незаметно и почти непроизвольно, когда мы оказываемся рядом с интересующим нас субъектом. Это одна из наших сверхспособностей — своего рода дистанционный комариный укус. Требуется совсем чуть-чуть ДНА.

Контрольный укус позволяет старшим вампирам контролировать сознание младших, свободно проникая в их память и мысли. Но сознание вампиров, стоящих выше в нашей иерархии, остается закрытым для тех, кто в ней ниже. А в разум Великой Мыши не может заглянуть никто — даже, по большому счету, ее сменная человеческая голова. Именно степень личной непрозрачности и определяет ранг вампира — но это не четкая иерархия, а скорее некая неформальная табель о рангах, в которой постоянно происходят флуктуации и перемены.

Кстати, хочу упомянуть об одной своей смешной ошибке. В книге «Empire V» я рассказывал, как нашел в вампотее своего бенефактора, покойного Брами (от которого ко мне и перешел магический мозговой червь), странный препарат, отсутствовавший в каталоге. Он назывался «Укус и Крик Великой Мыши». Ознакомившись с ним без разрешения наставников, я пришел к выводу, что вампир пробивает кожу человека электрической искрой. Это, конечно, смешно.

В свое оправдание могу сказать только то, что в шестидесятые годы прошлого века у вампиров была мода на естественнонаучные объяснения собственного бытия — и они действительно замеряли разность потенциалов между различными внутренними зонами своих клыков. Ее нашли достаточной для возникновения пьезоискры. Но саму искру так и не смогли обнаружить.

Покойный Брами не только собирал старинные маски, но и любил человеческую литературу, и сам был ей не чужд — у него была огромная коллекция литературных препаратов и коктейлей. Как выяснилось позже, данный препарат был наброском фантастического романа про робота-вампира. Препарат был сделан из ДНА одного литературного негра, вместе с которым Брами разрабатывал этот сюжет. А я принял все за чистую монету.

Впоследствии мои наставники объяснили, что укус вампира имеет

другую природу. Клыки вампира (наш древний поэт назвал их «рогами победоносного») являются для магического червя чем-то вроде антенн. Через них он посылает в пространство психическую команду, которой не может противиться ни один организм. Эта команда называется «Крик Великой Мыши». Это что-то вроде гопнического «стоять, бояться!» — только в более развернутом виде: «стоять, бояться, все забыть!» Никаких звуков при этом вампир не издает.

Крик Великой Мыши делает укус незаметным для человека, и эту неощутимость еще можно худо-бедно объяснить с позиций человеческой науки.

Абсолютно необъясним, однако, физический аспект укуса. О нем можно говорить лишь метафорами.

После Крика Великой Мыши в крохотной частице крови человека зарождается подобие собственной воли. На время этой операции магический червь как бы проецирует в эту капельку крови свою сущность. И капле удастся непостижимым образом ожить, пробить кожу (или, быть может, просочиться сквозь нее), оторваться от человека-носителя и повиснуть в воздухе, где вампир ловит ее своим ртом.

Одну из самых мрачных, но красивых интерпретаций этой технологии предложил мой знакомый профессор-теолог из Кишинева, который уже несколько лет работает у меня шофером-исповедником. Он сказал, что на время этой операции в капельке крови зарождается душа, которая стремится к спасению. Капля крови старается убежать из ненавистного и обреченного человеческого тела — и, благодаря чудовищному напряжению воли и состраданию космоса, оказывается на это способна. Когда она повисает в воздухе за пределами кожи, ее ловит рот вампира. «Душа» ее после этого оказывается как бы спасена, потому что возвращается в вампира, которому принадлежала изначально — ибо именно он зародил ее в капельке своим беззвучным криком. Но это, конечно, временное спасение, ибо речь идет о вампирической душе.

Ох уж эти теологи.

Я кое-что расскажу про них в этой книге. А сейчас, милая читательница, за мной! У вампира есть девиз — в темноту, назад и вниз!

Р

Рама Второй,

Рублевская пустошь, полнолуние.



Позови меня с собой

Стоял один из тех упоительных российских вечеров, когда кажется, что все страшные страницы в истории Отечества уже перевернуты, и впереди — лишь светлые, безоблачные и радостные дни. Именно в такие минуты люди зачинают детей — потому что уверены в ждущем их солнечном счастье.

Вот только рождаются эти дети почему-то в феврале...

Мертвая голова Иштар лежала (мне хотелось сказать «восседала», как если бы речь шла о большой жабе) на огромном золотом блюде.

Ее одутловатое лицо в складках старческого жира выглядело помятым несмотря на несколько слоев погребальной раскраски. Так казалось, наверно, оттого, что японец-гример изобразил вокруг ее закрытых глаз расплывающиеся черные кляксы, стекающие темными ручьями на снежно-белые щеки. В Японии это наверняка смотрелось бы стильно и напоминало о мире духов. В России — вызывало ассоциацию со смертью после долгого запоя, увенчанного безобразной дракой.

Голова парила над пропастью Хартланда.

На самом деле она, конечно, не парила — блюдо было укреплено на замаскированной цветами штанге. Но выглядело все так, как если бы голова висела над черной бездной, принимая последний салют от робко приближающихся к ее краю.

Голова выглядела величественно даже с черными потеками на щеках. Волосы, за которыми покойная при жизни застенчиво прятала свои косметические шрамы, были теперь подняты вверх и собраны в одну из тех диких громоздких причесок, какие она так любила в свои трезвые дни: за ее затылком блестела массивная золотая арфа, и рыжие пряди были привязаны к ее струнам, словно мертвая медуза давала окаменевшим слушателям свой прощальный концерт.

Так оно, по сути, и было.

Только пела не мертвая голова, а эстрадный певец с завязанными глазами. Он стоял у самого края пропасти рядом с двумя страхующими его охранниками.

Певец выглядел креативно, но странно. На нем был парчовый пиджак в стразах, радугах и звездах — и такие же шорты. Его борода сложной стрижки отливала невыносимым химическим цветом. Брюшко под пиджаком было слишком заметным, а ноги — слишком тонкими для такого

большого тела. Можно было подумать, он надел шорты, чтобы его вид вызывал жалость и его не убили в конце корпоратива. Но тогда ему надо было сбрить бороду.

— Позови меня с собой,
Я приду сквозь злые ночи,
Я отправлюсь завтра в бой,
Чтобы Путин не порочил...

Слушателей было немного — небольшая группа на краю бездны. Их лица были торжественны и скорбны. Они были одеты во все черное — просто, изысканно и дорого. Слишком дорого для того, чтобы какой-нибудь gossip-колумнист мог оскорбить их пониманием этого обстоятельства. Цветовое однообразие их туалетов нарушалось только крохотными искрами другого цвета — запонкой, петличной розеткой или галстучной булавкой. Большинство было в годах — кроме одного в первом ряду.

Это был молодой человек лет около двадцати. Хотя он тоже был во всем черном, по виду он отличался от остальных. Трудно было даже сказать, что на нем — то ли странный комбинезон с капюшоном, то ли плотно обтягивающие тело штаны и куртка. Приглядевшись, можно было заметить в мочке его уха маленький бриллиант. Его кожа была бледной, будто ее намазали белилами. А поднятые гелем волосы — возможно, по контрасту — казались слишком уж темными, словно их выкрасили радикальной черной краской. Пожалуй, он походил на новую модификацию эмо-хипстера, слишком еще свежую, чтобы у нее успело появиться свое отдельное название в культуре. Но что-то в его глазах заставляло поежиться — и понять, что это просто маскировка.

В общем, как вы уже поняли, это был я.

Мужик в шортах еще пел — и некоторые из его слов доходили до моего сознания сквозь все ментальные блоки. Если я правильно разбирал, песня выражала протест. Впрочем, я не был уверен, что понимаю все тревожные смыслы в исходящем от него информационном луче — такое с человеческим искусством бывало у меня все чаще и чаще.

— Ну и завещание накатала, — вздохнул стоящий рядом со мной Мардук Семенович. — Третью мышь провожаю, а такое вижу в первый раз... Хорошо хоть глаза им завязали...

Энлиль Маратович заглянул в программку.

— Последний, кажется, — сказал он. — Пародист этот уже был?

Мардук Семенович кивнул.

— Значит, точно последний. Уф, слава тебе...

Как всегда, он корректно не договорил. Вампиры такого ранга следят за своей речью весьма тщательно.

Я опять не выдержал и посмотрел туда, куда глядеть мне не следовало совсем.

Под головой Иштар стоял утопающий в цветах гроб с обнаженным телом молодой девушки.

Это было удивительно красивое и совершенное тело — за одним лишь исключением: у него не было головы. Зато у Иштар, вознесенной высоко над пропастью и гробом, не было тела — и вместе они составляли какое-то жуткое противоестественное единство. Тело девушки казалось жертвой, которую вытребовала для себя эта ненасытная голова, уже мертвая, но все еще пожирающая живых...

С трудом я отвел взгляд — и опять дал себе слово больше не смотреть в ту сторону. Я знал эту девушку еще когда голова у нее была. И с ней она мне нравилась куда больше.

Поляна вокруг пропасти не видела такого нашествия давно — а может быть, вообще никогда. Обычно здесь можно было встретить только спешащего вниз вампира. И встретить его мог только другой вампир: с трех сторон пропасть окружали заборы рублевских поместий, принадлежащих членам нашего коммьюнити, так что случайный визитер попасть сюда не мог.

Сегодня, однако, все было иначе. Если бы я не знал, где нахожусь, я вряд ли опознал бы это место: можно было подумать, вампиры проиграли войну людям — и капитулировали.

Пропасть, ведущая к дому Великой Мыши, была полностью открыта — первый раз на моей памяти. Серо-зеленый рулон, в который была свернута маскировочная сеть, придавал происходящему какую-то предвоенную тревожность — словно я видел перед собой открытую для последнего пуска ракетную шахту. Мало того, часть забора была разобрана, чтобы открыть дорогу к провалу. Но самым диким во всем этом зрелище была даже не висящая над бездной голова, а синий автобус, проехавший сквозь проделанную в заборе дыру и остановившийся всего в нескольких метрах от пропасти.

В нем сидели мужчины и женщины в париках, камзолах, вечерних платьях, черных фраках и сценических трико — в подтекающем на жаре гриме, с тщательно завязанными глазами. Их выводили по одному, чтобы они отработали свой номер на краю обрыва. Затем им помогали вернуться

в автобус.

Полагаю, это был самый выгодный корпоратив в их жизни — но вряд ли они знали, перед кем поют, декламируют и пляшут. Вероятно, они считали, что это какое-то совместное заседание воров в законе, ФСБ и Межбанковского Комитета, участники которого не хотят, чтобы их видели вместе.

Если называть все вещи своими именами, так оно и было. Именно поэтому, меланхолично думал я, у вещей и нет своих имен — а только те, которые дают им хитрые и расчетливые халдеи.

— Где разбитые мечты
Облетают снова в силу высоты...

Мужик в шортах наконец допел свой номер. Раздался сдержанный аплодисмент, и я тоже два раза хлопнул в ладоши. Певец поклонился в никуда, и охранники повели его назад в автобус, следя, чтобы он не оступился.

— Отмучались, — пробормотал Энлиль Маратович, когда певцу помогли подняться в салон. — Вроде обошлось.

Как только он это сказал, я понял — сейчас произойдет что-то жуткое. Так бывает, когда смотришь фильм ужасов, испытываешь облегчение от завершения какой-нибудь пакостной ситуации — и тут же понимаешь, что перевести дух тебе дали не просто так.

Я, естественно, не ошибся.

Вокруг меня раздался дружный вздох ужаса. Что было, кстати, действительно страшно, поскольку произвели этот коллективный стон не какие-нибудь людишки, а матерые старые вампиры, которых напугать сложно. Поэтому я заранее напрягся очень сильно — и, увидев, что именно вызвало такое содрогание в наших рядах, испытал скорее облегчение, чем новую волну страха.

Голова Иштар открыла глаза.

Ничего особенно жуткого в этом не было. Просто в центре двух черных потекших клякс появились два мутно блестящих пятнышка. Каждый из стоящих у пропасти вампиров много раз видел эти мутные пятнышки и прежде. Бояться было нечего — тем более что рот Иштар оставался закрытым: подключать ее к воздушной помпе никто не планировал.

Проблема, однако, была в том, что Иштар смотрела не на нас. Она

смотрела на водителя автобуса, куда только что погрузили последнего клоуна.

Я не видел водительского лица. Я видел грудь в черной форменной рубашке и побелевшие руки на руле. Водитель яростно дергался на месте, словно потеряв контроль над собственным телом — и машиной заодно. Казалось, автобусом управляла чья-то злая воля. Он медленно ехал в пропасть.

Сидящие в автобусе актеры в повязках ничего не подозревали до той секунды, когда водитель начал кричать. Но и тогда они не проявили особого беспокойства — видимо, перед корпоративом им велели сохранять спокойствие при любом развитии событий. Лишь когда автобус накренился на краю, несколько человек сорвали повязки с глаз — и закричали тоже. Но делать что-либо было поздно.

Задние колеса взмыли над обрывом, и автобус исчез в пропасти.

Все замерли.

Сперва слышен был затихающий многоголосый крик. Затем стало тихо. А потом, через невыносимо долгий промежуток времени, долетел глухой всплеск. Он был таким тихим, что мы, возможно, не заметили бы его совсем, если бы не вслушивались так тщательно.

Первым пришел в себя Энлиль Маратович. Он подошел к краю и заглянул вниз. Потом внимательно поглядел в небо.

— Я хочу знать, что произошло, — сказал он. — Где Озирис?

— Озирис болен, — ответил вампир по имени Локи. — Печень.

— А кто его сейчас замещает? Кто у нас ныряльщик?

Локи пожал плечами.

— Другого нет, — сказал он. — Кроме тебя. Ты же знаешь, Энлиль.

Энлиль Маратович оглядел присутствующих. Его лицо выглядело спокойным, только один глаз сделался уже другого.

— Вы на полном серьезе мне говорите, что у нас нет штатного ныряльщика? И если я хочу узнать, что случилось, я должен прыгать туда сам?

Ответом было молчание.

Энлиль Маратович еще раз обвел нас глазами.

— Ну хорошо, — проговорил он спокойно и даже благодушно. — Я так и сделаю. Я выясню сам. А потом поговорю об этой ситуации с Герой. То есть с Иштар Владимировной. Благо это совсем рядом...

Он пошел к пропасти.

— Энлиль, — позвал его Мардук Семенович. — Ну зачем тебе самому мараться. Давай лучше... Ну хочешь, я прыгну? Я когда-то умел...

Энлиль Маратович не удостоил его ответом. Подойдя к самому краю дыры, он повернулся ко мне.

— Рама, — сказал он, — ты со мной. Иштар Владимировна хочет тебя видеть.

Я почувствовал на себе несколько завистливых и полных ненависти взглядов. Впрочем, за последнее время я к ним уже привык.

— Навести порядок, — велел Энлиль Маратович. — Через час все должно быть как обычно. Мардук, договорись с халдеями, чтоб этих артистов искали где-нибудь в другом месте... Пусть где-нибудь в Турции утонут.

Он развел руки в стороны, словно пробуя, не жмет ли пиджак — и кургузо повалился в пропасть. Я досчитал до пяти, побежал к обрыву и бросился следом.

Падение в Хартланд — одна из тех вещей, к которым не может до конца привыкнуть ни один вампир. Первые несколько секунд вниз летит человеческое тело — и нужно, чтобы в душе возник и разросся всепоглощающий страх, который и делает трансформацию возможной. Сначала для этого опыта нужен специальный препарат из красной жидкости Великой Мыши. Потом мы учимся обходиться без него. Чем опытнее вампир, тем меньше он боится — и, чисто теоретически, может случиться, что из-за недостатка страха он так и не сможет обернуться летучей мышью и разобьется о дно. Но чем реальнее делается такая возможность, тем больший страх она вызывает, поэтому, так или иначе, в Древнее Тело переходим мы все. Просто кто-то чуть раньше, кто-то позже.

По ощущению это похоже на то, что пальцам наконец удастся зацепиться за воздух, сквозь который они летят. Это значит, что руки уже превратились в перепончатые крылья — и падение в черную дыру сменяется круговым парением в пропасти.

Я уже упоминал о вопросах, которые вызывает у трезвого человеческого рассудка (а им обладает любой нормальный вампир) эта процедура. Что такое эта трансформация? Происходит ли все на самом деле, или мы впадаем в подобие искажающего реальность сна? Или, быть может, мы от такого сна просыпаемся?

Мудрость вампира в том, что он не ищет ответов на подобные вопросы. До тех пор, пока его не вынудит жизнь. Я знал, что именно таков будет ответ всех старших товарищей. Но сказать такое самому себе, конечно, невозможно — и вопросы продолжают таиться в светлых уголках души.

Самая интересная (и мрачная, чего уж там) версия ответа, которую я встречал, содержалась в фантастическом рассказе одного вамполитератора девятнадцатого века. Его, понятное дело, никогда не печатали — во всяком случае, для людей.

Это была история про молодого бунтаря-вампира (тогда такие вещи писали без всякой иронии), который получает возможность совершить весь спуск в Хартланд в человеческом теле — и, вместо скрытого в бездне коридора, ведущего в пещеру Великой Мыши, оказывается на дне неглубокой старой шахты, на загаженных балках которой висят летучие мыши. В отдельном углублении, разрисованном непристойностями, висит очень старая и толстая летучая мышь, покрытая не то паутиной, не то плесенью... И это все.

Рассказ этот был написан одновременно с «Крейцеровой сонатой» и отражал язвительно-критическое отношение к традиционным общественным институтам. Считалось, что эти институты надо побыстрее разрушить, чтобы дать дорогу прогрессу. Люди в те годы планировали попасть таким образом в светлое будущее — и написали много подобного материала.

Этот рассказ в свое время заставил меня крепко задуматься над тем, куда же я каждый раз спускаюсь... В Хартланде было электричество. Там работали сделанные людьми машины. Но все это происходило исключительно по воле вампиров. Я совершенно не представлял, что будет со случайно — и самостоятельно — упавшим в Хартланд автобусом.

Но когда я спустился к поверхности воды, стало ясно, что ответа я не получу. Ударившись кулаками в каменный берег подземного водоема, я опять стал человеком — и увидел Энлиля Маратовича. Он сидел на краю черного озера на корточках. В неверном свете, падавшем на него из пещеры, он походил на пожилого рыбака.

Никакого автобуса видно нигде не было, только над водой висела какая-то необычная зеленоватая дымка.

— Иди, — сказал он. — Она ждет.

— А как вы будете...

Он страдальчески наморщился.

— Ну зачем тебе это знать, мальчик? Оставайся молодым, покуда можешь. Я серьезно тебе говорю. Иди.

Я кивнул и пошел в пещеру.

У входа в подземный зал я оглянулся. Энлиль Маратович все еще сидел на берегу. Мне показалось, что он собирается нырнуть в воду, но не хочет делать этого при мне. Из деликатности я пошел быстрее, стараясь

ступать на металлический помост звонче — чтоб Энлиль Маратович не сомневался, что я уже далеко.

Тело Великой Мыши, висящее под высоким подземным сводом, казалось окаменелостью, трехмерным отпечатком невозможной древности. Но эта окаменелость дышала — и покрытые серой плесенью перепончатые крылья охватывали огромное бочкообразное тело чуть иначе, чем несколько дней назад.

Говорили, что Великая Мышь иногда раскрывает крылья — и это зрелище не для слабонервных. И еще меня каждый раз поражала толщина подходящих к ней шлангов, из-за которых она делалась похожа на ракету на стартовом столе. Конечно, эти гофрированные трубы предназначались не для баблоса — а для воздуха, воды и так далее. Но баблоса она тоже дает немало. Куда, спрашивается, он уходит? Я знал, что этот вопрос интересует не одного меня, а очень и очень многих.

У входа в алтарную галерею стояли две мраморные чаши, где складывали всякую всячину, скопившуюся за века на старых алтарях — при смене головы всегда шла общая уборка и чистка. В чашах лежали довольно неожиданные предметы — странными казались даже не они сами, а их соседство. Тут были кремниевые наконечники стрел, большой нож из темного металла с кольцом на рукоятке, хрустальный череп, серебряная пепельница-лапоть, белый телефон с гербом СССР на диске — но времени разглядывать коллекцию у меня не было.

Я знал, что Гера меня уже видит. Или, вернее, чувствует.

В галерее, как всегда, дул пронизанный электрической свежестью ветерок. Пыли на полу совсем не было. Несколько служительниц с закрытыми лицами при моем появлении тихо отошли в полутьму. Говорить с ними не полагалось. Я даже не знал, кто это — вампирессы или какие-то специально подготовленные халдейские женщины. Последнее, впрочем, было маловероятно.

Древние головы в каменных нишах были накрыты траурными белыми платками с анаграммой «МВ». Я не особо жалел, что эти сушеные седовласые тыквы сегодня скрыты от моего взгляда — даже самый короткий путь к комнате с живой головой успевал настроить посетителя на мрачный лад, лишний раз напоминая, что человек смертен не только внезапно, но и массово.

Во второй советской комнате произошло значительное событие — с реставрации вернулась голова Иштар Зурабовны (она провела на процедурах, кажется, лет тридцать). Я даже вздрогнул. Вот уж кого точно нужно было накрыть платком — но этого почему-то не сделали. Наверно,

следовало дать ей подышать, чтобы из нее выветрились бальзамические соли. Впрочем, дело было не в этой горбоносой женской голове с седыми климактериальными усиками — ничего особо жуткого я в ней не находил. Просто чем ближе оказывалась актуальная голова Великой Мыши, тем сильнее я нервничал. Но так и должно было быть.

Дверь к покойной Иштар Борисовне уже была снята — теперь ее бывшая комната стала еще одним залом в галерее. Видна была придвинутая к стене мебель и траурный венок, закрывавший место, где жила голова. Пахло оттуда бинтами и смертью. Я подумал, что после того, как голову Иштар окончательно высушат и вернут на место, мне каждый раз придется проходить мимо сегодняшнего ужаса. Может быть, ей даже оставят глаза открытыми — это при современных технологиях бальзамирования вполне реально...

Галерея кончалась свежевырубленным в камне аппендиксом. В нем была высокая перламутровая дверь со строгой ручкой из белого золота. Выглядело все сдержанно — Гера любила неброский шик.

— Входи, Рама, — сказал невидимый интерком.

Дверь раскрылась, и я вошел.

Эта комната была больше остальных. Или, может быть, так казалось из-за того, что ее стены были полностью покрыты жидкокристаллическими панелями.

Они показывали уходящее во все стороны пшеничное поле. Над полем дул ветер, пшеница волновалась, а в небе собиралась синяя грозовая туча... И еще в поле стояло разлапистое дерево, такое большое и одинокое, что становилось непонятно, как это его еще не расшибли молнии. Красивый волл-сэйвер. Метафоричный.

Я медленно поднял глаза.

В одну из стен была вмонтирована огромная раковина-жемчужница из нежнейшего перламутра. Голова Геры была там, но я старался на нее не смотреть.

Эта раковина не особо мне нравилась. Возможно, дизайнеры имели в виду аллюзию на «Рождение Венеры» Боттичелли, но получилось у них больше похоже на писсуар в поместье арабского шейха. Я изо всех сил гнал эту мысль — но был уверен, что Гера поймает ее при следующем же укусе.

Впрочем, у меня имелся шанс. Можно было попытаться избежать укуса — а потом забыть это оскорбительное сравнение навсегда.

— Здравствуйте, Иштар Владимировна, — сказал я.

— Какая Владимировна? Рама, ты что? Для тебя я просто Гера. И почему ты на меня не смотришь?

Я посмотрел.

В центре раковины было отверстие, из которого выходила длинная живая ножка, похожая на часть огромного гриба — или хобот мамонта-альбиноса. С нее мне улыбалась голова Геры. Синяки под ее глазами уже прошли. Она выглядела хорошо. Но я смотрел не на нее, а на ее длинную мохнатую шею.

Говорили, что с годами она усыхает и темнеет — чем моложе голова Великой Мыши, тем ножка длиннее и светлее, а отмирает голова, когда вся ножка вдруг втягивается назад. Происходит это нередко за один страшный день. По такой шкале Гера была очень молода, даже неприлично юна. Но я почему-то все время представлял, что произойдет, когда кончится отведенный ей срок — и ее щеки упрутся в перламутр. Голова тогда действительно будет походить на жемчужину в раковине. Возможно, дизайнер это и имел в виду. Ему, как я слышал, рассказали все-все.

Кроме того, что будет с ним самим.

— Знаешь, что сейчас наверху было? — спросил я.

— Знаю.

Она странно и сложно качнула головой.

Я понял, что жест адресован не мне, а жидкокристаллическим панелям: на ее шее был ошейник с программируемыми гироскопами, которым она отдавала команды спрятанной в стенах технике — и своей сидящей в соседних комнатах свите. А у прошлой Иштар был большой-пребольшой ноутбук со специальным трэкпэдом. Как быстро меняется эпоха.

Стены показали поверхность земли у входа в Хартланд. У меня мелькнуло головокружительное чувство, что я за секунду взлетел назад — на самый край рублевской бездны.

Я увидел синий автобус с актерами, подъезжающий к краю пропасти. В записи было видно, что водитель изо всех сил крутит руль, пытаясь отвернуть от дыры — но это у него не выходит, словно Иштар загипнотизировала не его, а автобус (у автобуса была добрая большеглазая морда, которая теоретически делала такое возможным).

— Жуть какая, — сказал я. — Как это могло случиться?

— Наколдовала, — ответила Гера.

— Да, — сказал я. — Я про Медузу горгону подумал.

— Хватит об этом. Энлиль сейчас выяснит и все расскажет.

— Ладно, — сказал я. — Ты вообще как?

— Мне у Энлиля дела надо принимать, — вздохнула она. — Сегодня или завтра. Все сроки прошли, а я боюсь.

— Как это происходит?

Она покосилась на меня.

— А то не знаешь. Кусаешь, и все.

— И больше никаких формальностей? Никаких ритуалов?

— Нет.

— А чего тогда боишься?

— Говорят, это необратимо. Энлиля ведь никто не кусает. Он знает слишком много. С этим потом жить тяжело. У него почему хамлет над пропастью? Чтоб оттягивало... Ладно, Рам, это все мои проблемы, чего я тебя грузу. Ты сам-то как?

— Так же. Наши меня ненавидят. Они думают, я тут с тобой баблос пью целыми днями.

Гера наморщилась.

— Не надо мне про баблос. Ты хоть знаешь, что это такое, когда он идет? Как месячные, но раз в десять противнее. Ты все равно не поймешь. Жаль, меня кусать нельзя, а то бы я показала.

— Слушай, а куда весь баблос уходит? Никто этого понять не может. Почему его так мало?

— Этим Мардук с Ваалом занимаются. Контроль у них. Я тут ничего не решаю. У Борисовны, кстати, тоже баблоса никогда не было.

— Но тебе-то самой дают?

— А зачем? На меня он все равно больше не действует. Он теперь у меня в метаболизме.

— Тебя предупреждали?

Гера отрицательно покачала головой. Движение вышло куда более выразительным, чем у человека с обычной шеей.

— Даже не упоминали. Сказали только, что за успех в жизни надо платить. И чем больше успех, тем больше плата. Ну а если становишься королевой, то и плата должна быть королевская...

— Это тебя Энлиль разводил?

— Нет, — ответила Гера. — Иштар Борисовна. Это она меня выбрала. Она так сказала — какая бы ты красивая ни была, а после тридцати все равно никому из мужиков нужна особо не будешь. А тут они за тобой до конца увиваться станут. Сколько проживешь. И потом, королева может с собой что хочешь сделать. Придумать себе любой образ и запустить в мир. Хоть певица, хоть топ-модель. Будешь на себя смотреть по телевизору, а остальные будут верить. И если приложить чуть-чуть воображения, то и сама постепенно поверишь... Что это ты и есть... Вытри мне слезы...

Я вынул из кармана платок — теперь я всегда имел с собой несколько

— и приложил к ее лицу. Но слезы у нее текли все сильнее.

— Она прямо как мама со мной была. А мамы у меня не было... Представляешь, тебе говорят — дочка, хочешь быть королевой? Я тебя научу... Если только ты сможешь. Вот я и подумала — смогу или нет? И решила, что смогу.

— И как, получается?

Она невесело засмеялась.

— Я кино недавно смотрела про Елизавету Вторую, — сказала она, — и одну вещь поняла. Знаешь, что делает тебя королевой? Исключительно объем говна, который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек сблюет и повесится, а ты улыбаешься и жрешь, улыбаешься и жрешь. И когда доедаешь до конца, все вокруг уже висят синие и мертвые. А ты их королева...

— Я сейчас заплачу, — сказал я.

— Не надо. Иди сюда, дай я тебя поцелую.

Я послушно подошел и обнял прижавшуюся ко мне мохнатую шею — за последние дни я к этому уже привык. Если закрыть глаза, казалось, что обнимаешь верблюда или жирафа. Губы у Геры были точно такими же, как раньше — только теперь мне чудилось, что из ее рта пышет каким-то странным жаром, словно у нее гриппозная лихорадка.

Потом ее голова скользнула вниз.

К этому я тоже уже привык. Она расстегивала молнию зубами, и ей не нравилось, когда я ей помогал. Но сегодня у нее никак не получалось, и мне пришлось это сделать самому.

Я гладил ее волосы и смотрел на автобус, раз за разом опрокидывающийся в черную пропасть. Мне казалось, что я тоже превращаюсь в такой автобус, который все падает и падает, но никак не может упасть окончательно... А когда автобусу это наконец удалось, голова Геры поднялась к моему лицу. На ее глазах были свежие слезы.

— Ты меня теперь не любишь, — сказала она. — Совсем.

— Не кусай меня за это место. Лучше за шею.

— Какая разница. Ты... Ты никакого удовольствия не получаешь, когда я это тебе делаю.

— А что ты хотела, — ответил я, застегивая штаны. — Каждый день четыре раза. Мне все говорят — Рама, ты бледный стал, как вампир. Издеваются.

— Я эти пять минут чувствую себя живой, — прошептала она жалобно. — Прежней.

— Я только что тебя прежнюю видел, — сказал я. — Наверху.

Я тотчас пожалел, что эти слова сорвались с моего языка. Но вернуть их было уже невозможно. Гера заплакала еще сильнее.

— Вам, мужикам, кроме пизды от женщины вообще ничего не надо, — прошептала она. — Наверху не я. Это мое бывшее тело. Ты понимаешь разницу?

— Угу, — сказал я мрачно. — Понимаю. Извини.

Из коридора донеслись приближающиеся шаги.

— Вытри мне слезы, — велела Гера.

Я быстро привел ее щеки в порядок. Мне показалось, что ее глаза высохли сами — они стали злыми и колючими.

В комнату вошел Энлиль Маратович.

Его костюм был совершенно мокрым, в зеленовато-коричневой тине и пятнах масла. Прядь волос с затылка некрасиво прилипла к высокому лысому лбу. В первый момент мне показалось, что он специально привел себя в жалкое убожество, стараясь избежать выволочки. Я почувствовал легкий укол презрения — а потом увидел его глаза, и понял, что ошибся.

И как!

В его зрачках словно догорали огни неземного заката, который он только что видел. Закат этот был страшен и багров. Я непроизвольно шагнул назад. Даже голова Геры подалась назад на своей мохнатой ножке. Энлиль Маратович понял, какое мрачное впечатление он произвел — и попытался улыбнуться. Мне стало еще страшнее. Тогда он на несколько секунд закрыл глаза и лоб ладонями. Из них вынырнуло его прежнее — правда, грязное и усталое — лицо.

— Моя королева, — сказал он, приседая в элегантно-ироничном поклоне, — я все выяснил.

— Почему она ожила? — спросила Гера.

— Она не оживала, — сказал Энлиль Маратович. — Все было заранее подстроено. Думаю, что Иштар Борисовна обдумывала завещание не год и не два.

— Рассказывай, — велела Гера.

— У Иштар Борисовны в последние годы жизни образовался своего рода ближний круг. Всякие актеры и фокусники, которые ее развлекали по видеосвязи. Что-то вроде выводака болонок. У них даже специальный зал был для видеоконференций. Она с ними под коньячок по десять часов иногда трындеда — им в три смены приходилось работать. А они про нее, натурально, ничего не знали. Им было сказано, что это чья-то там жена, в монастырь сосланная. Поэтому такая секретность. Платили много. В общем, привыкли они друг к другу, и Иштар Борисовна, видимо, решила их

с собой прихватить на память. Она это долго готовила. Несколько лет. Сама программу концерта написала. Она... Я не знаю, что она думала. Но я точно знаю, что думал ее сообщник.

— Кто?

— Который последним пел. В шортах. У него в кармане был брелок, типа как от машины. Ему кнопку велели нажать, как допоеет. Ну не просто, конечно, а за большие деньги. Иштар ему сказала по секрету, что это будут ее похороны и она хочет всех напугать — мол, откроются глаза на специальных пружинах. Она ему даже макет головы показала с этими пружинами. Вместе репетировали, по видеосвязи. И она каждый раз рыдала. Поэтому он ей верил и не боялся. Даже жалел немного. Что с автобусом будет, он не знал. Хотя, когда «позови меня с собой» пел, что-то такое начал чувствовать...

Гера посмотрела на экран, где крутилась закольцованная сцена только что случившейся катастрофы — автобус в очередной раз переваливался колесами через край пропасти.

— Нет худа без добра, — сказала она. — Зато халдеев напугали.

Мне показалось, что в ее лице действительно появилось нечто королевское.

— А хорошо сделала старушка, — продолжала она. — Открыла глаза и... Как там? Позвала с собой. Значит, на пружинах? Надо запомнить...

Она коротко и надменно глянула на меня.

— Мне тоже, наверно, будет нужен свой ближний круг. Свой двор. Чтобы я их всех на экранах видела, а они меня... Скажем, на кушетке. Сделаем мне виртуальное тело-люкс. Но это потом. Ты молодец, Энлиль. Не стареешь. Быстро раскопал. Только почему сам? Тебе чего, послать некого?

Энлиль Маратович виновато пожал плечами.

— Озирис при смерти, — сказал он. — А нового ныряльщика нет. Никто не хочет.

— Почему? — нахмурилась Гера.

Энлиль Маратович покачал головой.

— Это долго рассказывать.

— А мне и не надо ничего рассказывать. Поди-ка сюда. Мне как раз у тебя дела принять надо...

Энлиль Маратович посмотрел на меня — и по тревоге в его глазах я понял, что он не так представлял себе этот момент. Но отказаться он не мог.

— Иди-иди, — сказала Гера.

Энлиль Маратович решительно шагнул к ней и опустился возле ее

перламутровой раковины на одно колено. Голова Геры проплыла мимо его шеи, чуть заметно дернулась и поднялась вверх. Потом Гера закрыла глаза.

Ее лицо вдруг покрылось сеткой морщин — словно оно было сделано из стекла, которое разбил попавший в него камень. Минуту она, казалось, боролась с собой, чтобы не закричать.

И победила.

— Ой как все сложно, — сказала она, не открывая глаз. — Невероятно.

— Да, — грустно согласился Энлиль Маратович. — Вот так.

Они замолчали. Голова Геры с закрытыми глазами покачивалась на изогнутой ножке, а Энлиль Маратович стоял перед ней, преклонив колено. Он был похож на предводителя пиратов, пришедшего к королеве поменять золото на рыцарское достоинство.

Я подумал, что монарх считается у людей высшим арбитром в вопросах благородства и чести — и может поэтому назначить рыцарем хоть пирата, хоть банкира. Но вот действует ли во время такой процедуры закон сохранения импульса? Не делается ли в результате царствующий дом слегка пиратским и немного ростовщическим? И продолжают ли после этого сиять на небосклоне чести эмитируемые им рыцарские титулы? Вряд ли, ой вряд ли. А уж про ордена рангом ниже вообще говорить нечего. Имя им — почетный легион...

Тут до меня дошло, что мой ум пережевывает одну из самых древних мыслей на земле, несчетные разы изложенную в ядовитейших памфлетах, от которых не осталось даже пыли — и только общий упадок спроса на королевские услуги заставляет меня видеть в ней что-то новое.

Пока я был занят этими размышлениями, прошло несколько минут тишины.

А потом Гера открыла глаза.

Ее лицо постарело на десять лет. Это вообще было не ее лицо. Это было лицо человека, который знает очень много страшного. Слишком много, чтобы имело значение что-то еще.

— Тебе больше нельзя так нырять, — сказала она Энлилю. — Случится что-нибудь, на кого все останется? Нужно молодого...

Она посмотрела на меня.

— Давай вот его назначим.

— Слушаю, Иштар Владимировна, — сказал Энлиль Маратович, поднимая на меня глаза. — Только Озирис не должен его учить. Он...

— Я знаю, — ответила Гера. — Мы пошлем нашего Раму...

Она заговорщически подмигнула Энлилю Маратовичу.

— Пошлем его... За границу. Пусть от нас отдохнет, раз ему здесь

душно. Когда следующее посвящение в undead?

Энлиль Маратович секунду думал.

— Через пять дней.

— Вот и отправим. Нам нужен хороший ныряльщик. Того же Озириса кто пойдет провожать?

— Верно, — вздохнул Энлиль.

— Рама, поедешь учиться, — сказала Гера. — А теперь иди. Собирай сумку. У нас много дел.

В ее голосе не было ни раздражения, ни обиды. Вообще ничего личного. Просто у нее и правда было много дел. Слишком тяжелых даже для ее новой шеи.

Я понял, что мне до сих пор ее жалко. Но ее не следовало жалеть. Она была королевой.

Она улыбалась мне — и ждала, когда я уйду.

Отвесив неловкий поклон, я повернулся и пошел прочь.

Когда я выходил из подземной галереи, я заметил на чаше одного из алтарей маленький жестяной автобус синего цвета. Это была детская игрушка прошлого века размером с пачку сигарет, сделанная из пластика и жести. Автобус был старым и поцарапанным, словно несколько детсадовских поколений играло им в песочнице. Но я готов был поклясться, что час назад его тут не было.

Мало того, под ним натекала крохотная лужица воды.



Воздушный замок

Два дня про меня никто не вспоминал.

Я не очень переживал по этому поводу. В моей московской квартире для таких случаев был хамлет.

На третий день позвонил мой бывший ментор Локи — и попросил приехать на дачу к Ваалу Петровичу. Во мне дрогнуло радостное предвкушение — к Ваалу молодые вампиры чаще всего ездили на Красную Церемонию. Но Локи тут же вернул меня с небес под землю.

— Баблоса не будет, губу не раскатывай, — сказал он. — Это инструктаж насчет командировки. Оденься поприличней.

Я не понял, зачем нужно наряжаться на инструктаж, но на всякий случай надел свой лучший костюм и тщательно причесался.

Когда я сел в машину, Григорий, изучив меня в зеркальце, три раза бесследно сплюнул через плечо и перекрестился. Видимо, я выглядел достойно.

— Куда едем, кесарь? — спросил он.

— На дачу к Ваалу.

— А это где?

— Сосновка, тридцать восемь, — сказал я. — У тебя есть в компьютере. И без реприз сегодня, а то у меня настроение плохое.

Мы потащились к выезду из Москвы, и вскоре я уснул — а проснулся, когда мы проезжали проходную в утыканном телекамерами заборе вокруг дачи Ваала Петровича. На стоянке перед зданием с колоннами (это была не вариация на тему Ленинской библиотеки, как я первоначально думал, а уменьшенная реконструкция кносского дворца, где жил Минотавр) стояло несколько темных лимузинов. В сборе были все шишки. Я почувствовал неприятный холодок в животе. Чего им опять от меня надо?

— Ни пуха, кесарь, — сказал Григорий.

— Сам знаешь куда, — ответил я.

— Если не вернетесь, через два дня поставлю машину в гараж. Звоните тогда на мобильный.

Шоферы и крысы первыми чувствуют надвигающийся удар судьбы, это знает любой российский ответработник — и вампиры здесь не исключение. Слова Григория окончательно погрузили меня в тревогу — и я подумал, в который уже раз, что надо бы его уволить. Просто из экологических соображений.

Ваал Петрович ждал у дверей. Он был неприлично румян и напоминал шар дорогой ветчины, закатанный в черную пару и украшенный лихими усами.

— Рама, — сказал он, — идем быстрее. Все уже ждут.

Он взял меня под руку и потащил за собой.

Зал, где проходили Красные Церемонии, был затемнен — таким мрачным я его не видел никогда. Внутри горели свечи — слишком малочисленные, чтобы осветить такое обширное пространство. Огромное золотое солнце на потолке, в котором отражались их огоньки, казалось тусклой луной. Кресла для приема баблоса были зачехлены.

В центре зала стояли Энлиль Маратович, Локи и Бальдр. Я узнал их скорее по силуэтам, чем по лицам. Рядом возвышался какой-то узкий несимметричный стол.

— Только не пугайся, — шепнул Ваал Петрович.

После таких слов, понятное дело, немедленно начинаешь искать, чего бы испугаться — и я быстро нашел.

Это было нетрудно.

То, что я принял за узкий стол, было на самом деле гробом. И сразу стало ясно, для кого он предназначен. Мне вспомнился гангстерский фильм, где члена мафии, ожидающего ритуального повышения в иерархии, вводят в комнату собраний, чтобы пустить ему пулю в затылок — и за секунду до выстрела он успевает это понять...

Я инстинктивно рванулся в сторону, но Ваал Петрович плотно сжал мой локоть. Я тут же пришел в себя. Это, конечно, были слишком человеческие страхи — и мне стало за них стыдно. Никто из вампиров не выстрелит мне в затылок, пока в моем мозгу живет магический червь.

— Рама, — сказал Энлиль Маратович торжественным тоном, — я с волнением и гордостью слежу за твоим возвышением в нашей иерархии. Сегодня у тебя и у всех нас, твоих старших друзей, особенный день.

— Зачем здесь этот гроб? — спросил я.

Мне ужасно не понравился звук собственного голоса — сначала хриплый, а потом визгливый. Видимо, я все еще был слишком испуган.

Старшие вампиры засмеялись.

— Ты принимаешь посвящение в undead, — сказал Энлиль Маратович.

— Что это такое? — спросил я тем же дурным голосом.

— Undead — высшая каста среди вампиров. Те, кто способен по своей воле входить в лимбо.

Я прокашлялся, и говорить стало чуть легче.

— А что такое лимбо?

— Ты узнаешь это после посвящения.

— А в чем оно заключается?

— Тебе предстоит пройти врата лимбо.

— Это как?

— Ты отправишься в священное для всех вампиров место, — сказал Энлиль Маратович. — В замок великого Дракулы. По дороге туда ты и пройдешь врата. Посвящением является само путешествие. Если ты придешь в себя в замке, это значит, что ты его прошел.

Я обратил внимание на это «если».

— Прибыв в замок, — продолжал Энлиль Маратович, — ты уже будешь undead.

— А что произойдет в замке?

— Ты получишь все требуемые объяснения. И обучишься великому древнему мастерству. То же самое случилось когда-то со мной — и глубоко изменило мою жизнь. Ты вернешься сюда другим. И станешь одной из могучих опор, на которых покоится наш ампир...

Возможно, Энлиля Маратовича вдохновила на эту метафору желтая колоннада, окружавшая дом Ваала Петровича. Только эти квадратные колонны, насколько я мог судить, выполняли чисто декоративную функцию — и ничего не держали.

— Место, куда ты отправляешься — не обычный физический замок, в который может попасть кто угодно. Это порог лимбо. Сейчас ты все равно не поймешь природы происходящего. Но ты должен знать, что это место — одна из наших святынь. Наша Мекка, если угодно. Туда по обычаю отбывают в специальном гробу.

— Вы действительно хотите, чтобы я в него лег? — наморщился я. — Вы серьезно?

— Абсолютно, — сказал Энлиль Маратович. — Это древнейший обычай, Рама. Такая же важная черта вампоидентичности, как черный цвет.

— Чем я буду дышать?

— Там есть вентиляция. Но она особо не нужна. Все время путешествия ты будешь в трансе. Мы дадим тебе специальную микстуру из смеси баблоса со снотворными травами и красной жидкостью ныряльщиков, прошедших это посвящение. Ее делают для таких путешествий уже тысячи лет. Локи все приготовил.

Локи показал мне маленькую черную бутылочку — и почему-то ее вид успокоил меня. А может быть, дело было в слове «баблос», на которое любой вампир реагирует одинаково.

— Когда надо будет ехать?

— Прямо сейчас.

Я опять почувствовал спазм страха.

— Но меня никто не предупредил!

— Никого не предупреждают, — сказал Энлиль Маратович. — Все должно быть внезапным, как смерть. В этом красота жизни.

— Я даже вещей не собрал!

— Они тебе не понадобятся. В замке Дракулы у тебя будет все необходимое. И даже больше.

— Это надолго?

Энлиль Маратович отрицательно покачал головой.

— Курс обучения короткий, — сказал он, — всего пара лекций.

— А нельзя ли на самолете? — спросил я. — Вот вы, Энлиль Маратович, на собственном «Дассо» летаете. А я в гробу поеду, да?

— Рама, ты меня разочаровываешь, — нахмурился Энлиль Маратович. — Тебя ждет самое волнующее в жизни вампира событие, а ты тут ваньку валяешь...

Я уже пережил несколько «самых волнующих событий» в жизни вампира — и остался жив не без труда. Так что слова Энлиля Маратовича не вызвали во мне особого энтузиазма. Но мне стало неловко за свое малодушие.

— Ты хоть знаешь, куда ты едешь? — продолжал Энлиль Маратович. — В самый настоящий воздушный замок!

— Воздушный замок? Как это?

— Так. Другие вампиры всю жизнь мечтают туда попасть — и не могут. А ты... Вампир должен быть романтиком!

Я мрачно кивнул.

— Настраивайся на серьезный лад. У тебя появятся новые друзья из других стран. Ты должен будешь с честью представлять русских вампиров — и показать всем, что наш дискурс непобедим! На тебя смотрит Великая Мышь!

— А когда я вернусь?

— Как только все кончится, — ответил Энлиль Маратович. — Ты встанешь из этого же гроба. В этой же комнате. Но сам ты будешь уже другим.

— Хорошо, — сказал я. — Что мне делать?

— Ложись в гроб. Давай, мы поможем...

— Не сомневаюсь, — пробормотал я.

Ваал Петрович присел на четвереньки возле узкой подставки, на которой стоял гроб, а Локи, вынув из нагрудного кармана черный платок,

расстелил его у него на спине. Они проделали это так слаженно, словно репетировали номер каждый день. Видимо, это тоже была какая-то важная для вампоидентичности традиция.

Я догадался, что мне следует наступить на платок — но из вредности поставил ногу на спину Ваала Петровича за его краем — прямо на поясницу. Он покачнулся, но выдержал мой вес.

В гробу было уютно и эргономично — чувствовалось, что это дорогая и качественная вещь. Но озаренные зыбким светом лица склонившихся надо мной вампиров выглядели жутко. Меня мучило плохое предчувствие. Я пытался успокоиться, напоминая себе, что оно посещало меня почти каждый день с тех пор, как я стал вампиром. Но это не помогало, поскольку я помнил — каждый раз оно так или иначе оказывалось оправданным.

— Пей, — сказал Энлиль Маратович.

Локи поднес черный флакон к моему рту.

— Это как у товарища Сталина, — сказал он сюсюкающим неискренним голосом, — висела над смертным одром такая картина. Где козленка кормят из бутылочки молоком...

Я не успел выпить всей жидкости — Локи оторвал флакон от моих губ, когда в нем оставалась еще почти половина, и у меня мелькнула догадка (за долю секунды переросшая в уверенность), что он хочет утаить часть баблоса, который очистит потом от присадок, и его болтовня про товарища Сталина — просто попытка заговорить мне зубы.

Наши глаза встретились, и я окончательно понял, что прав. Я уже открыл рот, чтобы пожаловаться на происходящее, но Локи еще говорил, причем слова, срывавшиеся с его губ, становились все длиннее и длиннее, так что совершенно невозможно было дождаться конца фразы:

— Товарищ Сталин на этого козленочка еще пальцем показывал, когда ему дали выпить яду через соску... Ха-ха-ха!

Микстура уже начала действовать — тройное «ха» показалось мне раскатами грома. Вампиры, желто-черные в дрожащем свечном свете, застыли и сделались похожи на собственные надгробные памятники.

— Bon Voyage! — прогрохотал голос Энлиля Маратовича, и что-то закрылось — то ли мои глаза, то ли крышка гроба, то ли все вместе. Стало темно и тихо.

И это было хорошо.

И не надо было ничего менять.

Никогда.

Что-то, однако, мешало моему мрачному блаженству — и я быстро понял, что именно. Это было дыхание.

Вернее, возникшие с ним проблемы.

В конце каждого вдоха мне не хватало воздуха. Сначала совсем чуть-чуть — но постепенно это становилось все заметнее, словно мой нос и рот были закрыты пластиковым пакетом и я вдыхал и выдыхал один и тот же объем газа, в котором с каждым разом оставалось все меньше кислорода. Наконец это стало невыносимым — и я постучал в крышку гроба, чтобы Энлиль и Локи открыли ее и проверили вентиляцию.

Стука, однако, не получилось. Я вдруг с ужасом сообразил, что они могли уже уйти из зала, оставив меня одного в испорченном — или просто не включившемся нужным образом — транспортном контейнере. Черт бы побрал этот традиционализм. Я попытался произвести хоть какой-то шум, но это было невозможно — все внутри гроба было мягким и упругим. Кажется, я закричал — но было сомнительно, что снаружи меня услышат.

Я понял, что через несколько холостых вдохов окончательно задохнусь — и стал яростно шарить руками вокруг себя, пытаясь обнаружить щель. Но створки гроба были соединены плотно, и никакого зазора между ними не ощущалось.

Я подумал, что меня, вероятно, решили зачистить по приказу Великой Мыши — и ничего теперь не поделать. Мне захотелось встретить смерть, сложив руки на груди. Я поднял их, насколько позволяло узкое пространство под крышкой, и вдруг обнаружил над своим солнечным сплетением круглый кружок металла — совсем маленький цилиндрический выступ размером с бутылочную пробку. По краям его покрывала шероховатая насечка, как на шишечке английского замка. Я попробовал повернуть его — и это получилось. Раздался тихий щелчок, и зашипел воздух — то ли входящий, то ли, наоборот, выходящий из гроба. Только тут я заметил, что до сих пор выкрикиваю что-то. Я пристыженно замолчал.

Меня охватил неожиданный покой — даже расслабленность. Я понял, что чуть не стал жертвой паники. Впрочем, если бы провожавшие меня господа предупредили меня об этой ручке вместо того, чтобы делиться информацией о последних минутах столь дорогого им генералиссимуса, паники можно было бы избежать.

Откинув крышку, я сел в гробу. В зале было совершенно темно — мои экономные провожатые погасили все свечи. Видимо, они вышли из зала сразу же после того, как за мной закрылась крышка — без излишней сентиментальности. К счастью, у меня в кармане пиджака была зажигалка.

Я поднял ее повыше, щелкнул пьезокнопкой — и тут же испытал второй приступ страха, даже более сильный.

Я был в другом месте.

Гроб стоял в низком склепе со сводчатым потолком. То, что это склеп, было ясно с первого взгляда — вокруг стояли другие гробы.

Как ни плохо мне было три минуты назад, мне захотелось немедленно спрятаться в гробу — и я уверен, что именно так и поступил бы, работай вентиляция. Но только что пережитый страх задохнуться оказался сильнее.

Нехватка кислорода все еще давала себя знать — перед глазами плавали желтые круги. Я с горечью подумал, что меня, скорей всего, никто не собирался убивать — просто Локи решил по русскому обычаю украсть немного баблоса и не рассчитал последствий... Или, наоборот, все рассчитал — и решил, что пара минут моей агонии в запертом гробу вполне приемлемая цена за несколько секунд личного счастья. Чем не государственное мышление... Можно даже считать это последним уроком ментора ученику. Впрочем, как учил меня тот же Локи, вампиру следовало давить ресентимент в зародыше, а охватившие меня чувства попадали именно в эту категорию.

Я дал зажигалке остыть и зажег ее опять. К этому моменту я успокоился уже достаточно, чтобы осмотреться с вниманием.

Кроме моего, в склепе было еще четыре гроба. Каждый стоял на отдельном постаменте примерно в полметра высотой. Три гроба были одинаковыми — округлыми, в светлых буквах X, L... Да, я не ошибся. Луи Вуиттон. Эти гробы были так элегантны, что походили на дорогие теннисные сумки. Четвертый был камуфляжным, грубоватой прямоугольной формы — и в два раза шире моего. Military style. На мой вкус он выглядел самым стильным. Этот гроб был крайним. Мой стоял рядом — между ним и спортивным трио.

Пальцам опять стало горячо, и я погрузился в темноту.

До меня дошло наконец, что я не в морге, и вообще не в Москве. Скорей всего, я уже прибыл к месту назначения и вижу вокруг чужие транспортные средства. Просто я пришел в себя, так сказать, в аварийном режиме — раньше остальных. Значит, посвящение, о котором говорил Энлиль Маратович, уже произошло... Ну хоть это хорошо. Но почему проснулся только я? Может быть, все остальные сейчас испытывают то же самое?

Словно в ответ на свои мысли я вдруг услышал еле различимые скребущие звуки. Они доносились с той стороны, где стоял большой камуфляжный гроб. Мне тут же представились окровавленные ногти, царапающие изнутри его крышку. Я снова щелкнул зажигалкой, вылез из своего транспортного модуля и присел возле военного гроба. Никаких

ручек или кнопок на нем видно не было. Я деликатно постучал по его крышке.

Изнутри тут же донесся еле слышный ответный стук — быстрый и, как мне показалось, испуганный. Я ощупал крышку. Сбоку на ней обнаружился крохотный выступ, за который можно было зацепиться пальцами.

— Секундочку! — сказал я и изо всех сил потянул крышку вверх.

Гроб сдвинулся с места, и я уже испугался, что опрокину его — но тут крышка поддалась и, как фонарь самолета, мягко откинулась в сторону на петлях.

Гроб действительно был двухместным — но в нем находился только один пассажир, которого я успел увидеть за миг до того, как моя зажигалка погасла от сотрясения воздуха. Это была стриженная наголо девушка в майке и шортах. На месте второго пилота лежали свернутый коврик для йоги и небольшой рюкзак.

Я собирался опять щелкнуть зажигалкой, но меня вдруг схватили за горло твердые и сильные пальцы.

— Ты потревожил мой сон, — сказал тихий голос. — Это была ошибка, и теперь ты за нее заплатишь. Я высосу твою красную жидкость до дна!

От неожиданности я выронил зажигалку. Через миг я почувствовал на своем лице дыхание — и на секунду поверил, что она действительно прокусит мне горло. Но она рассмеялась — таким счастливым смехом, что мой страх сразу исчез. А потом чмокнула меня в щеку.

Я дернулся от прикосновения ее губ как от удара током. Это заставило ее засмеяться еще сильнее. Она разжала пальцы и сказала:

— Зажги свет.

— Где это?

— Наверно, на стене.

— Сейчас...

Я нагнулся и стал шарить руками по каменным плитам пола. Зажигалки нигде не было.

— Подожди, — сказала она. — Я сама.

Прошло не больше минуты, и под потолком склепа загорелась электрическая лампа.

Я снова увидел девушку в майке и шортах. Теперь она стояла у стены, а на ее глазах были крохотные очки ночного видения, похожие на два наперстка. Когда зажегся свет, она сняла их и сунула в карман.

Она действительно была стрижена наголо — с совсем короткой

щетинкой песочного цвета, проступающей на загорелой голове. Я видел много женских причесок, но к такому радикализму не привык.

— Привет, кровосос, — сказала она. — Спасибо, что разбудил.

— Я? Разбудил? Ты уже скреблась, когда я вылез, — ответил я. — Я думал, тебе нужна помощь.

— Ты стонал на весь склеп. Как будто тебя душат. Что случилось?

— Я задыхался.

Она подошла к моему гробу и заглянула внутрь.

— Ух ты. Дорогая игрушка... Да у тебя вентиляционная решетка закрыта, парень. Ты сюда в подводном режиме приехал.

— В подводном режиме?

— Вот эта ручка переводит гроб в герметический режим.

— Я мало понимаю в гробах, — сказал я с аристократическим холодком. — Меня так упаковали.

Она повернула что-то внутри моего гроба.

— Теперь можешь спать спокойно. Вентиляция открыта. Тебя зовут Рама, да?

— Ты меня укусила?

Девушка удивленно подняла брови.

— С какой стати, — сказала она. — Я тебя просто поцеловала в щеку. У нас так делают, когда знакомятся.

— А откуда ты знаешь, что я Рама?

— Видела твое фото в программе. Тебя вставили в последний момент.

Я вообще не видел никакой программы.

— Меня зовут Софи, — сказала она.

Я пожал ей руку. Софи. Почему «Софи»? Разве это божественное имя?

— Это от «София — премудрость демиурга». Одна из ипостасей чего-то там такого...

— Ты мысли читаешь, Софи?

— Нет. Просто много общаюсь с вампирами. Первая мысль у них всегда — укусила или нет? Вторая — «почему Софи»?

Она оглядела склеп.

— Извини за экзальтацию. Просто я ужасно счастлива. Я так рада здесь быть. Я мечтала об этом последние пять лет...

Я подумал, что уже окончательно упустил момент, когда можно было невинно поцеловать ее в ответ.

Подойдя к трем закрытым гробам, она внимательно их осмотрела.

— Понятно, — сказала она. — Французы. Их я тоже видела в программе. Там про это не было, но я уверена, что они телепузики.

Практически сто процентов.

— Телепузики? — переспросил я. — Типа как «лягушатники»?

Она наморщилась, словно я сказал бестактность.

— Нет. Это не имеет отношения к национальности. Они медиумы-демонстраторы. Новая профессия, ей всего пятьдесят лет. Они не совсем ныряльщики, но обучаются вместе с нами.

— Откуда ты знаешь, что это телепузики?

— Потому что их трое и они вместе. Их всегда трое. Чаще всего берут братьев. По возможности однояйцевых близнецов. Кажется, теперь их специально тиражируют через суррогатную мать.

— А что они делают?

— Показывают другим, что мы видим в лимбо.

— В каком лимбо?

Она удивленно на меня посмотрела.

— А бывают разные?

— Не знаю, — сказал я. — Просто меня сюда отправили совершенно неожиданно. Я вообще не в курсе. Извини.

— Ничего. Здесь все объяснят.

— А сколько народу в программе?

— Было шестнадцать кандидатов. Добрались пятеро.

Я хотел спросить, куда в таком случае делись остальные одиннадцать — но испугался, что опять покажу свое невежество. Мне не хотелось, чтобы она сочла меня полным дурнем, поэтому я решил не углубляться в расспросы.

— Разбудим телепузиков? — предложил я и указал на гробы.

— Зачем, — ответила Софи. — Это будет невежливо. Они тебя не просили.

Она поглядела на часы.

— Одиннадцать тридцать пи-эм. Подъем завтра утром. Думаю, часов в девять. Ты не хочешь прогуляться по замку? Сейчас здесь никого нет.

— А это можно? — спросил я.

— Нельзя, — сказала она. — Но раз уж ты меня разбудил... Пойдешь?

Я кивнул.

Она подошла к двери и осторожно потянула ее на себя. Дверь со скрипом открылась. За ней была темнота.

— Сейчас здесь практически музей, — сказала она. — А когда-то он действительно здесь жил...

— Кто «он»?

— Дракула...

Она шагнула в темноту, и я последовал за ней.

Мы оказались на каменной лестнице — ее ступени приходилось наощупь находить при каждом шаге. Темнота была очень романтической. Я представлял себе, как нас что-то напугает и она испуганно ко мне прижмется... Или я к ней. Но тут она зажгла фонарик.

В конце лестницы была еще одна дверь. Софи открыла ее, и я увидел длинный коридор под высоким сводчатым потолком. В нем было светло.

Серый дневной свет падал из окон, за которыми, однако, не было никакого, даже самого убогого вида. Там был только каменный мешок — покрытая серой штукатуркой стена примерно в метре от стекла. Так мир выглядит из полуподвала. Странное слово — «полуподвал». Вроде «полуподлец»...

Коридор действительно походил на музейную галерею — на его стенах висели картины и разные предметы.

— Еще светло, — сказал я, кивая на окно. — Ты уверена, что сейчас полдвенадцатого?

— Это фальшивый свет, — ответила она. — Весь замок под землей. У него нет стен, Рама. Одни коридоры... Такие окна на каждом этаже. И еще витражи. Здесь много витражей.

— Откуда ты знаешь?

— Вот, смотри, — сказала она и кивнула на ближайшую к нам картину.

Там был изображен стоящий на холме замок со множеством башен и башенок из белого камня под крышами из алой черепицы. Это была не древняя феодальная крепость, а, скорее, большой manor house, украшенный множеством архитектурных излишеств. Интереснее всего выглядели окна — в нижних этажах они были скрыты подобием накладных каменных карманов, в которых для света была оставлена только узкая щель сверху. Именно такие я и видел в стене перед собой. А в верхних этажах окна были обычными, но вместо стекол в них были витражи.

Над башнями замка развевались флаги — длинные и узкие, как змеиные языки. На одной из стен первого этажа, недалеко от входа, был нарисован красный крестик со словами «you are here». Словом, это был бы вполне обычный замок, если бы не одна деталь.

От стен здания в разные стороны отходили тонкие ветви, которые кончались похожими на скворечники домиками с витражными окнами. Эти домики висели в пустоте. Они выглядели ажурно — и одновременно нелепо: было件нятно, что такая длинная ножка не удержит массивный куб на ее конце. Из-за этого замок походил на сюрреалистическое дерево с коротким толстым стволом.

— Мы на первом этаже, — сказала Софи. — В смысле, на самом глубоко. Весь этот замок под землей. А эти ветки — просто подземные коридоры. Красиво, да?

— Могли бы и над землей построить.

— Тогда замок не был бы тайным, — ответила она. — Разве можно скрыть целый замок? Сейчас такой не спрячешь даже в Амазонии. Каждый сантиметр на гугл-мэпс...

— А где он находится?

— Про это не принято говорить. И я сама точно не знаю. Эта тайна охраняется очень строго.

Я решил не проявлять излишнего любопытства.

— Но тогда это просто подземелье, — сказал я. — А мне говорили, воздушный замок...

— Правильно говорили, — ответила Софи. — Это подземный пузырь воздуха, причем именно той формы, какую ты видишь на этой картине. Самый настоящий воздушный замок в прямом смысле. Если ты подумаешь три минуты, ты поймешь, что никаких других воздушных замков не бывает...

Мы прошли по галерее еще несколько шагов.

— А вот и он, — благоговейно сказала Софи.

Я увидел на стене застекленную репродукцию древней фотографии — или дагерротипа. Это был портрет джентльмена в длинном черном сюртуке, сидящего возле столика с чайным прибором. На полу рядом со столиком стоял его цилиндр. Джентльмен напоминал французского писателя Стендаля — у того была такая же черная шкиперская борода.

— Я не так его представлял.

— Его настоящий облик не афишируется, — сказала Софи. — Его даже превратили из уроженца Лондона в трансильванца.

— Почему? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Политика. Лондон не должен символизировать вампиризм в массовом сознании. Слишком суггестивно. Сити будет против.

— У него имя вроде не английское.

— Дракула — это кличка. Его вампирическое имя было Dionysus. По-русски Дионисус.

— Дионис, — поправил я.

— Да. Друзья-вампиры называли его «Dionysus the Oracular»^[1] из-за свойственного ему ума и возвышенной натуры. Он не обижался и даже сам подписывался иногда так в их альбомах. Иногда он писал просто «D.

Oracular». Халдеи сделали из его шутливого прозвища трансильванскую фамилию. А сам миф перенесли в нежное, так сказать, подбрюшье Европы...

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я.

— Дракула интересует меня уже много лет. Вот опять он. Смотри...

Она показала на стену.

Я увидел написанный маслом портрет того же господина — только в другом ракурсе. На Дракуле был современный костюм — ну, или почти современный, такие носили, наверно, в середине прошлого века. Возможно, именно из-за костюма мне показалось, что здесь он похож не на Стендаля, а на Шона Коннори в роли Стендаля. Причем на молодого Шона Коннори, загримированного под пожилого Стендаля. Между дагерротипом и масляным портретом была дистанция минимум в сто лет — но Дракула был почти тем же, только в его бороде появилось несколько седых волос.

Дальше на стене висело несколько листов с карандашными — или угольными — набросками, защищенными большим прозрачным стеклом. Рисунки выглядели очень старыми. Бумага пожелтела от времени; на некоторых листах были пятна и круглые следы то ли кружек, то ли стаканов. Я совершенно не удивился бы, узнав, что это наброски какого-нибудь Леонардо. Удивился бы я только тому, что Леонардо рисовал такие странные вещи.

Все рисунки изображали одно и то же — полуголого древнего вампира в высокой тиаре, какая бывает у индийских богов. Я понял, что это вампир, поскольку он висел вниз головой, зацепившись за перекладину. Чрезвычайно замысловатыми, однако, были его позы — они выглядели как асаны индийских аскетов. Мало того, через перекладину была перекинута только одна нога древнего вампира — вторая была или заложена в подобие полулотоса, или вообще загнута самым невероятным образом. На одном из рисунков под висящим было выведено еле заметное слово «Магго».

— Что это у него за колпак? — спросил я. — Он что, приклеен?

— Прическа, — сказала Софи.

— Что «прическа»? — не понял я.

— У Мары на голове. Поэтому и не падает. Тогда прически такие делали — накручивали волосы на вертикальные шпильки. Получалось как храм из собственных волос. Внутри делали крохотный алтарь из цветочных лепестков. А потом устраивали специальную ганапуджу и звали в этот храм какого-нибудь бога...

— Тогда — это когда? — спросил я.

— В Индии. Две с половиной тысячи лет назад.

Ее знания впечатляли. Может, я и сам знал бы не меньше, если бы, как она, годами мечтал попасть в это место. Но неделю назад я даже не знал, что оно существует. А вот она знала...

Следующую картину я уже видел.

Она изображала похороны рыцаря, которого провожало множество печальных господ с модными бородками над круглыми кружевными воротниками. Хоронили тоже Дракулу — только он теперь был в латах с длинной пробоиной на груди, над которой висел большущий синий комар, изображавший, надо было понимать, душу. Заметив этого комара, я вспомнил, где видел его раньше.

— У нашего главного в хамлете такая фреска, — сказал я. — Только во всю стену. По кругу.

— Это из Круглой Комнаты, — ответила Софи.

— А что за синий комар? Душа?

Софи засмеялась.

— Ну ты даешь, Рама. Какая у Дракулы душа?

— А что это тогда?

— То, что вместо.

Я решил не спрашивать, что у вампира вместо души — вопрос мог показаться ей глупым. Тем более что ответом на него, скорей всего, оказался бы какой-нибудь дискурсизм. Мне было интересно другое — как Дракула ухитрился умереть в средневековой Испании, дожив перед этим до середины прошлого века. Этот вопрос уже вертелся у меня на языке — но тут я увидел следующую картину.

Она опять изображала похороны Дракулы.

Только на этот раз Дракула был одет мексиканским ковбоем. Он покоился в открытом гробу, а на его груди лежало черное сомбреро, усеянное по периметру маленькими оловянными черепами. Провожатые были и на этой картине — индейцы в боевой раскраске несли на бархатных подушках револьверы и какие-то громоздкие ордена, сверкавшие множеством бриллиантов.

Один особенно торжественный индеец шел перед гробом — и нес маленького румяного младенца. Над грудью мертвого Дракулы не было комара. Зато он парил над младенцем. Точно такой же, как на прошлой картине, только красный.

— Опять из Круглой Комнаты, — сказала Софи.

Меня начинала угнетать ее осведомленность.

— А что это за Круглая Комната? — спросил я.

— Она раньше была в самой высокой башне замка. Там у Дракулы был

кабинет. А потом она схлопнулась.

— Схлопнулась?

— Ну да. Воздушные замки ведь не рушатся. Они схлопываются. Иногда по частям. А бывает, сразу целиком.

— Эти фрески были на стенах? — спросил я.

— Нет, — сказала Софи. — Они иногда проецировались на стены. Две или три сохранились на фотографиях. Их просто перерисовали краской...

Я отчего-то вспомнил дом Энлиля Маратовича. Он отличался от замка Дракулы глубиной и формой — но вообще-то это была такая же подземная пустота. Только наши вампиры называли его жилище большой землянкой. Видимо, землянка — это и был отечественный вариант воздушного замка.

Картина с мексиканскими похоронами была последней — дальше галерея упиралась в закрытую дверь. Софи несколько раз дернула ручку — но дверь не открылась.

— Пошли назад, — сказала она. — Пока нас не застукали.

— А что будет? — спросил я.

— Ничего хорошего. По замку Дракулы не разрешают просто так гулять. Боятся, что он схлопнется дальше. Как Круглая Комната.

На прощание я еще раз осмотрел картину с индейцами и красным комаром.

— А как это проецировалось на стены?

Софи ничего не ответила, и я решил, что ей надоели мои расспросы.

Но когда мы вернулись в склеп, она сказала:

— Насчет Круглой Комнаты. Тебе правда интересно?

Я кивнул.

— У меня есть немного информации...

Откинув крышку своего гроба, она выбросила из него на пол рюкзак и коврик для йоги, легла внутрь и поманила меня пальцем, словно приглашая залезть к ней в машину. Я подумал, что мы окажемся очень близко друг к другу. То есть совсем-совсем...

Я подошел к ее гробу и не очень ловко прилег рядом. Места было вполне достаточно. Софи улыбнулась и закрыла крышку. Она захлопнулась беззвучно, как дверца дорогого авто.

Я чувствовал тепло ее плеча. Слышал ее дыхание. Я мог бы лежать в этой живой темноте целую вечность. Но так не бывает. Я уже знал.

— У тебя информация в препарате? — спросил я.

— Просто файл.

— Где?

— Вот тут.

Прямо перед моим лицом зажегся монитор. Это был планшет, вделанный в крышку гроба. На нем появился странный символ — красное сердце с похожей на пробоину черной звездой.

Повернув голову, я увидел ее лицо.

— Мы теперь совсем близкие существа, — сказал я.

Она ничего не ответила. Подняв руку к экрану, она затыкала по нему пальцем. Я глядел не на экран, а на ее нахмуренное лицо, освещенное голубым светом.

— Читай.

Я перевел глаза на экран. Там был текст.

«В том же самом месте была у него круглая комната, которую он использовал как место для своих тайных опытов и изысканий. В ней было много чудесного и непостижимого для случайного гостя — но любимой его игрушкой был волшебный фонарь на ярчайшей лампе. У этого фонаря была сложная механика, работавшая от стальной пружины, и он мог показывать на круглой стене движущиеся картины.

Дракула зажигал фонарь, дабы испытать мудрость своих гостей. Тогда на стене появлялись его изображения. Картин же таких было три вида — на которых Дракула был Младенцем, Мертвецом и Зрелым Мужем. Где он был Младенцем, над ним летел красный комар. Где он был Зрелым Мужем, комар был зеленый. А где Мертвецом, синий.

Иные сцены были из глубочайшей древности, где Дракула кутался в шкуры и был окружен троглодитами. Другие — из менее отдаленных дней, где он в золотом венце появлялся среди царей Атлантиды. Еще он был изображен рыцарем, разбойником, монахом, убийцей и святым, мужчиной и женщиной — в прошлом, настоящем и будущем, среди горести и счастья.

Эти картины начинали мелькать на стенах все быстрее, и в какой-то момент изображенное на них становилось неуловимозыбким. И тогда отчетливо проявлялся огромный пульсирующий комар, который, меняя цвет, облетал вокруг комнаты. Мультипликация была так совершенна, что некоторые падали в обморок.

Дракула каждого вопрошал о смысле увиденного.

„Здесь твои былые и будущие жизни, граф“, — говорили обычно гости. — „Здесь ты, каким ты был в древности и каков

окажешься в будущем“.

Дракула отвечал, что в фонаре запечатлен один день его жизни, или даже малая часть дня. Когда гости спрашивали, что же это за странный и чудесный день, Дракула говорил, что день самый обычный и таковы все его дни.

„Ты, должно быть, не вылезал сегодня из погребца и отведал много красного, граф“, — говорил иной ученый вампир как бы тайным, непонятным для людей иносказанием. На что Дракула лишь смеялся и отвечал такому гостю — ты моей загадки не решил и вряд ли когда решишь. С таким он пил вино, шутил — но к себе не приближал. Бывало, однако, что загадку решали. Тогда Дракула уводил решившего во внутренние покои — и имел с ним беседу о высоком и тайном.»

Ниже была иллюстрация — картина с похоронами Дракулы-рыцаря. Еще ниже размещался квадратик, в котором полагалось быть видеовставке — но он был черным и пустым.

— Что там за видео? — спросил я.

— Здесь должна быть реконструкция, — сказала Софи. — Как мог выглядеть полет этого комара. Я еще не сделала.

— А откуда текст?

— Из «Воспоминаний и Размышлений».

Название я помнил — специальное устройство в моем хамлете начитывало мне цитату из этого труда, когда я зависал вниз головой слишком уж надолго.

— Разве это не книга самого Дракулы? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — Это книга воспоминаний про Дракулу. И еще там сборник его высказываний. Хотя не факт, что Дракула действительно все это говорил. Эти цитаты и есть так называемые «Размышления». А «Воспоминания» целиком не сохранились. Вообще нигде. Ни на бумаге, ни даже в препаратах. Есть только несколько отрывков вроде этого. Странно, да?

— Ты думаешь, их кто-то специально уничтожил?

Она кивнула.

— Кто?

— Вампиры. Чтобы скрыть правду о Дракуле.

— Зачем?

— Потому что на самом деле он был совсем не тем самодовольным хлыщом и острословом, каким его представляет наша политическая

мифология.

— А цитаты придумали потом?

— Часть придумали, что-то нет, — сказала она. — Совершенно точно одно — от нас скрыли его настоящую жизнь и подлинные мысли.

— Зачем?

— Его сделали главным идеологом вампиризма. Основным, так сказать, теоретическим столпом. Но в действительности он... Как бы мягче сказать... Он был диссидентом. Причем очень радикальным.

— Толстовцем? — спросил я.

— Толстовцы? Это кто?

— Которые красную жидкость пьют вместо баблоса, — ответил я. —

Опрощаются.

— Нет. Гораздо радикальнее.

— Что, — спросил я хмуро, — мозги ел?

— Фу, — сказала Софи. — Сейчас тебя выгоню из своего гробика.

— Извини, — ответил я. — Я вообще ничего про него не знаю. У нас в России про него мало говорят. Только цитируют. А в чем было его... Ну, несогласие с линией партии?

— Говорят, он хотел освободить людей. И вампиров тоже.

Я засмеялся.

— Людей освободить невозможно. В дискурсе объясняют почему.

— Невозможно, — согласилась Софи. — Но внутри этой невозможности есть исчезающе маленькая возможность. Как жилка золота в куске породы. И Дракула ее нашел. Так, во всяком случае, некоторые считают...

— И ты тоже? — спросил я.

— Я хочу найти истину, — сказала она. — Вслед за Дракулой. Я верю, что он ее постиг.

— И где ты ее хочешь найти? На дне моря?

— Почему на дне моря?

— Ну мы же ныряльщики. Мы, кстати, откуда нырять будем? С катера или с пирса? Или здесь специальный подземный бассейн?

Софи повернула ко мне голову.

— Ты чего? — спросила она, недоверчиво глядя на меня.

— Что? — переспросил я. — Мы же на ныряльщиков учимся?

— Ты думаешь, ныряльщики в воду ныряют?

— Мне не объяснили ничего, — сказал я жалобно. — Просто послали сюда. Типа как в ссылку. А куда мы ныряем?

Она покачала головой.

— В смерть, Рама. Мы ныряем в смерть.

Я вздрогнул. Отчего-то это слово напугало меня.

Хотя, конечно, лежа в гробу, да еще в подземном склепе, пугаться каких-то слов было смешно. Тем более рядом с такой милой девушкой... Я даже не задумался о том, что значит нырять в смерть. Меня куда больше интересовало, чем закончится это совместное лежание в гробу.

Софи, похоже, прочла мои мысли.

— Ладно, — сказал она, — иди к себе. Завтра трудный день, надо отдохнуть.

— У тебя так уютно. Первый раз вижу такой большой гроб.

— Size matters, — усмехнулась она. — Sometimes^[2]. Но тебе правда надо идти. Я кое-что знаю о здешнем распорядке. Ночью нас заставят уснуть. А потом гробы развезут по комнатам. Будет неловко, если твой гроб окажется пустым. Ты же не Иисус. Ты Рама.

Я понял, что спорить бесполезно.

— Спокойной ночи, Софи.

Выбравшись из ее гроба, я залез в свой.

Закрыв крышку, я сделал несколько глубоких вдохов. Вентиляция работала. Я откинулся на подушки и повторил про себя странные слова — «ныряем в смерть...»

Что они могли значить?

Почему-то я был уверен — ничего страшного меня не ждет. Если бы впереди было что-то действительно жуткое, оно наверняка было бы поименовано каким-нибудь приторно-розовым клише.

Именно розовым, да. Полным тайного шипастого ужаса. «Розовые очки...» Которые, наверно, уже невозможно снять. Или, у англичан, еще страшнее: «a bed of roses»...^[3]

Мой гроб был мягок и уютен, и внутри было совсем тихо. Я чувствовал себя защищенным от всех земных напастей. Мне было хорошо. Я подумал о Софи, спавшей в паре метров от меня. Мне отчего-то вспомнилась безобразная русская частушка, начинающаяся со слов «вижу — девушка в гробу...» От смущения я прокашлялся. Затем, чтобы хоть чем-то себя занять, я стал считать удары своего сердца — и даже не заметил, как гроб унес меня в теплое и счастливое небытие.



The Hard Problem

Меня разбудили звуки органа.

Сначала они были тихими, но постепенно делались все громче — пока мне наконец не показалось, что мой гроб стоит прямо среди гудящих труб. Я откинул крышку, и музыка сразу стихла.

Я был уже не в склепе.

Вокруг была комната, похожая на келью в средневековом монастыре. У нее было высокое стрельчатое окно с витражом вместо стекла. Витраж походил на миниатюру из старинной рукописи — и изображал коленопреклоненного молодого человека в синей робе. Над ним парила черная летучая мышь, от которой исходило желтое сияние. Все это было в неправильной перспективе, как и положено в духовном искусстве.

Сквозь витраж в комнату падали желтые, синие и красные лучи. За стеклами, казалось, был солнечный день — но я уже знал, что это солнце поддельное.

Комната была обставлена по-спартански. У стены под витражом стоял стол с большим блюдом, накрытым конической крышкой — под такими в гостиницах подают еду. Рядом был набор алхимического вида посуды, предназначенной не то для еды, не то для поисков философского камня — или, подумал я меланхолично, для поисков философского камня в еде.

У стены был книжный шкаф, в котором темнели тома с золотым тиснением на корешках (кажется, какие-то старые медицинские книги на латыни). Они стояли настолько ровно, что шкаф вместе с корешками казался вырезанным из одного куска дерева (интересно, что за все проведенное там время я так и не потрудился проверить эту догадку).

Мой гроб стоял в маленьком алькове. Никакой другой кровати в комнате не было. Видимо, вампиру полагалось спать именно там. Но я неплохо выспался — и эта перспектива меня не пугала.

Я вылез из гроба и пошел в ванную.

Там я обнаружил смену белья и полный набор одежды — черные кожаные тапки вроде гимнастических, широкие синие штаны и робу наподобие той, в которую был одет юноша на витраже. Только у моей на спине и груди было крупное слово:

В ванной было все необходимое — мыло и шампунь, зубная щетка и мелкие средства личной гигиены, запакованные в коробку с надписью «Vanity Kit»^[4]. Всё палочки для ушей, сказал Экклезиаст.

Несколько минут ушли у меня на душ и прочее. Приведя себя в порядок, я попробовал надеть синюю робу. Она оказалась впору — хоть мне не понравился ее старомодный покрой. Я подумал, что сейчас было бы самое время поесть, и подошел к столу — проверить, не ждет ли меня завтрак под конической крышкой. Подняв ее, я увидел квадратный листок бумаги. На нем были рукописные фиолетовые строки:

Breakfast at 10.00

Classes at 11.00

Follow the arrows.

Я поглядел на часы. Было уже десять пятнадцать.

В коридоре напротив моей двери действительно висели два знака со стрелками и пиктограммами.

На одном были скрещенные вилка и ложка под тарелкой, украшенной широким смайлом. Этот символ выглядел непередаваемо зловеще — почему-то он казался черепом и костями, над которыми надругалась не только смерть, но и политкорректность.

Вторая пиктограмма изображала летучую мышь в сияющем ореоле. Я уже видел подобное на витраже — иначе подумал бы, что это шахид в момент разрыва. Под пиктограммами были указывающие вправо стрелки. В них, впрочем, не было необходимости, потому что слева от пиктограмм коридор кончался моей дверью.

Коридор был овальным в сечении, длинным и извилистым — и походил на оштукатуренную нору с плафонами на потолке. Вскоре с ним соединились еще три похожих коридора, и он стал прямым и широким. На полу появились каменные плиты, а на стенах — эстампы с геральдическими эмблемами.

Наконец я добрался до большой двери, из-за которой слышались голоса. На ней висело уже знакомое мне изображение ухмыляющейся тарелки.

Я потянул дверь на себя.

В первый момент мне показалось, что небольшая кантина полна народом. Собравшиеся были одеты одинаково — в такие же синие робы, как на мне. Практически все столики были заняты — а перед небольшим окошком, где выдавали пищу, стояла очередь. Но что-то было не так.

Я сообразил наконец, что.

Фигуры в робах были неподвижны. Это были просто манекены — или, возможно, восковые фигуры (их лица и руки выглядели крайне реалистично). Невнятный шум множества голосов, который я услышал в коридоре, был, похоже, какой-то записью.

Потом я увидел руку в синем рукаве, которая поднялась над дальним столиком. Это была Софи. Кроме форменной робы, на ней была расшитая сложным узором шапочка.

— Рама! Бери завтрак и иди сюда.

За ее столом сидели два манекена — и имелось одно свободное место.

Я подошел к окошку раздачи. Оно было низким и узким, как боевая щель огневой точки. В нем был виден стол с тарелками и пара рук — красных, припухших и уж точно не восковых.

Я взял пустой поднос и сунул его в щель. Красные руки поместили на него кружку с чаем, вилку, ложку, нож и три тарелки — с яичницей, салатом и овсяными мюслями в молоке.

Восковая очередь не возражала.

— Садись, — сказала Софи. — Только поздоровайся сначала с французами.

— А где они?

Софи кивнула на дальний угол зала.

Я увидел трех молодых людей галльского типа, сидящих за длинным столом в компании манекенов. Они внимательно — и, как мне показалось, напряженно — смотрели на меня.

Я направился к их столу, и они поднялись мне навстречу.

— Эз, — сказал первый.

— Тар, — сказал второй.

— Тет, — сказал третий.

— Рама, — ответил я, пожимая руки.

Они очень походили друг на друга — и даже стрижены были одинаковым ежиком (длиннее, чем у Софи). Эз был чуть ниже остальных — или просто сутулился. У Тара была большая родинка на подбородке, а Тет казался полнее. Я ожидал, что мы обменяемся хотя бы парой вежливых фраз, но они сразу же сели и уставились в свои тарелки.

Я вернулся к Софи и сел за стол.

— Какие интересные имена. Первый раз слышу.

— Это галльские боги, — ответила Софи. — Если полностью, Эзус, Таранис и Тевтат. Они мне уже объяснили, что первому приносили жертвы путем повешения на дереве, второму — сжиганием в плетеной корзине, а

третьему — утоплением в бочке с водой.

— Если решу принести им жертву, — сказал я, — буду знать. Какие-то они необщительные.

— Со мной они дольше говорили. Наверно, решили, что я из их компании, только старше.

— Почему?

— Телепузики бреются наголо. Это профессиональное.

— Зачем?

— Лучше контакт с электродом.

Про электрод я спрашивать не стал. Не хотелось раз за разом демонстрировать свою неосведомленность.

— Они же вроде не лысые, — сказал я.

— Они еще не выучились. Потом побреются.

— А ты тоже для контакта с электродом стрижешься? — спросил я.

— Нет. Просто для красоты. А тебе не нравится?

Я уже собирался ответить, что нравится, но в это время над головой опять загудел орган, и Софи сказала:

— Доедай быстрее. Пора учиться.

Учебная аудитория оказалась просторным и светлым залом с фиолетовой школьной доской. Перед ней стоял стол. В двух боковых стенах были высокие стрельчатые окна со сложными витражами — причем с каждой стороны, если верить игре света, висело по солнцу. Из-за этого начинала немного кружиться голова — что, впрочем, прошло, когда я повернул глаза к доске.

Остальное пространство заполняли грубо выкрашенные парты, за которыми сидели восковые ученики в синих робах — такие же, как в кантине. У каждого в руке было перо, а на парте рядом лежала выцветшая ученическая тетрадка. На некоторых манекенах были совсем древние седые парики с косичками — я видел такие только на старинных портретах.

Свободных мест в классе осталось немного. Пустыми были две длинные парты в первом ряду. Эз, Тар и Тет втроем втиснулись за одну — видимо, мысль о разлуке была для них невыносима. Софи села за другую, а я устроился рядом с ней.

Шло время — а преподавателя не было.

Галльские боги тихо о чем-то переговаривались. Софи углубилась в маленькую черную книжечку с кроссвордами — и через пару минут уже стала обращаться ко мне за советами. Чаще всего я не знал ответа, но один раз сумел помочь, объяснив, что «Prince of Thieves»^[5], девять букв — это не Vlad Putin, как она предположила, а Robin Hood. Это наполнило меня

интернациональной культурной гордостью.

Минут через десять в дверь робко постучали.

— Entrez! — сказал один из французов.

Дверь растворилась, и в комнату вошел ветхий мужичонка в рабочем комбинезоне. В его руке был бумажный мешок с надписью «CHARCOAL FOR GRILL». Я узнал эти красные, как бы распаренные руки — именно они совсем недавно ставили еду на мой поднос.

Войдя, он сразу повернулся к нам спиной и принялся раскладывать по полочке перед доской куски желтоватого мела, вынимая их из своего мешка. Я подумал, что это местный прислужник-многостаночник, решивший навести последний марафет перед уроком. Мужичонка был настолько неказист и незначителен, что после этой классификации просто выпал из поля моего восприятия, хотя все время оставался перед глазами.

А потом я услышал его голос. Для уборщика он говорил что-то странное.

— Меня зовут Улл. Место, где происходит наша встреча, сильно отличается от мира, откуда вы прибыли. Некоторые верят, что каждый из гостей предстает здесь перед взором самого Дракулы. Я никак не комментирую это утверждение — но рекомендую вести себя так, как если бы оно было правдой. Вы приехали сюда сдавать свой самый важный экзамен. Сейчас вы думаете, что он уже позади. Вы думаете, вы уже undead. Но это не так. Мальки — еще не рыбы. Будьте настороже!

Улл сделал паузу и оглядел класс — причем мне показалось, что он с равным вниманием глядит на нас пятерых и на восковые манекены.

— Что значит undead? — спросил он. — Это означает, что все остальные — и люди, и вампиры низшего ранга — по сравнению с вами просто мертвецы. Вы преодолели жизнь и смерть. Вы подняли ногу, чтобы шагнуть к иному. Но не факт, что это получится у каждого из присутствующих. Совсем не факт. Не расслабляйтесь!

Видимо, предисловие было закончено. Улл повернулся к доске и написал на ней большими готическими буквами:

SEMINAR 1

Human Hard Problem and

Vampire's Easy Way^[6]

— Я веду у молодых вампиров два предмета, — сказал он, — дайвинг и маскировку. Маскировке я вас учить не буду, потому что для этого вы слишком самодовольные болваны. Я буду учить вас только дайвингу. Наш курс будет состоять из трех дней — он очень короткий. Но этого достаточно, чтобы вы узнали все необходимое. Остальное вам расскажут дома. Вы вампиры и знаете много языков. Поэтому я буду иногда переходить с одного на другой. Вы у меня уже двадцать третья смена, так что не думайте, пожалуйста, что можете меня удивить. Но если вы все-таки хотите меня удивить, постарайтесь понять хотя бы половину того, что я буду рассказывать. Если вы чего-то не улавливаете, не стесняйтесь перебивать и спрашивайте сразу.

— Нам не надо представиться? — спросил один из французов.

— Я тебя знаю, Эзус. И тебя, Таранис. И тебя, Тевтат. И вас, Рама и Софи. Ваши документы уже прибыли. Я потому и опоздал немного, что знакомился с препаратами. Мне теперь известно про вас все.

Он внимательно оглядел нас, останавливая на каждом глаза на две-три секунды — словно говоря: «Знаю, знаю. И про это, и про то...»

Я, впрочем, понимал про вампиров достаточно, чтобы предположить, что он просто берет нас на понт, а сам бережет душу, сохраняя здоровое неведение относительно наших сердец и умов. В конце концов, двадцать три курса...

— Итак, — сказал Улл, — мы с вами вампиры-ныряльщики. Кто-нибудь уже знает, что это значит — нырять?

Один из французов, Эз, махнул рукой.

— Я знаю. Это означает делать астральную проекцию в загробное измерение.

— То есть? — поднял брови Улл.

— Ну, выходить из туловища в тонком теле.

— Объясни подробнее.

Эз поднялся из-за парты, подошел к доске и нарисовал лежащего на койке человека. Потом подрисовал сверху что-то вроде привидения и тонкой линией соединил его с лежащим на койке.

— Вот, — сказал он.

— Спасибо, — кивнул Улл. — Садись. Очень хорошо, что ты начал с этого заблуждения. Нам будет гораздо проще, когда мы оставим его позади. Феномен так называемого «выхода из тела», или, как ты выразился, «астральной проекции», известен людям многие века. Человеку кажется, будто он выходит из тела и видит себя со стороны. Многие путешествуют в таком виде по миру, посещают другие континенты и планеты. Это

распространенное переживание. В шестидесятые годы прошлого века даже считалось, что, если вам ни разу не удалось выйти из тела, пора менять дилера. Однако достаточно чуть подумать, чтобы понять, что этот опыт — чистейшая внутримозговая галлюцинация, а вовсе не реальный выход из тела какой-то воспринимающей субстанции.

— Почему? — спросил Эз.

— Дело в том, — ответил Улл, — что мир, каким его видят при астральной проекции, никак не отличается от того мира, который мы видим обычно.

— А почему он должен отличаться?

— Потому, что все видимое нами есть результат электрохимических процессов в глазах, соединительных нервах и мозгу. Чтобы видеть по-человечески после выхода из тела, мы должны взять с собой глаза. И мозг тоже. Если бы мы могли воспринимать реальность одним астральным телом, глаза и мозг не были бы нужны, и эволюция не стала бы с таким трудом изобретать для нас эти дорогостоящие хрупкие инструменты. Именно поэтому нет ни одного достоверного случая, когда так называемый «выход из тела» помог кому-нибудь разжиться ценной информацией. Ни одна из враждующих армий никогда не засылала астральных шпионов в чужой штаб. Только настоящих. Во время так называемой «астральной проекции» человек не выходит за пределы тела. Он даже не выходит за пределы своей фантазии. Серебряная пуповина, которую видят в таких случаях, является просто эхом пренатального переживания.

Улл жирным крестом зачеркнул висящее над кроватью привидение и положил мел.

— Забудьте эту чушь навсегда.

Он оглядел нас, оценивая эффект своих слов.

— Итак, куда и зачем погружаются ныряльщики на самом деле? — спросил он. — Мы не ныряем в астральный мир, как думают недоучки из гламурного эшелона. Мы не погружаемся в электрические спазмы собственных нейронов, как думают переучки из зоны дискурса. Мы ныряем в лимбо. Но перед тем, как говорить о лимбо, надо разобраться с тем, что такое наше сознание.

Мне вдруг стало казаться, что я уловил слабый запах ладана, исходящий от комбинезона Улла.

— Чтобы вы не путались в серебряных пуповинах и астральных проекциях, — продолжал он, — вам надо прежде всего понять, как связаны сознание и мозг. Начнем с человеческих представлений...

Он повернулся к доске и несколькими штрихами нарисовал

человеческое лицо в очках — одновременно самодовольное и глупое.

— Самое смешное в том, что широкая публика уже много лет верит, будто науке это известно. Ну, более-менее известно. Любой человеческий ученый знает, что это неправда, но медиа все равно поддерживают в людях такую уверенность, благо это несложно. Достаточно раз в году показать по телевизору какой-нибудь большой томограф и пару шарлатанов в белых халатах. Или многоцветную компьютерную мультипликацию, наложенную на разрез мозга — как сейчас говорят, brain porn. В результате свободные цивилизованные люди уверены, что в сегодняшней жизни осталась только одна неразрешимая загадка — где взять денег...

Он подошел к нашей парте.

— Почему это так, Рама?

— Баблос, — буркнул я.

Улл потрепал меня по затылку.

— Именно. Поскольку люди были выведены нами в сугубо утилитарных видах, целью их духовно-мыслительного процесса является не познание истины, как говорят их ученые, и даже не «жизнь, испитая до дна», как утверждают их гламурные идеологи, а выработка наибольшего количества агрегата «М5» в виде эманаций, которые могут быть уловлены Великой Мышью. Не в наших интересах, чтобы люди осознали реальное положение дел, поставив под угрозу существующий порядок вещей. Поэтому вторая сигнальная система, которой вампиры оснастили их мозг, имеет в себе специально встроенные предохранители-баги. Они делают невозможным для человека познание истины, доступной высшим существам.

— Что такое вторая сигнальная система? — спросил Эз.

— Это язык, на котором люди говорят и думают.

— Какой именно?

— Любой. Все языки, несмотря на кажущееся разнообразие, просто разные версии одного и того же кода. А код составлен так, чтобы компьютер постоянно глючило. Понимаете? Сама природа их мышления с неизбежностью наводит в сознании неверную и дикую картину мира, которая с детства сковывает по рукам и ногам. Человеку не нужно трех сосен, чтобы заблудиться — ему достаточно двух существительных. Например, «субъект» и «объект». И чем больше люди спорят по поводу слов друг с другом, тем глубже они увязают в трясине, которую сами при этом создают. Таковы, если угодно, шоры, которые каждый из них носит на глазах с того момента, как начинает говорить и думать.

— А какие баги есть в языке? — спросил кто-то из французов.

— Их очень много. Столько, что проще считать весь язык одним большим багом, кроме которого они вообще ничего не видят. Ученые, даже самые умные, ставят проблемы и формулируют свои открытия в кодировке, которая специально устроена так, чтобы сделать понимание истины невозможным. Люди могут только проецировать заложенные в языке искажения.

— Куда?

Улл широко повел руками вокруг себя.

— В микро- и макрокосмос. В результате фундаментальная ошибка их мышления становится то больше, то меньше — в зависимости от выбранного масштаба. Но она никогда не исчезает совсем. Она всегда накладывается на то, что они видят. Куда бы ни устремился их ум, они всюду найдут одну и ту же непроходимую пропасть, которую их мышление не в силах пересечь — по той причине, что само ее создает.

— А вампиры могут ее пересечь? — спросила Софи.

Улл поднял палец.

— Вампиры не пытаются пересечь эту пропасть. Они в ней живут. Там наш дом, и мы сами построили его в таком месте, чтобы нас никто не тревожил. Рама, для тебя все это не слишком сложно? Ты понял, о чем я сейчас говорил?

В голосе Улла прозвучала такая неподдельная забота, что мне стало неловко. Вопрос как бы подразумевал, что если понял я, то остальные поймут и подавно. Самым обидным было то, что он, кажется, даже не хотел меня обидеть. Я покраснел и кивнул.

— Та же пропасть, — продолжал Улл, — возникла перед людьми в их самопознании — когда они попытались понять, каким образом в результате работы их мозга возникает знакомый им мир. Тупик, в котором они оказались, получил название «hard problem». Это стандартный баг их мышления, кажущийся им неразрешимой загадкой. Вы знаете, что это?

Аудитория ответила молчанием.

— Изложу очень коротко, — сказал Улл. — Людям известно, что замыкание нейронных цепочек в коре мозга определенным образом связано с мыслями. Им известна даже локализация переживаний — какие ощущения соответствуют активности разных зон мозга. Например, возбуждение нейронов в определенной области совпадает с переживанием красного цвета. Пока все просто. «Hard problem» появляется, когда они пытаются объяснить, как электрическая активность, которую фиксируют приборы, становится субъективным чувством. Тем, что люди называют qualia — переживанием чего-то изнутри. Вот как мы знаем, что эта доска

черная, а щеки у Рамы красные...

Я подумал, что если он еще раз попытается потрепать меня по затылку, я... Ну, не нахамлю, конечно. Но дам понять, что мы уже не в школе.

— Объяснить это не представляется возможным, — продолжал Улл. — Дело в том, что есть непреодолимая качественная пропасть между воспринимаемой нами краснотой... Ну хорошо, Рама, хорошо — не такой, как у твоих щечек, а такой, как у арбуза, мака или помидора, — и электромагнитными колебаниями в мозгу, которые фиксирует томограф. Как, где и почему электрический разряд становится красным цветом, который мы видим? Этого не знает никто из людей. Иногда даже спорят, можно ли утверждать, что красное для одного человека — то же самое, что красное для другого. С уверенностью можно говорить лишь о том, что в схожих ситуациях люди используют одно и то же слово.

Я подумал, что и правда не знаю, действительно ли красный для меня — это то же самое, что для Софи. Вдруг она видит его как я синий?

— Вампирам, однако, понятна порочность человеческого подхода, — продолжал Улл. — Она связана с ошибкой, которая настолько фундаментальна, что объяснить ее людям не представляется возможным вообще. Люди считают, что место, где происходят переживания красного, зеленого и синего — это их мозг. Но мозг — это просто телеграфно-шифровальный прибор. Он посылает кодированные запросы «красный, зеленый, синий» в исходную... Ну, скажем, точку, которая является источником всего восприятия вообще. Мы называем эту точку Великим Вампиром.

— А где она находится? — спросил Тар.

— Она вообще не локализована нигде. Она существует в себе самой и не опирается ни на что другое. У нее нет никакой причины. Наоборот, она — исходная причина всего остального. Мозг вовсе не создает восприятие и бытие. Мозг просто составляет shopping list — отбирает те элементы бесконечно возможного, которые должны быть пережиты в человеческой жизни. Это всего лишь грубый электромеханический фильтр, позволяющий человеку видеть сквозь узкие дырки слов. И только сквозь эти дырки. По сути, человеку разрешено воспринимать только заложенную в него программу — человеческий язык. Именно поэтому он и является человеком.

— Так как же все-таки электричество в мозгу становится красным цветом? — спросила Софи.

Улл повернулся к ней и указал пальцем на витраж.

— Представь человека, который родился и вырос... Ну, скажем, в

готическом соборе. И никуда из него в жизни не выходил. В Бога он, понятно, не верит — как и все, кто долго наблюдает его слуг. И вот он сидит в соборе, смотрит на сверкающий витраж и думает — «ну понятно, наука доказала, что это религиозное величие создается особыми трюками со светом. Непонятно только, каким образом стекло, которое выплавляют из простого песка, светится. Причем в одном месте синим, а в другом — красным. Что, интересно, за процессы происходят в витраже?» Что бы ты ему сказал, Рама? Почему витраж в соборе светится красным и синим?

Непонятно было, почему он говорит про какой-то абстрактный готический собор, когда светящиеся витражи окружают нас со всех сторон.

— Почему? — повторил Улл.

— Из-за дневного света, — сказал я.

— Правильно. Человек никогда не выходил на улицу и не знает, что стекла делает синими и красными не какой-то происходящий в них процесс, а солнце. И сколько бы ни было в стенах витражей, источник света за ними один. Человек, друзья мои, и есть такой витраж. Вернее, это лучи света, которые проходят сквозь него, окрашиваясь в разные цвета. Лучи способны воспринимать только себя. Они не замечают стекол. Они видят лишь цвет, который они приобрели. Понимаете? Человек — это просто сложная цветовая гамма, в которую окрасился пучок света, проходя через замысловатую комбинацию цветных стекол. Витраж не производит лучей сам. Он по своей природе мертв и темен даже тогда, когда пропускает сквозь себя самую завораживающую игру. Просто свет на время верит, что стал витражом. А человеческая наука со своими томографами пытается объяснить этому свету, как он зарождается в витраже, через который проходит. Великий Вампир в помощь!

И Улл отвесил клоунский поклон.

Все, что говорил Улл, было понятно — вот только из-за двух фальшивых подземных солнц, светящих в класс с разных сторон, от его слов оставался сомнительный осадок.

— Так что такое человек? — спросила Софи. — Витраж или свет?

Улл ткнул в нее пальцем.

— Вот! — воскликнул он. — Это и есть баг, который вмонтирован в твое человеческое мышление. Люди всегда будут мучиться подобными вопросами. Девочка, не ходи гулять в это гнилое болото! Вампир не пытается выразить истину в словах. Он лишь намекает на нее — но останавливается за миг до того, как баги ума «Б» превратят все рассуждение в фарс.

— Люди приходят из сознающего солнца и уходят туда? — спросил

Эз.

Улл повернулся к нему.

— Опять! — сказал он. — Нет. Человек не приходит и не уходит. Он и есть это солнце. Это солнце прямо здесь. Кроме него, нет ничего другого вообще. Понятно?

Эз отрицательно помотал головой.

— Человек — это комбинация переживаний, — сказал Улл. — Сложная цветовая гамма, выделенная из яркого белого света, где уже содержатся все возможные цвета. В ярком белом свете уже есть все, что может дать любой калейдоскоп. Калейдоскоп убирает часть спектра — но не создает света сам. Мозг — не генератор сознания и не волшебный фонарь. Совсем наоборот! Это калейдоскоп-затемнитель. Мы не порождаем сознание в своем мозгу, мы просто отфильтровываем и заслоняем от себя большую часть тотальности Великого Вампира. Это и делает нас людьми. Поэтому мистики начиная с Платона называют нас тенями. Мы не производим свет. Мы отбрасываем тени, что намного проще. Никто никогда не объяснит, как электрические процессы в мозгу становятся переживанием красного цвета. Потому. Что. Они. Им. Не. Становятся. Понятно? Можно только объяснить, как красное стекло окрашивает — вернее, редуцирует — исходную бесконечность до скрытого в себе кода.

— Как?

— На красном стекле написано химическим языком: «О Великий Вампир, сделай себя красным. Аминь». Понятно? Мы не ученые. Мы вампиры. Мы не планируем получить Нобелевскую премию по химии, мы всего лишь хотим увидеть истину краем глаза. А истина такова, что из нашего отравленного словами мозга ее нельзя увидеть вообще. Поэтому мы пользуемся метафорами и сравнениями, а не научной абракадаброй...

Он вдруг поднял палец, словно вспомнив важное.

— Кстати, да — насчет науки. Сейчас есть такие прозрачные светодиодные панели, которые меняют прозрачность и цвет по команде компьютера. Вот это будет даже более точным сравнением, чем обычный витраж.

— А почему человек не может пережить все солнце сразу?

— Во-первых, может. Для этого достаточно разбить витраж. Во-вторых, это не человек переживает солнце. Это солнце в каждом человеке переживает само себя — ту свою часть, которую оставляет видимой наш мозг. Себя переживает всякая отдельная мысль — каждый луч, уже не помнящий, что он часть солнца...

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Ну как еще объяснить... Рама, ты ведь клей по молодости нюхал?

Все-таки он, похоже, не врал про личные дела. Я пожал плечами. Мне не хотелось углубляться в эту тему при Софи.

— Там тоже все эффекты возникают оттого, что отключается большая часть восприятия. Впрочем, другие не поймут...

— Так все-таки, — сказала Софи, — как правильно решается «hard problem»?

Улл вздохнул.

— Она не решается никак. Такой проблемы нет нигде, кроме отравленного языком мышления. Каким образом удары пальцев машинистки становятся стихотворением, которое поражает нас в самое сердце? Они им не становятся! Мы принесли это сердце с собой, и все, из чего состоит стихотворение, уже было в нас, а не в пальцах машинистки. Машинистка просто указала на то место, где оно хранилось. И сколько ни изучай ее компьютер, принтер или соединяющие их провода, мы не найдем, где в этом возникло поразившее нас чудо. Ибо для его появления надо, чтобы сначала в гости к этой машинистке пришел сам Великий Вампир...

Улл оглядел класс — и мне отчего-то показалось, что он обращается не только к нам, но и к сидящим за партами восковым фигурам.

— Ну как, поняли что-нибудь? Вот ты, Эз. Все понял?

— В принципе да, — сказал Эз. — Я не понял только одного. Какое отношение это имеет к загробному миру?

— Умница, — улыбнулся Улл. — Именно об этом мы подробно поговорим завтра. А на сегодня все.

Он подобрал свой мешок от углей — и сразу как-то опять съежился и выпал из пространства моего внимания. Я даже не заметил, как и когда он вышел из комнаты.

За время лекции я так устал, что смысл последних слов Улла не дошел до меня совершенно. Я встал из-за парты.

— Ты куда? — спросила Софи.

— Пойду отдохну, — сказал я. — Голова как чугунная.

— Take it easy, — ответила она.

Я хотел пошутить, что с чугунной головой трудно это проделать, но подумал, что от усталости запутаюсь в словах. Мне хотелось побыстрее добраться до своего гроба. Похоже, подобное происходило не со мной одним — французы тоже выглядели прибитыми.

По дороге домой я думал, что ведущий к моей келье узкий изгибающийся коридор — это одна из сюрреалистических ветвей, которые

я видел на картине, изображающей замок Дракулы. Так ветвь выглядит изнутри... А снаружи... Разве она выглядит как-нибудь снаружи? Это откуда надо смотреть? Наверно, оттуда, куда я иду спать...

Добравшись до своей комнаты, я повалился в гроб и заснул.

Меня разбудил стук в дверь.

Я поглядел на часы. Был уже поздний вечер — я, похоже, пропустил и обед, и ужин. И все остальные занятия — если они были.

Я вылез из гроба и открыл дверь. На пороге стояла Софи.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Нормально, — ответил я. — Только хочется спать.

— Много новой информации, — сказала Софи. — Когда вампиру приходится много думать, язык чувствует себя некомфортно. Можно войти?

Я посторонился. Когда она проходила мимо, я обратил внимание, что от нее чуть-чуть пахнет духами, чего я не заметил, когда мы лежали в гробу.

Мало того, она накрасилась. Это было практически незаметно — косметики на ее лице присутствовал минимум. Но все-таки она была.

Я почувствовал волнение, и у меня мелькнула преждевременная мысль, что в моей комнате совсем нет мягкого закутка, где можно было бы устроиться вдвоем. Лежать можно было только в моем припаркованном в алькове транспортном контейнере — но там хватало места лишь для одного. Студенческие кельи в замке Дракулы явно не предназначались для свиданий.

— Рама, помнишь, когда мы лежали у меня в гробу, ты сказал — «мы теперь близкие существа». Ты действительно хочешь стать близким мне существом?

Инстинкт меня не обманул.

— Конечно, — ответил я. — И мне жутко нравится, что ты ко мне пришла и говоришь об этом сама.

Софи улыбнулась.

— У оксидентальных вампиров несколько другие обычаи на этот счет, — сказала она.

Ее взгляд ненадолго задержался на алькове.

— А где здесь шкаф? — спросила она.

— Шкаф? — переспросил я.

Я уже привык к тому, что ее мысль чуть опережает мою. Но это был слишком дальний перелет. В комнате, насколько я мог судить, никакого шкафа не имелось вообще. Что мало меня расстраивало — складывать туда

мне было нечего.

Поняв, что не дождется ответа, Софи огляделась и подошла к медному украшению на стене — смешной когтистой лапке, которую я принял за антикварную вешалку для шляпы (когда я попытался повесить на нее пиджак, тот упал на пол, и больше я не повторял попыток).

— Вот он, — сказала она и нажала на лапку.

Часть стены отъехала вбок, превратившись в раздвижную дверцу. Я увидел обитое малиновым бархатом нутро глубокого шкафа с мощной перекладиной на уровне своего лица. Это был натуральный хамлет — немного узкий, но вполне комфортабельный.

— А я и не знал, — сказал я.

— Здесь неудобно. Слишком узко.

Мне нравился, конечно, ее холодный инженерный подход к делу, но у меня стали появляться сомнения, заслуживает ли мое скромное любовное мастерство такой тщательной подготовки. Как бы не было разочарований... Впрочем, пути назад уже не оставалось.

— Можно пойти ко мне, — сказала она. — У меня хватит места для двоих.

Я вспомнил головокружительные (или ставшие такими в кривом зеркале памяти) минуты, проведенные в ее гробу — когда наши тела разделяло лишь несколько слоев тонкой ткани.

— В принципе можно, — ответил я.

— В принципе можно или ты этого хочешь? — спросила она, внимательно на меня глядя.

— Хочу, — сказал я и взял ее за руку. — Очень хочу.

Коридор в ее комнату был бесконечным — кажется, она жила в конце самой длинной из веток, отходящих от замка. Комната оказалась в два раза больше моей, с креслами и камином, в котором весело играл огонь. Ее гроб, стоящий в алькове, был призывно открыт.

Она взяла меня за руку и сильно сжала мою ладонь. Я ожидал, что мы пойдем к алькову — но она потащила меня совсем в другую сторону. Прежде, чем я успел что-либо понять, она нажала на такую же точно медную лапку, как и в моей комнате. Часть стены отъехала вбок, и я увидел глубокое нежно-розовое нутро обитого бархатом шкафа. Ее хамлет был почти в два раза шире моего. Тут хватало места не то что для двоих — для троих.

— Ты первый, — сказала она.

— Я... Я?

— Да. Ты.

Только тут я понял, чего она хочет. И что именно она вкладывает в слова «стать ближе». Ну что ж, этого можно было ожидать. Мы ведь, в конце концов, вампиры.

Стараясь никак не проявить своего разочарования, я взялся за прибитые к стене бархатные петли. Перекинув ноги через перекладину, я повис вниз головой.

Прямо напротив моей головы билось оранжевое пламя камина. Теперь было отчетливо видно, что оно сделано из похожих на рваные пионерские галстуки тряпок, пляшущих в струе теплого воздуха.

Интересно. Когда я входил в комнату, я в первый момент решил, что огонь настоящий. Я даже ощутил, как мне показалось, запах горящих дров... Хотя откуда, спрашивается, ему было взяться под землей? Достаточно было спокойно подумать три секунды, чтобы все понять.

Вот только где их взять, эти три спокойных секунды? У кого в жизни они есть? Мы не только живем, но и умираем на бегу — и слишком возбуждены собственными фантазиями, чтобы остановиться хоть на миг.

Эх...

Софи уже висела рядом. Ловко прогнувшись, она закрыла дверь шкафа, и мы оказались в темноте. Потом она взяла мою руку, сжала ее и затихла.

Ну что ж, хамлет так хамлет. Какой вампир не любит застывшей неподвижности?

Мне, однако, было сложно расслабиться и впасть в знакомое оцепенение. Дело было в ее руке, сжавшей мою. В тепле ее тела. И — особенно — в запахе ее духов, куда, если судить по физиологической реакции моего организма (незаметной, слава Великому Вампиру, в темноте), входили все известные науке феромоны.

Я вспомнил сегодняшний семинар — и короткий диалог Софи с Уллом:

«Как же решается hard problem?» — «Она не решается никак...»

Улл, конечно, был прав. Вот только он ошибался насчет того, что никакой hard problem на самом деле нет — я уже несколько минут испытывал ее в прямом смысле. Хотя, думал я, женщину такая точка зрения, несомненно, вполне устраивает — ведь если нет проблемы, нет и ответственности.

Я чувствовал, как в моей груди разгорается досада.

Они постоянно пытаются привести нас в исступление своими трюками. Форма, запах, осязание, вкус, звук, и мысль — особенно мысль, спровоцированная с великим и подлым тысячелетним умением... Есть

шесть чувств — и через каждое из них на незащищенный мужской организм идет коварная, хитрая ежесекундная атака. А когда мужчина попадает в эту засаду и робко тянется за тем, что было обещано ему по всем шести каналам информации, раздаются крики «Нет! Ни за что!» на фоне приближающейся полицейской сирены.

И уже не взмахнешь дубиной, как сорок тысяч лет назад в пещере, когда люди были еще свободны... Какое там... Теперь все наоборот. Дошло до того, что англо-саксонская женщина во время секса непрерывно издает стандартные поощрительные звуки — «oh yes baby, I like it yeah» — чтобы самец в любой момент был уверен, что она пока что не собирается подавать в суд. И еще не уснула — ибо секс во сне автоматически превратит его в насильника. Этот парадигматический сдвиг уже вовсю сочтется из западных порнофильмов, которые стало тошно смотреть.

И бороться с этим никто не будет, думал я. Все давно смирились. Триумфальное шествие гомосексуализма по странам золотого миллиарда вовсе не случайно совпало с разгулом женского полового террора на той же территории. Недалекие святоши кричат о моральной деградации человечества — а на деле мужчина-беспелотник, забитый и запуганный, плетется в последний оставленный ему судьбой угол... Хорошо еще, что Великий Вампир оставил запасной путь, по которому наш бронепоезд может объехать эту бездонную черную яму...

Софи чуть сжала мою ладонь.

— Тебе хорошо? — спросила она.

— Ага, — сказал я.

— А чего у тебя голос такой мрачный?

— Так я же вампир.

Она ничего не ответила. Но что-то подсказывало мне: она знает, что со мной происходит — и не испытывает никакого сострадания. Никакого вообще.

Ничего личного. Природа. Классовый гендерный интерес.

Женщина всегда будет хихикать и плести свои мелкие рыбки интриги на фоне этой непонятной ей боли — зная только, что эта боль есть и с ее помощью можно сделать выгодный, очень выгодный гешефт. И поэтому она никогда не сможет стать настоящей подругой и сестрой. А всегда будет именно женщиной — вот тем самым, что висит сейчас в темноте рядом со мною. Не меньше и не больше...

Ну что ж, думал я, чувствуя, как кровь постепенно отливает от чресел и устремляется к голове, ну что ж. Не мы начали эту битву. Но нам есть чем ответить.

— Я одну цитату из Дракулы вспомнила, — сказала Софи. — «Смеется не тот, кто смеется последним. Смеется тот, кто не смеется никогда...» Как ты считаешь, что он хотел сказать?



Лимбо

На следующее утро Улл написал на доске:

Seminar 2

What diVing is and what it is not.

Limbo, Animograms and Necronavigators^[7].

— Вчера, — начал он, повернувшись к классу, — меня спросили, какое отношение имеет наша вводная беседа к загробному миру. А у меня к вам встречный вопрос: что значит — загробный мир? Что это вообще такое — тот свет? Пусть кто-нибудь скажет. Вот ты...

Он указал на Эза. Тот пожал плечами:

— Измерение, где живут мертвые.

Улл наморщился, словно в рот ему попало что-то кислое.

— Тебе самому нравится, как это звучит? *«Живут мертвые»*. Зачем они умирали тогда, если до сих пор живут? И почему они в этом случае мертвые?

Он повернулся к Тету. Тот ненадолго задумался.

— Ну... Наверно, жизнь в какой-то форме продолжается после смерти?

— Твой телефон мелодии играет? — спросил Улл.

— Да.

— А если его разобрать и выкинуть батарейку, он играть будет?

— Не думаю.

— А может, он просто другую мелодию начнет играть? Тихо-тихо?

— Вряд ли.

— А мертвый человек, значит, продолжает жить? Включите-ка мозги. «Человек» — это вообще философское понятие. Живым или мертвым бывает только тело.

— Вы к чему клоните? — спросил Тар. — Что никакого загробного мира нет?

— Именно! — кивнул Улл.

— То есть мы приехали учиться нырять, а нырять некуда?

— Совершенно верно.

— Но ведь куда-то ныряльщики все-таки ныряют, — сказала Софи. — Куда же тогда?

— Чтобы понять, куда мы ныряем, — ответил Улл, — надо сперва разобраться, — откуда. Я сказал, что никакого загробного мира нет, и могу это повторить. Но нет и догробного мира. Есть поток переживаний, из которого складывается наш опыт. Пока вы живы, вы ежесекундно получаете новые впечатления с помощью органов своего тела. Полная сумма всех впечатлений — это и есть ваша реальность. Мертвый человек именно потому мертв, что никакого опыта больше не приобретает. Его реальность ничем не отличается от сна без сновидений. Кто-нибудь помнит свой последний сон без сновидений?

Улл обвел глазами класс. Мне показалось, что манекены с задних рядов готовы к этому разговору лучше нас — но, в силу косности своих материальных оболочек, не способны в него вступить. Класс ответил молчанием.

— Мы видим их каждую ночь, — продолжал Улл. — Но такого опыта нет ни у кого — потому что на время сна без сновидений полностью исчезает тот, кто мог бы его получить. То же касается и состояний после смерти. Нет никого, кто мог бы их испытывать. Самые утонченные из мистиков говорят, что именно в этом заключается наша изначальная природа, но вампиры равнодушны к пустой игре слов. Мы смотрим на все практически...

Улл несколько раз прошелся перед партами, обхватив подбородок ладонью. Мне пришло в голову, что он похож на пожилого и уже не очень хорошо соображающего Гамлета, забывшего, куда он положил свой череп.

— Никакой жизни после смерти нет! Загробного мира тоже нет! Человеческое существо состоит из двух элементов — света и витража. Смерть их разъединяет. «Жизнь после смерти» — это оксюморон. Но если яркий белый свет, о котором мы говорили, содержит в себе все вообще, в нем должны присутствовать не только портреты всех живых, но и портреты всех мертвых. Надо лишь суметь поглядеть на него сквозь стекла нужной окраски. Имея доступ к красной жидкости мертвых, то есть, простите, к их ДНА, можно получить доступ к библиотеке темных витражей, которые были когда-то живыми существами. На этом принципе основан особый уникальный доступ вампиров к загробному миру...

— Вы же сами говорили, что загробного мира нет, — сказал я.

— Правильно, — согласился Улл. — Есть только то, что свет бытия

освещает в данную минуту. А загробного мира нет, потому что он темен. Пока на него не упадет луч сознания, его не существует. Поэтому его и называют небытием... Ведь не скажешь, что небытие есть. А с другой стороны, в него можно уйти.

— Как можно уйти в небытие? — спросил Тет. — Мне непонятно.

— Не переживай, — ответил Улл. — Тот ум, который этого не понимает, туда не попадет. Двунogie существа, лишенные перьев, обычно просто мрут. Уйти в небытие очень непросто...

Эти слова прозвучали почти мечтательно. Улл скрестил руки на груди и уставился на один из витражей.

— Секрет воскрешения мертвых прост, — сказал он. — Он в том, чтобы соединить мертвый витраж со светом сознания. Лимбо — это темный фоточулан, где хранится немыслимое число негативов... Только поймите, пожалуйста, сразу — никакого реального чулана, где хранятся темные витражи, нет. Витражи, негативы — просто сравнение. На самом деле это сложнейшие информационные коды, указывающие свету, каким стать и как меняться. Мы называем их анимограммами. Это и есть души в загробии. Мертвые души. То есть подробнейшие отпечатки бывших живых душ. Чертежи, по которым их можно на время воссоздать. Они хранятся в памяти Великого Вампира. Лимбо, таким образом — это и есть память Великого Вампира. Или, как иногда говорят, Вечная Память. Именно туда мы и ныряем. Хранящиеся там анимограммы могут возвращаться к жизни по воле внешнего наблюдателя.

— А когда они оживают для внешнего наблюдателя, — спросил я, — они действительно оживают?

— Вот, — сказал Улл. — Опять. Скажи я «да» или «нет», и мы опять попадем в ловушку слов. Не надо создавать hard problem на ровном месте. Жизнь — это киносеанс. А лимбо — киноархив. Вампиры-ныряльщики оживляют мертвых, пропуская сквозь них отраженный луч своего собственного сознания. Этот подпольный киносеанс субъективно переживается как путешествие в загробный мир. Все, что мы там видим, настолько же реально, насколько реальны мы сами — потому что сделано из нас. Но отдельно от луча вашего внимания никакого «мира мертвых» нет, как нет и фильма до соприкосновения пленки с проекционным фонарем. Мертвые оживают только тогда, когда попадают в зону вашего интереса. Но на это время они становятся так же реальны, как вы сами. Они как бы проживают дополнительный отрезок своей жизни через вас.

— Они себя помнят?

— А отпечаток ноги в песке помнит себя? Себя — это что? Все в этом

мире помнит лишь свою форму. Мы существуем в виде памяти о своих прежних состояниях. Единственное отличие мертвых от живых в том, что в мертвых нет луча, способного эту форму осветить. Если вы хотите их увидеть, вам придется стать для них солнцем лично. Вернее, заставить освещающее вас солнце осветить также и их.

— А почему их больше не освещает настоящее солнце?

Улл пожал плечами.

— Потому что они перестали быть ему интересны. То есть, другими словами, умерли.

— Скажите, — спросил Эз, — а такая фотография может родиться заново?

— Может, — сказал Улл. — Запросто. И вы будете принимать участие в этом бизнесе. Но это не значит, что новую жизнь проживает тот самый человек, который жил прежде. Если старая анимограмма повторно попадает во взгляд Великого Вампира, она начинает меняться. Как бы загорается снова. Новая жизнь — это новая серия фильма. Бывают многосерийные фильмы. А бывают односерийные. Бывает все.

Видимо, вдохновленный этим замечанием, Эз спросил:

— А правда, что в лимбо живут черти?

Улл ухмыльнулся.

— Скажем так, мы в лимбо не единственные ныряльщики. Есть особые теневые существа и даже подобию растений и насекомых, обитающие только в этом пространстве — своего рода флора и фауна. Они разрушают нестойкие анимограммы своим внутренним светом, что похоже на поедание трупов подземными червями. Существа из других слоев сознания тоже заглядывают в наше измерение через темный лаз лимбо. Все это в конечном счете связано с действием света. В лимбо чаще всего проникает не ясный свет сознания, а его зыбкие отражения. Вы подробно изучите это со временем.

— А покойники могут напасть на вампира?

— Могут, — сказал Улл. — Но я бы на их месте не стал.

— А вампир может общаться с несколькими покойниками одновременно?

— Может.

— А эти покойники увидят друг друга?

Улл улыбнулся.

— Покойники на самом деле не видят даже вас. Но это может выглядеть так, словно они видят. И вас, и друг друга. У каждой анимограммы свое независимое пространство.

— Если у каждой анимограммы свое пространство, — сказал я, — то как все эти пространства связаны друг с другом? И почему мы тогда говорим, что эти анимограммы находятся в одном лимбо?

Улл задумался.

— Хороший вопрос, — сказал он. — Нельзя сказать, что все эти анимограммы находятся в одном месте. Потому что такого места нигде нет. Туда нельзя добраться ни на ракете, ни на подводной лодке. Все это просто разные состояния нашего собственного сознания — по сути, мы сами в другой фазе. Но во время опыта нам действительно кажется, что мы перенеслись в другое место. Поэтому в определенном смысле так оно и есть.

— А пространство анимограммы большое? — спросил Тет.

— Со всю вселенную.

— Как долго можно общаться с покойником?

— Долго. Но не бесконечно. Это просто долиствывание анимограммы, к которой потерял интерес Великий Вампир. Как бы донашивание старой вещи. Она может разорваться в любую минуту. Поэтому в лимбо нельзя терять времени.

— А мы оставляем на анимограммах следы?

— Бывает. Но вампир-ныряльщик должен стремиться к тому, чтобы все его действия были по возможности бесследными. Это, если угодно, мера нашей профессиональной подготовки.

— А если мы показываемся нескольким разным покойникам одновременно, — начал я, — и они начинают видеть друг друга, где тогда все это происходит? В чьем из их индивидуальных пространств?

Улл засмеялся.

— Рама, — сказал он, — ты сейчас похож на первоклассника, который спрашивает учителя про интегральное исчисление. Не лезь в эти вещи раньше времени.

— Мне тоже интересно, — сказала Софи. — Как это будет выглядеть для вампира, если мертвецов много? В какой именно анимограмме все будет происходить?

— Вы можете представить, как выглядит такое пространство, если видели поздние картины Сальвадора Дали. Он был вампиром-ныряльщиком. И занимался этим спортом для вдохновения, собирая для своих погружений сложные коктейли. Но эти полотна изображают парадную сторону теневой реальности, так сказать. А мы с вами — рабочие лошадки и не стремимся к подобным восприятиям. Мы, наоборот, стараемся увидеть в лимбо как можно меньше — ровно столько, сколько

нужно, чтобы выполнить свою работу...

— Послушайте, — сказал Эз, — мы все время говорим, как выглядит загробный мир для живых. А как он выглядит для мертвых?

Улл удивленно уставился на него.

— Я уже объяснил. Никак.

— Нет, — сказал Эз, — я имею в виду, как выглядит смерть для того, кто умирает?

— Смотря для кого. Для большинства она больше всего похожа на гриппозный сон. Из которого не просыпаешься, а наоборот.

— А как же яркий свет, туннель?

— Туннельные эффекты связаны с распространением кислородного голода в головном мозге. Они длятся недолго и получили такую известность лишь потому, что являются последней границей, которую можно вспомнить после реанимации. Последующий опыт смерти вспоминать уже некому. Все остальное знаем только мы, вампиры-ныряльщики. Так... А кто теперь задаст мне правильный вопрос?

Улл посмотрел на меня, и я уже понял, какого вопроса он ждет. Но тут снова заговорил Эз:

— Кто такой вампир-богоискатель?

Улл наморщился.

— Где ты про них слышал?

Эз пожал плечами.

— Вопрос неправильный, — сказал Улл. — Но я отвечу. Это одна из наших архаичных сект — к счастью, практически вымершая. Вампиры-богоискатели были мистиками, которые отправлялись в лимбо, чтобы найти Великого Вампира и попытаться его убить. Древние верили, что такое возможно. Причем среди них были и такие, которым это удавалось. Даже по несколько раз. Поэтому, собственно, секта и пришла в упадок — до сектантов постепенно стало доходить, что происходит какая-то ерунда... Была другая разновидность вампиров-богоискателей, менее древняя — те, кто верил, что увидевший Великого Вампира обретает бессмертие. Такие, говорят, до сих пор где-то есть. Но как у них дела, я не в курсе... Рама?

— Как вампир ныряет в лимбо?

— А вот это правильный вопрос. Вампир — во всяком случае, современный вампир — ныряет в лимбо с помощью особого устройства, которое мы называем «некронавигатор».

Он наклонился над своим бумажным мешком, пошарил в нем и показал классу несколько изогнутых серебристых пластинок треугольной формы.

— Вот эта штучка, — сказал он, — и есть то транспортное средство, на котором вы, друзья, будете перемещаться по лимбо. На самом деле, конечно, дело не в устройствах. Мы просто используем свои способности несколько необычным образом. Кроме некронавигатора, вам необходим образец красной жидкости усопшего. Благодаря этому вампир может воспринимать пространство смерти. Хотя, как я уже объяснил, нигде, кроме его собственного сознания, такого пространства нет.

Он пустил пластинки по рукам. Одна из них сразу попала ко мне.

С первого взгляда казалось, что это какой-то зубной протез, или мост вроде тех, с помощью которых исправляют неправильный прикус. Эта штука, кажется, надевалась на верхний ряд зубов — и упиралась округлым выступом в нёбо. На ней было что-то вроде нежнейших плоских присосок.

— Она фиксируется на клыках? — спросил я.

Улл повернул ко мне мгновенно покрасневшее лицо.

— Выйди из класса вон! — заорал он.

Я даже не успел испугаться.

— А почему?

— Он из России, — вступилась за меня Софи. — Они до сих пор так говорят! Он никого не хотел обидеть, это просто другая культура.

Но Улл уже пришел в себя. Он перевел дыхание, и краска сошла с его лица. Похоже, ему самому теперь было неловко за свою реакцию.

— Запомни, Рама, — сказал он. — Цивилизованные вампиры Запада никогда не называют эти зубы так, как только что сделал ты. Это считается недопустимым и оскорбительным в приличном обществе. Мы говорим «третий верхний правый» и «третий верхний левый».

— Так они фиксируются на... на...

— На третьем правом и третьем левом, — сказал Улл. — Специальными винтами. Можешь попробовать надеть — он не заряжен.

Мне не хотелось совать эту железку в рот — мешок Улла не вызывал у меня доверия.

Я заметил на пластине скругленные и утопленные в поверхности кнопки и еще что-то вроде трэмпэда — выступающего подвижного шарика. Я несколько раз повернул шарик пальцем — он вращался удивительно легко. Потом я чуть нажал на него, и вдруг в металлической поверхности открылось крохотное окошко, за которым были видны тончайшие щетинки — словно там скрывалась потайная зубная щетка. В общем, это была крайне странная вещь.

Образец, который вертела в руках Софи, отличался от моего — он был толще, и у него имелось два шарика-трэмпэда. Дырочек со спрятанными

щетинками тоже было больше.

— Эй, — спросил я, — а почему у тебя столько дырочек?

— Каких дырочек? Это порты.

— Ты знаешь, что это такое?

— Конечно.

Улл, прислушивавшийся к нашему разговору, улыбнулся. Видимо, ему было неловко за свою недавнюю вспышку.

— Мы, старичье, сами отстаем от времени, — сказал он. — Я тоже могу случайно сказать дурное слово. В мое время все говорили «красная жидкость». А сейчас на это уже обижаются. Некоторые даже требуют, чтобы некронавигатор называли только «вампонавигатором». Но это не просто гримасы политкорректности. Определенный смысл тут есть. За последние двадцать лет у этих штук появилось много новых функций. Например, встроенные словари и энциклопедии, которые позволяют мгновенно обновить знания по любому предмету. Многие поэтому носят вампонавигатор даже днем. Очень впечатляет наших человеческих партнеров при переговорах.

— А говорить он не мешает? — спросил я.

— Мешает, — согласился Улл. — С каждым годом они все толще. Но наши человеческие партнеры готовы к тому, что высшее руководство будет слегка шепелявить. В этом вопросе мы всегда можем рассчитывать на их уважительное понимание, хе-хе... А вот кнопки тыкать не надо, Рама... Прибор корректно работает только во влажной среде. Посмотрели? Теперь аккуратно отдаем назад, пока не поломали. Они хоть списанные, но мне на них еще не один выпуск готовить...

Дождавшись, пока все серебряные пластинки вернутся в мешок, Улл сел на стул возле доски и заговорил:

— Механический некронавигатор в современном виде впервые изготовлен в Германии в сороковые годы. Теми же малосимпатичными людьми, которые монтировали ампулы с цианистым калием в зубы бонз Третьего Рейха. Что, возможно, отбрасывает на это устройство дополнительную мрачную тень, хе-хе...

— Вампиры что, сотрудничали с нацистами? — спросил Тет.

Брови Улла залезли на лоб.

— Сотрудничали? Мы ни с кем не сотрудничаем. Мы разрешаем халдеям служить нам, но не делаем никаких предпочтений для их клик. Некронавигатор изготовлен в Германии вовсе не потому, что вампиров связывали с нацистами какие-то узы. Для нас одни клоуны ничуть не интереснее других. Просто человеческая технология именно тогда и там

сумела предложить нам нечто полезное... Вампиры, однако, ныряют в лимбо с глубокой древности. Это отражено в огромном количестве мифов. И простейшие некронавигаторы существовали задолго до появления человеческих технологий. Этому приспособлению на самом деле не меньше десяти тысяч лет. В старину их называли просто «грузилами».

Он встал, шагнул к доске и нарисовал что-то похожее на греческую букву «гамма» с кружками по краям.

— Вот, — сказал он, — поглядите на одну археологическую находку... Только, пожалуйста, из моих рук... Вещь весьма старая и ценная.

На ладони Улла появилась большая треугольная брошь желтого цвета. Если бы не полученные объяснения, я бы принял ее за пряжку из кургана.

— А как его заряжали красной жидкостью? — спросил Эз. — Тут же нет щетинок.

Улл показал на длинные ложбинки по бокам золотой пластины.

— Вот здесь крепились деревянные щепки с ворсинками. Некоторые консерваторы, кстати, до сих пор пользуются древнейшими устройствами. Особенно богоискатели — им, по поверью, нужна красная жидкость трех святых, а лучше всего — Грааль. Поэтому все халдеи столько лет его и искали... Ну ладно, не отвлекаемся.

Улл спрятал золотую игрушку в мешок.

— Простейший некронавигатор — это просто кусочек металла, который соединяет между собой ваши верхний третий правый и верхний третий левый, одновременно создавая давление на верхнее нёбо в том месте, над которым находится магический червь. Если это давление подобрано верно, вампир впадает в состояние, делающее погружение очень легким... В современных пружинных моделях, кстати, давление поддается точнейшей регулировке, что весьма удобно. Но эти нюансы зависят от конструкции прибора... Однако все вампонавигаторы, простые и сложные, действуют в конечном счете одинаково. Когда вампир надевает грузило на известные зубы и позволяет ему надавить на нёбо, он впадает в состояние, которое мы называем «малое небытие».

— А я еще слышала — «lucid death»^[8], — сказала Софи.

Улл кивнул.

— Говорят и так, но редко. Все эти слова значат на самом деле одно и то же. Погружение — подобие осознанного сна. Содержание сна определяется препаратами в некронавигаторе. Если он заряжен красной жидкостью мертвого человека, вампир класса undead может встретиться с ним в лимбо. Происходит это не только из-за особого физиологического воздействия некронавигатора, но и потому, что малое небытие усиливает

нашу чувствительность к препаратам.

— А что значит «осознанный сон»? — спросил я.

— Это значит, что ты помнишь, почему ты в нем оказался. Но степень осознанности зависит от ныряльщика. Иногда мы вообще теряем над происходящим контроль и забываем, где мы и что происходит. Тогда мы видим яркий хаотический кошмар, иногда довольно страшный. Но опасного здесь мало — в конце концов мы просто приходим в себя в хамлете.

— А почему все это происходит? — спросила Софи.

Улл развел руками.

— Объяснений множество. Традиционалисты цитируют старые стихи. Железный аркан на Рогах Победоносного и все такое... «О ночь, о мгла, о древний дом вампира, сокрытый в вихре дольней суеты...» Много слов, но мало смысла. Еще меньше его в научных интерпретациях. Мол, соединяя полюса психической антенны, мы как бы замыкаем команду Великой Мыши в бесконечном коридоре между двумя зеркалами... Еще одна школа мысли учит, что известные зубы вообще ни при чем, а дело в давлении на нёбо, которое заставляет магического червя искать покоя в особом сне — и сон этот подобен бегству из мира, в которое он увлекает за собой человеческий аспект вампира... Я лично сторонник последней версии.

Подойдя к доске, Улл нарисовал схематичный разрез перевернутой головы с открытым ртом. Затем он взял мелок другого цвета и дорисовал во рту нечто похожее на вставленную между зубами ложку, упершуюся в нёбо.

— На время погружения вампир, разумеется, зависает вниз головой. Чаще всего в своем собственном хамлете. Некронавигатор удерживается на известных верхних зубах даже без специальных креплений — на время сеанса верхние зубы становятся нижними. Требуемое давление на нёбо раньше создавалось исключительно за счет силы тяжести — поэтому старые некронавигаторы были довольно массивными. Современные легче...

Улл достал из своего мешка одну из серебряных пластинок, самую старую и исцарапанную, и поглядел на нее с такой нежностью, с какой ювелир, наверное, смотрит на ограненный им гигантский бриллиант.

— Интересно, — сказал он, — что со времен Третьего Рейха механика некронавигаторного блока практически не менялась — только многократно увеличилось число щетинок с красной жидкостью, что дало нам куда больше загробных возможностей. Вампонавигаторы приводятся в готовность таким же тройным нажатием языка, каким рейхсфюрер СС в свое время ставил пломбу с ядом на боевой взвод. Вампиры консервативны

и любят проверенную германскую механику. Однако постепенно прогресс проникает и сюда. Поэтому дополнительные загробные возможности, которые дает вампонавигатор, расширяются с каждым веком... То есть, простите, годом.

— Какие дополнительные загробные возможности дает вампонавигатор? — спросил Эз.

— Любые. Сегодня практически любые — причем каждому желторотому юнцу с первого дня его карьеры. Тысячу лет назад на подготовку ныряльщика уходило куда больше времени.

— А возможности чего? — уточнил Эз.

— Вы все знаете, что такое конфета смерти, — сказал Улл. — Когда нужно поставить на место распоясавшегося негодяя, достаточно бросить ее в рот. Ваше тело как бы вспоминает навыки боевых искусств, которых у него никогда прежде не было. Ключ к ним содержится в красной жидкости бойца-донора. Вампонавигатор — это несколько сотен конфет смерти, даже несколько тысяч. В нем содержатся очищенные препараты из красной жидкости опытейших ныряльщиков древности, которые десятилетиями учились визуализировать то или иное устрашающее или заволаговивающее проявление в своем контролируемом сне. Это позволяет вампиру действовать сверхъестественным образом. Не в физическом мире, конечно. Такие препараты, если они и существовали раньше, давно запрещены конвенцией. Вы можете совершать чудеса только в лимбо. Но там вы можете практически все...

Мне вдруг захотелось сказать что-то горько-скептическое.

— Зачем совершать чудеса во сне? — спросил я. — Не лучше ль...

— Нет, — перебил Улл. — Не лучше. Эти способности необходимы для того, чтобы вы могли свободно работать с анимограммами и окружающей их реальностью. Без спецнавыков, которые дает вампонавигатор, вам пришлось бы обучаться этому искусству полжизни. Как было раньше.

— А что такое перемотка анимограмм? — спросил Тар.

— Мы перематываем анимограммы, определенным образом вмешиваясь в их структуру. Но об этом мы поговорим завтра. Еще вопросы?

— Как можно управлять вампонавигатором во сне? — спросил Эз.

— У вампира всегда остается небольшой остаточный контроль над мышцами рта и языка. Достаточный для того, чтобы пользоваться прибором.

— А почему вы ничего не сказали про вампотеку? — спросила Софи.

— Потому что я терпеть не могу этот электронный разврат, — ответил Улл. — Шучу, шучу. Я как раз собирался рассказать. Прежние некронавигаторы были чисто механическими, а сегодня в них добавляют блок с... Как его... Наноприводом... Я даже не знаю точно, как эта новая часть работает. Что-то такое тихо жужжит. Все дело в этой вампотее, которой раньше не было. Вместе с ней некронавигатор называют уже вампонавигатором.

— Что это? — спросил я.

— Это своего рода энциклопедия на препаратах красной жидкости. Маленький цилиндр с множеством тончайших щетинок-наношприцев, изготовленных по особой технологии. У вампотее отдельный контур управления. Самая ненадежная часть, так как там миниатюрные детали и электроника. Опытный ныряльщик никогда на нее не полагается. Частота отказов этого узла прямо пропорциональна объему хранящейся в нем информации. Мы пошли на это, потому что вампотее — не критический узел. Она содержит голую справочную информацию, предварительно очищенную вампирами-чистильщиками. Нечто вроде препаратов, по которым вы учились. Своего рода сумму дискурсов и знаний, которая может потребоваться для успешного гипноза анимогамм. Информация в вампотее подобрана таким образом, чтобы опережать стандартное людское понимание ровно на полшага. Чтобы временно воскрешенный, или даже живой человек мог с небольшим умственным усилием понять вампира. И с завистью осознать, насколько вампир выше. Это главное назначение вампотее.

— Не понимаю, — сказал Тет, — какой смысл в цифровую эпоху записывать информацию в препаратах красной жидкости?

Улл посмотрел на него с жалостью.

— Смысл очень простой, — ответил он. — Если ты захочешь воспользоваться информацией, которой забиты человеческие цифровые носители, тебе придется закачивать ее в себя через человеческий интерфейс — два глупых глаза и медленно анализирующий буквы мозг. Скачать книгу или фильм занимает две секунды, хранить ее можно под ногтем, но вот загружать в себя содержащуюся там информацию тебе придется неделю. А препарат красной жидкости — это самый высокоскоростной канал. Ты не просто получаешь доступ к информации. Она мгновенно оказывается в твоей оперативной памяти — и уже готова к использованию. Это огромное преимущество вампира над человеком.

Улл был совершенно прав.

— А управлять вампонавигатором сложно? — спросил я.

— Так просто, что этого мы даже не обсуждаем. Научитесь сразу... Во время малого небытия движениями вашего языка управляет не просто мозг, а мозг в симбиозе с магическим червем. Поэтому здесь достигается такая же точность, с какой сборочный робот передвигает микросхему под лучом лазера. Никакой путаницы не бывает.

— А как мы запоминаем, где какой препарат в вампонавигаторе? — задал я не совсем понятный самому вопросу.

Улл засмеялся и потрепал меня ладонью по голове. Я был так занят мыслями, что забыл, как собирался на это прореагировать — а когда вспомнил, было уже поздно.

— Вопрос Рама выдает полное непонимание предмета. Тем не менее отвечу. При активации устройства первый микроукол в язык сообщает вампиру всю необходимую техническую информацию. В прошлом веке была распространена другая методика — перед уходом в транс вампир несколько секунд глядел на схему вампонавигатора, чтобы дать ей отпечататься в мозгу. Человеческое сознание при этом мало что запоминает, но высший ум вампира фиксирует все с фотографической точностью. В общем, Рама, не беспокойся. Проблем с вампонавигатором не будет, скорей всего, даже у тебя...

Вместо того, чтобы наполнить меня бодрой конструктивной обидой, на которую, видимо, рассчитывал педагог, эти слова погрузили меня в апатию.

— Урок окончен! — объявил Улл. — Завтра последнее занятие. Будем рассматривать практические вопросы. Не опаздывайте...

Я решил дожидаться, пока все уйдут из класса — и закрыл лицо руками. Шум и голоса вскоре стихли. Последним, что я услышал, был долетевший из коридора крик Улла, раздраженно отвечавшего на запоздалый вопрос:

— Нет! Лимбо это не рай и не ад! А мы не церковно-приходская школа!



Свидетели неизбежного

После того как наступила тишина, я на всякий случай досчитал до ста и только потом открыл глаза.

И вздрогнул.

Софи не ушла вместе со всеми. Она сидела рядом и внимательно на меня смотрела, ожидая, когда я вернусь к жизни.

— Напугала, — сказал я.

— Ты всего боишься, — ответила она рассудительно, — потому что вырос в полицейском государстве.

Почему-то эта рассудительность вывела меня из себя. Я решил перейти на английский.

— I always marvel at how an average American combines carrying all that crap inside his or her head with being brainwashed all the way down to her or his ass...^[9]

Конструкция получилась корявой и громоздкой — английский был для меня непривычным способом изъясняться.

— What?

Я пожал плечами. Софи нервно засмеялась.

— Во-первых, не обязательно говорить «his or her», можно сказать просто «her». Ставь всюду женский род, и тебя никто не обвинит в гендерном шовинизме. А во-вторых, ты чего?

— Так. Не люблю, когда родину ругают.

— Ты смешной, — сказала она. — Вы, русские, вообще смешные. Потому что все принимаете на свой счет. А на свой счет надо принимать только деньги, остальное — спам. Ты вампир. Для вампира полицейское государство — еще не самое страшное в мире.

— Я знаю, — сказал я хмуро. — Самое страшное в мире — это я.

— У тебя мания величия, Рама. Но если ты хочешь увидеть что-то действительно страшное, сегодня такая возможность есть.

— Ты имеешь в виду свою душу? — спросил я. — Которую ты мне еще раз покажешь в хамлете?

Она снова засмеялась, но я почувствовал, что мне удалось ее задеть.

— Какой ты милый, baby, — ответила она. — А я решила, что вчера мы действительно стали ближе...

Мне вдруг сделалось стыдно. Я подумал, что веду себя как баба. А она при этом — вполне как мужчина. Следовало быть насмешливым и легким.

И еще — пикапно-суггестивным.

— Конечно стали, baby, — сказал я. — Я просто валяю дурака. Извини, baby... Кстати, насчет полицейского государства. Тебе не приходило в голову, что педофилия среди англо-саксов — не отклонение, а плохо скрываемая ориентация молчаливого большинства?

— Нет, — ответила Софи, — почему?

— А откуда иначе могло возникнуть такое обращение к половому партнеру — «дитя»? Что это за «baby», как не фрейдистская оговорка, повторяющаяся настолько часто, что она стала устойчивым выражением, гремящим в миллионах спален? Или даже не оговорка, а просто привычка, остающаяся от норвежского секса...

— А это что такое?

— Это когда с детьми доречевого возраста. Которые пожаловаться не могут. Отсюда и эта самоедская истерика. Этот яростный denial в трансатлантических масштабах...

Она неожиданно чмокнула меня в щеку — и засмеялась, когда я вздрогнул. Но я был уверен, что она меня не укусила.

— Вот именно, baby, — сказала она. — Насчет спален и половых партнеров я и хочу с тобой поговорить.

Я покраснел.

С целеустремленным собеседником, четко знающим, чего он хочет, очень трудно беседовать. Не помогает ни дурное настроение, ни язвительность. Ни даже поставленная руководством задача отстоять национальный дискурс.

— Ты хочешь помочь близкому существу? — спросила она.

— Зависит от того, насколько близко будет это существо, — сказал я. — И как долго.

Софи загадочно улыбнулась.

— Тебе понравится, baby. Обещаю.

— Что я должен сделать?

— Навестить вместе со мной спальню Дракулы.

— Зачем? — спросил я.

— Когда-то в этом замке хранился архив Дракулы. И его личные вещи. Считается, что архив погиб, когда схлопнулась Круглая Комната. Все пробирки якобы разбились, и препараты ушли в землю. Я уже говорила тебе, что это вранье. Архив Дракулы был уничтожен сознательно.

— А что именно хотели скрыть?

— Следы и свидетельства тех мыслей, к которым он пришел в конце своей жизни. Все его записи, дневники и даже личные вещи были спрятаны

или сожжены. Кроме одного-единственного объекта.

— Какого? — спросил я.

— Картины. Которую нарисовал сам Дракула.

— Ты хочешь на нее посмотреть? — спросил я.

Софи кивнула.

— А зачем тебе нужен я?

— Видишь ли, спальня Дракулы — это запретное место. Она оборудована ловушками, которые разработал сам граф. Их можно пройти только вдвоем.

— Там есть видеонаблюдение?

— Как раз этого нет, — сказала Софи. — Никто бы не посмел. Да и не смог бы.

Было непонятно, откуда у нее такие подробные сведения. Девушка явно готовилась к поездке.

— Ловушки есть, а наблюдения нет?

— Именно потому и нет, что там ловушки, — ответила она. — Если бы там было наблюдение, наблюдателю пришлось бы спасать тех, кто в них попадет. Ну или как-то реагировать. На него легла бы ответственность. А если нет картинки, то нет и события.

Логика была вполне вампирической.

— А что за ловушки?

— Это не совсем ловушки... В общем, конечно, ловушки, но Дракула сам в них попадал почти каждую ночь. И не один. Я думаю, Рама, это именно то, чего тебе хочется...

Я сглотнул слюну.

— Так ты пойдешь? — спросила она.

— Когда?

— Сегодня ночью.

— Пойду, — сказал я решительно.

— Отлично, — улыбнулась она. — Я найду за тобой в полночь. Не спи.

Все-таки какое глупое и доверчивое животное мужчина. Постоянно попадает в одну и ту же западню, которую, даже не скрываясь, кое-как плетет ему враждебное существо с холодной рыбьей кровью. Мало того, что попадает — сам эту западню ищет. Часто за большие деньги.

Я все-таки уснул.

Софи пришлось несколько раз постучать, чтобы поднять меня из гроба. Но, открыв дверь и увидев ее, я даже прикусил губу — так она была хороша. На ней был черный спортивный костюм, делавший ее похожей на ниндзя — или на заключенную из продвинутой и стильной тюрьмы где-

нибудь в Скандинавии.

Она поманила меня в коридор.

— Не зайдешь? — спросил я.

— Некогда. У нас максимум три часа. Идем быстрее.

— Куда?

Она знаком велела мне молчать — и следовать за ней.

Мы быстро дошли до места, где ветка моего персонального коридора соединялась с остальным замком. Как я и ожидал, Софи направилась к главной лестнице.

Когда мы поднялись на выложенную разноцветными ромбами площадку, она поманила меня к узкой дверце с пожарной символикой — или тем, что я за нее принял.

Там были нарисованы языки пламени и висящий над ними шлем. Шлем походил скорее на каску римского легионера, чем на головной убор пожарного, но я подумал, что в вампирической автономии такое изображение могло сохраниться еще с античных времен — и я вижу сейчас подобие помпейского культурного пузыря. Поразительно, сколько исторических гипотез способны породить за короткое время возбуждение и страх.

За дверцей, однако, не оказалось ничего противопожарного. Я увидел кирпичную кладку, из которой торчали железные скобы, уходящие вверх и вниз. Ни пола, ни потолка у ниши не было — это был аварийный лаз. Где-то далеко внизу — так далеко, что у меня наверняка закружилась бы голова, не будь я вампиром, — горела красная точка, похожая на огонек сигареты.

Софи протиснулась в дверцу и скрылась вверх. Я последовал за ней, но она поставила мне ногу на голову, чуть не сбросив в колодец.

— Закрой люк, — прошипела она.

Одной рукой было сложно это сделать, но я справился — и вокруг стало совсем темно.

Мы полезли вверх.

Лаз постепенно расширялся. Несколько раз Софи зажигала фонарик и оглядывалась по сторонам. Потом гасила свет и лезла дальше. Во время одной из таких остановок она наконец что-то нашла. Прижавшись к кирпичам, она ударила ногой в стену. Меня осыпало пылью. Софи ударила еще раз, и вокруг стало светлее. Открылась такая же дверца в стене, как та, через которую мы забрались в шахту.

— Вылезает, — сказала она.

Мы оказались на другой лестничной площадке с полом из

разноцветных ромбов.

— А почему нельзя было по лестнице? — спросил я.

— Нет прохода.

Я увидел, что ведущая вниз лестница упирается в массивную дверь, запертую на несколько толстых засовов. На ступенях перед дверью лежал густой слой пыли — как будто специально насыпанной декораторами. Видно было, что ее не открывали давно.

— Куда ведет эта дверь? — спросил я.

— В большой зал, — сказала Софи. — Там Дракула принимал гостей.

— Туда можно войти?

— Сейчас уже нет.

Мы прошли отделанную малахитом арку, по краям которой стояли две зеленые от времени статуи, изображавшие козлоногих сатиров с исступленными от счастья лицами — и неприлично поднятыми бронзовыми членами. Я никогда прежде не видел ничего столь откровенного. Впрочем, неудивительно — наверняка вся подобная античность, оказавшаяся в распоряжении людей, была много веков назад переплавлена в колокола и распятия. Такое могло сохраниться только у вампиров.

— Граф был вынужден поддерживать имидж либертена, — сказала Софи. — Даже дружил с молодым Оскаром Уайльдом, который многое у него перенял. В Англии тех времен ожидали от вампира именно этого.

— Он что, был педик? В смысле, гей?

— Не думаю. Но он всегда старался производить на халдеев как можно более двусмысленное впечатление...

Коридор, где мы шли, был обшит дубом. Свет в него падал сквозь оконные витражи с изображениями средневековых кавалеров и дам, гарцующих в окружении зверей и птиц возле высоких городских стен. Между витражами висели картины, похожие на иллюстрации к рыцарским романам. Я заметил вазы со свежими цветами, стоящие в нишах стены.

— Кто здесь живет? — спросил я.

— Никто. Но все поддерживается в том же самом виде, как было при графе.

Она остановилась около дубовой двери с особо искусной резьбой, изображающей птиц в кроне большого дерева.

— Здесь личные покои графа, — сказала она. — Теперь слушай. После того, как мы пройдем через эту дверь, шутки кончатся. Если ты хочешь выйти назад, делай в точности то, что я тебе скажу. Сразу, не раздумывая. Понял?

Мне стало тревожно.

— Ты же говорила, что мне понравится, — сказал я.

Она улыбнулась.

— Понравится. Но не факт, что ты при этом останешься жив.

После этих слов я, наверно, повернул бы назад — будь у меня уверенность, что я отыщу путь. Но ее не было. Я мог забраться в шахту со скобами. Но вряд ли я сумел бы найти в глубоком темном колодце первую дверцу, которую так непредусмотрительно закрыл.

— Подожди-подожди, — сказал я. — Так не пойдет. Сначала объясни, что там будет. И почему я должен тебя слушать.

— Там будет много всего, — ответила Софи. — А слушать меня ты должен потому, что тебе придется изображать графа.

— Мне? Перед кем?

— Перед его машиной соблазна.

Видимо, выражение моего лица произвело на нее плохое впечатление. Она нахмурилась.

— Нет, — сказала она. — Изображать графа ты не сможешь. Изображать графа буду я.

— А я?

— Ты будешь... — она секунду подбирала слова, — изображать девушку из бедной, но приличной семьи, которую граф угостил ужином, незаметно укусил в шею и привез домой, потому что бедняжке негде ночевать.

— А чего так замысловато? — спросил я.

— Based on the true story, — сказала она и положила ладонь на дверную ручку. — Мы разыграем реальную сцену из личной жизни графа, которая мне известна в деталях...

— Откуда?

— ДНА одной из его любовниц, которая побывала у него в гостях. Я знаю в мельчайших деталях, что она видела и слышала. Мало того, я помню наизусть все, что говорил ей Дракула — весь его, так сказать, ритуал. Мы попробуем его повторить. Если не слишком отклонимся от сюжета, все должно совпасть. Для хронометража я буду говорить то же самое, что граф.

— А что мне говорить в ответ?

— Что хочешь.

— И зачем нам все это делать?

— В результате, — сказала Софи, — я надеюсь получить один приз. Очень необычный. И очень мне нужный. А ты... Ты тоже сможешь

получить свой приз.

Это звучало обнадеживающе.

— О'кей, — сказал я.

— Тогда сосредоточься, мы начинаем. Ты готов?

Я кивнул.

Она открыла дверь. За дверью было темно.

— Дамы вперед, — сказала она ненатуральным мужским голосом.

Я шагнул в темноту. Секунду ничего не происходило. Потом волна воздуха прошла по моему лицу — словно рядом взмахнуло легкое крыло или веер. Впрочем, это мог быть просто сквозняк.

Зажегся свет, и я увидел большую, изысканно и старомодно обставленную комнату. У стены стояла кровать под балдахином, изображавшим (и довольно правдоподобно) разинутую пасть крокодила. Но для спальни здесь было слишком много *objets d'art*. На стенах висели картины, а с двух сторон от кровати стояли драгоценные рыцарские доспехи с золотой инкрустацией — в руках у одного железного воина был меч, а у другого копье. Возле стены помещался журнальный столик с чайным набором. По соседству стояли два кресла. Вот только пол из каменных плит, разделенных глубокими черными щелями, производил гнетущее впечатление.

— Хотите выпить чаю? — грубым басом спросила Софи.

Я даже вздрогнул. Она засмеялась.

— Не пугайся. Когда я имперсонирую Дракулу, я говорю мужским голосом.

Мне захотелось выйти из этой комнаты обратно в коридор. Я взялся за ручку, но дверь оказалась запертой.

— Уже поздно, — прошептала Софи.

Я не понял, за кого она это сказала — за себя или за Дракулу.

Она подошла к журнальному столику, чиркнула спичкой и зажгла плоскую спиртовку под похожим на колбу стеклянным чайником. Над спиртовкой появился круг синего огня.

— Чайник очень современный, — отметил я. — Разве такие были в его время?

— Не знаю, — сказала Софи.

— А когда именно жил Дракула?

— Проще считать, что всегда. К великим трансцендентным существам вообще неприменимо такое понятие, как даты жизни. Их всегда окружают анахронизмы и абсурдные хронологические нестыковки. В разные времена Дракула появлялся среди людей в разных обликах и сильно растянул свое

физическое бытие с помощью особых практик. Я даже видела изречения Дракулы, где он говорит о компьютерных программах и вирусах. Но это, конечно, уже перебор...

Софи поглядела на часы.

— Увы, мое милое дитя, — сказала она басом, — когда я говорил, что на мне и на этом месте лежит проклятие, я не шутил.

— Ты меня пугаешь, — сказал я.

Она довольно улыбнулась.

— У меня нет власти над тем, что здесь произойдет, — произнесла она тем же томным голосом. — Если хочешь уйти, уйди! Да, да, уйди — зачем тебе гибнуть вместе со мной? Да, я этого хочу — но не ради себя, а ради тебя, ради чистого цветка твоей юности... О нет, только не это! Она не открывается? Значит, уже поздно... Вот оно, проклятие, о котором я говорил...

Слова Софи предполагали некоторый драматизм происходящего — но она произносила их без особого выражения, засекая время по часам и делая большие паузы между словами.

Потом она села за столик — и пригласила меня сесть рядом.

— Пьем чай, — сказала она своим обычным голосом — и действительно принялась заваривать чай в блестящих химической чистотой стеклянных сосудах, стоявших перед ней на подносе.

Я устроился в кресле напротив.

— Что тут происходит?

— Видишь ли, — сказала она, — граф Дракула был не только донжуаном, но и женоненавистником, что является довольно обычным сочетанием. Он знал, на какие клапаны женского сердца следует нажать, чтобы быстро добиться желаемого. Но он повторил ритуал соблазнения столько раз в своей жизни, что постепенно стал испытывать от него смертную тоску. В конце концов он решил, в полном соответствии с модой позапрошлого века, механизировать его.

— Как можно механизировать соблазнение?

Софи поглядела на часы и сделала гримасу, которая должна была изображать серьезное мужское лицо.

— Ты хочешь знать, — заговорила она басом, — кто именно меня проклял? Не спрашивай. Темные тайны вампиров не сделают тебя счастливой, милое дитя. Твой чистый и светлый ум не вместит ужаса этой ледяной ночи... Нет, тебе не следует знать...

Реплики соблазняемого создания никто не озвучивал, но они были предельно понятны и так.

Я услышал тихий скрежет. А потом заметил, что пол пришел в движение. Он начал опускаться — и мы вместе с ним. Кровать, однако, оставалась на месте.

Софи, как и положено соблазнителью, сохраняла спокойствие и улыбалась.

— Не бойся, дитя, — пробасила она. — Мы еще не на дне ада... Пока...

— Он что, действительно это говорил? — спросил я.

— Угу. Изверг, конечно.

Шахта, в которую мы погружались под клацанье невидимых шестерен, делалась все глубже. То, что было раньше плитами пола, оказалось плоскими верхушками четырехугольных колонн. Кровать-крокодил теперь нависала над нами — казалось, мы смотрим снизу на огромную морду древней рептилии. Плиты пола образовали что-то вроде ведущей вверх лестницы — по ней еще можно было вернуться к бархатным зубам.

Софи поглядела на часы.

— Пропать... — сказала она басом. — О, если бы я мог просто забыться навек в этой бездне... Но мне уготовано иное...

Прошла еще пара секунд, потом что-то булькнуло, и на самой низкой плите пола стала собираться темная лужа. Жидкость быстро поднималась — и скоро затопила несколько плит. Она была красной. Темно-красной.

— Зачем он это придумал? — спросил я.

— Дракула говорил, что его унижает необходимость предкоитальной лжи. И старался свести к минимуму все, как он выражался, лицемерные мелодрамы.

— Вот таким образом? — спросил я, кивнув на красную лужу, постепенно поднимающуюся к нашим ногам. — А не слишком хлопотно?

— Если ради одного случая, да. Но у него все было поставлено на поток. Он эксплуатировал созданный им романтический ореол многие десятилетия. Если не века. Его итальянские и греческие приключения когда-то вдохновили Джона Полидори на первый значимый образ сексуально активного вампира-аристократа. Многие сегодня понимают это как аллегория британского колониализма, но действительность куда проще...

Я вспомнил стихи из школы. Это был один из тех редких случаев, когда я твердо знал, кто написал запомнившиеся мне строчки.

— «Британской музы небылицы тревожат сон отроковицы. И стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или...» Кто-то там еще, — сказал я. — Пушкин.

— Вот видишь, даже до ваших сугробов докатилось. Дракула старался не отходить от образа без крайней нужды. Плащ с красной изнанкой, накладные, извиняюсь за выражение, клыки — все это ввел в моду именно он. Цинично, конечно. Однако работало лучше, чем все сегодняшние методики пикапа.

Я вспомнил, как мой учитель Локи определял «пикап» — «совокупность подлых ухваток и циничных хитростей, принятых среди нищелюбов, не способных или не желающих честно расплатиться с женщиной за секс». Но вслух этого я, конечно, не сказал. Вместо этого я спросил:

— Почему женщины попадают на такое?

— Женское сердце само ищет возможности обмануться, — вздохнула Софи. — Поэтому обмануть его совсем нетрудно.

Между тем красная краска поднималась все ближе к нашим ногам. Выглядело это и правда мрачно.

— По-моему, — сказал я, — тебе пора что-то пробасить.

Она поглядела на часы.

— Темное море возмездия, — заговорила она басом, — вот-вот сомкнется над моей головой. Погибель заслужена мной в полной мере, и я не ропщу... Как жаль, милое дитя, что ты разделишь мою судьбу...

Я молчал.

— Тут тебе полагалось задать вопрос, — сказала она нормальным голосом. — Насчет того, можно ли остановить проклятие.

— Будем считать, что я его задал.

— Спасти меня могла бы только любовь, — пробасила она в ответ, — вдруг вспыхнувшая в сердце юного и чистого существа... Но мыслимо ли такое?

— Какое-то Кентервильское привидение, — наморщился я.

Софи кивнула.

— Теперь ты знаешь, откуда молодой Уайльд взял сюжет.

— Он что, тоже здесь сиживал?

Софи как-то неопределенно пожала плечами.

— Неужели этот примитив работал?

— Работает только простое, — сказала Софи. — И в простом, и в сложном... Вот представь себе, что ты девушка Дракулы, которая понимает, что красная жидкость вот-вот испачкает ее любимое платье, и ищет цивилизованный выход из этой дикой ситуации. Что бы ты сказал?

— Любовь? — спросил я тоненьким голоском. — Не знаю, мое сердце отдано другому. Но луч сострадания в нем так ярок, так светел... Он сумеет

вырвать тебя из мрака, милый Дракула... Вот моя рука...

— Отлично, — сказала Софи. — Практически слово в слово. А где рука?

Я встал и подал ей руку. Она взяла меня за пальцы — и повела по узкой и крутой каменной лестнице. Мы поднялись наконец вверх и повалились на кровать. Теперь это было единственное высокое и безопасное место в спальне. Выйти из комнаты было нельзя — под входной дверью был обрыв, на дне которого темнела красная жидкость. Чайный столик казался Атлантидой, уходящей в океан возмездия.

Методика Дракулы начинала мне нравиться.

— Мне нужно в ванную, — сказал я.

— Опять практически по тексту, — засмеялась Софи. — Вон туда.

Я увидел, что не все плиты пола возле кровати ушли вниз — вдоль стены осталась дорожка к неприметной дверце, скрытой за зеркалом. Дорожка напоминала тропинку в горах — пройти в ванную можно было только прижавшись к одному из рыцарей, а потом к стене.

Я никогда прежде не видел викторианских санузлов, и у меня возникло ощущение, что я совершаю святотатство на алтаре неведомого бога. Когда я вышел из храма фаянса и меди, Софи лежала на спине, подложив под голову подушку, и внимательно смотрела на стену с картинами. Перебравшись по каменной тропинке назад, я деликатно прилег рядом и сказал:

— Кажется, я понимаю этический смысл этого ритуала.

— Вот как. И в чем он?

— Я много раз замечал, что женщина... Как бы сказать... Не то чтобы испытывает страх перед соитием... Она, скажем так, не хочет брать за него ответственность. Ответственность всегда должна лежать или на партнере, или на непреодолимом стечении обстоятельств. Дракула, видимо, тоже не хотел брать на себя слишком много ответственности — и решил использовать непреодолимое стечение обстоятельств, которое постарался механизировать. Чтобы максимально упростить предварительную мелодраму... Я думаю, он не рассчитывал, что его спутница поверит в реальность происходящего — женщины все-таки не настолько глупы. Он лишь давал ей возможность сделать вид, что она поверила. Чтобы она могла сохранить лицо во всем его бесчеловечном оскале. Очень по-английски. Настоящий джентльмен...

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Софи почти нежно.

— Да?

Она кивнула, поглядела на часы и пробасила:

— Мой падший ангел... Я говорю «падший», потому что ты уже почти рухнула на дно греха вместе со мной... Но светлый луч любви в твоём сердце спасет нас обоих, я это знаю... Довольно же слов...

Она повернулась ко мне, и ее губы накрыли мой рот. Я вдруг понял, что Дракула в это время переходил к делу, и она, кажется, настроена серьезно. Я поцеловал ее в ответ, а потом ее руки прошлись по моему телу, и я понял, что она настроена не просто серьезно, а окончательно серьезно...

Следующие полчаса я опушу. Это одно из самых сладких и нежных воспоминаний в моей жизни, делиться которым я пока что не готов. Да и не с кем.

Через полчаса мы лежали рядом, и я безостановочно болтал:

— Дракула был, конечно, гений пикапа. Спасти вампира — это круто. Но сейчас такое не проканает. Сегодня надо втирать подружке что-нибудь экологическое. Что, уступая грязным домогательствам, она уменьшает совокупный человеческий carbon footprint^[10]. Или спасает бродячих животных... Мол, отдашься вихрю страсти — останутся жить эти десять собачек... И фотографию на стол. Можно даже так шантажировать. Или, еще лучше, что-нибудь про старых цирковых лошадок. Что их не пустят на колбасу, а дадут спокойно дожить на юге Франции... Не, про юг Франции не надо, а то бабу зависть задушит. Не понимаю, почему пикап до сих пор не взял на вооружение. Женщине всегда нужен высокий моральный повод для того, чтобы раздвинуть ноги. Это, по-моему, биология... Слушай, а давай в следующий раз в гробу?

— А тебе на кровати не понравилось?

— Понравилось, детка. Но в гробу интереснее.

— В гробу будет трудно раздвинуть ноги, — сказала Софи. — Даже при наличии высокого морального повода.

Она лежала рядом совершенно голая — похоже, совсем про это забыв. Я заметил татуировку на ее плече — красное сердце с черной звездой в центре. Я уже видел этот символ на экране монитора в ее гробу. Звезда была немного неровной и напоминала рваную пулевую пробоину. В ней были две крохотные белые буквы — ЛН. Чем-то они походили на аккуратные острые зубы...

— Обязательно попробуем в гробу, — сказал я, — у меня это теперь идея фикс... На что ты так внимательно смотришь?

— На цель.

— То есть?

— Погляди на картины, — сказала Софи. — Ничего не замечаешь?

Я уставился на стену. Не заговори она про картины, я вряд ли обратил бы на них внимание. Но теперь мне показалось, что среди них появилась новая.

На ней был большой красный цветок, написанный маслом. Подчеркнутая небрежность делала его похожим на иероглиф, нарисованный спешащим каллиграфом с помощью малярной кисти. Я не помнил яркого пятна на этом месте. Но подойти к картине было нельзя — под ней был трехметровый обрыв.

— Новая картина? — спросил я.

Софи кивнула.

— Она появляется, когда пол уходит вниз. Но этого недостаточно. Кровать должна подвергнуться... В общем, определенному типу нагрузки. Сымитировать такое невозможно, я вчера не меньше часа пробовала. А сейчас получилось почти сразу...

Она склонилась ко мне и звучно поцеловала меня в губы.

— Спасибо, милый. А теперь тебе придется немного побыть мужчиной.

— В каком смысле? — напряженно переспросил я.

— Нужна твоя физическая помощь. Если у тебя хватит сил. Мне нужно дотянуться до этой картины. Тебе придется встать внизу. А я залезу тебе на плечи.

— Ты хочешь ее украсть?

— Нет. Хочу снять с нее несколько кусочков грунта. Никто не заметит... Давай только быстро, у нас нет времени... Оденешься потом.

Удерживая на плечах ее вес (который она все время переносила с одной ноги на другую), я размышлял, чем было это удивительное приключение — внезапным взрывом искренней страсти с ее стороны, или продуманным экспериментом по приложению к кровати колебаний единственно правильной амплитуды и частоты... Это ее «я вчера не меньше часа пробовала» никак не шло у меня из головы.

— Готово, — сказала она наконец и прыгнула на ступеньку рядом с той, на которой я стоял.

У нее в руке был крошечный пинцет и два прозрачных пластиковых пакетика вроде тех, в которых выдают таблетки и наркотики.

— Что ты там собирала? — спросил я.

Она попыталась спрятать свой улов за спину, но я перехватил ее руку и после короткой и довольно серьезной под конец борьбы завладел одним из пакетиков.

Внутри было нечто похожее на крохотный кусочек краски,

отщипнутый с холста. Кажется, она сказала правду. Но из краски торчали какие-то волоски... Я поднялся по каменным ступеням и сел на кровать — туда, где было пятно света. Теперь можно было лучше рассмотреть находку.

— Это же комар! — воскликнул я.

— Именно, — ответила Софи.

— Мы что, лезли сюда из-за комаров?

— Это комары с ДНА Дракулы, — сказала она, садясь рядом. — Когда Дракула занимался живописью на пленэре, он ловил укусивших его комаров и клеил их в картины. Таким образом он оставлял тайный ключ для вампиров из будущего, которые захотят с ним связаться.

— А зачем нам связываться с Дракулой? — спросил я.

— Тебе незачем, — сказала Софи. — А у меня к нему есть вопросы.

Я ощутил смутную обиду.

— А почему мне незачем?

— Тебя не особо заботит освобождение человечества.

— Ты так говоришь, потому что я вампир из России?

Софи нахмурилась, собираясь ответить, но в этот момент раздался далекий скрежет какого-то механизма. Я заметил, что плиты пола снова пришли в движение. Софи поглядела на часы.

— Милое дитя, — сказала она басом, — скоро рассвет. Негоже, чтобы досужие люди видели тебя выходящей поутру из дома вампира... Тебе пора в путь.

Я поглядел на Софи, потом на висящую на стене картину.

Но картины там уже не было. На этом месте темнела обычная дубовая панель.

— А как эта картина называлась? — спросил я.

— «Свидетели Неизбежного», — сказала Софи.

— Дракула имел в виду комаров?

Она поглядела на меня как на идиота.

— Он имел в виду тех, кто захочет его встретить. И придет сюда за ключом.

— А что тогда такое «неизбежное»?

— Неужели непонятно? Любовь. Которая одновременно есть пропуск к тайне. Дракула ясно дал это понять, устроив доступ к картине таким образом...

Мне вдруг показалось, что на меня смотрит множество скрытых в стенах стеклянных глаз.

— Но если свидетели любви не комары, то кто тогда? — спросил я, оглядывая комнату.

— Как кто, Рама, — сказала Софи нежно. — Мы с тобой.

Я вдруг действительно почувствовал себя идиотом. Причем неизлечимым.

— А теперь пошли отсюда, — сказала Софи. — Самое время смыться.



Золотой парашют

На следующий день в классе Софи поздоровалась со мной не то чтобы не приветливо, но и не особо приветливо — и сразу перестала обращать на меня внимание. Сев за парту рядом со мной, она повернулась к Эзу и начала говорить с ним по-французски. Тот рассказывал что-то смешное, и Софи смеялась так счастливо, что я немедленно стал испытывать ревность.

Она вела себя так, словно ночью между нами ничего не произошло. Можно было подумать, мне просто приснились все эти вчерашние трансформации пола (выражение отлично подходило и к перемещениям каменных плит, и к ее имперсонации Дракулы).

Если бы не комар с прилипшим кусочком краски, которого я тщательно осмотрел перед тем, как отправиться на лекцию, я вправду мог бы так решить. Но комар был настоящим.

Наконец пришел Улл. Софи с Эзом замолчали, и мне стало чуть легче. Улл написал на доске:

Seminar 3

Golden Parachute

Miscellaneous

Final Initiation^[11]

Опустив мел, он грустно оглядел класс.

— Это наше последнее занятие, — сказал он. — Потом вы разъедетесь по домам и втянетесь в работу. Вы будете выполнять много разных дел — каждое национальное сообщество ставит сегодня перед вампирами-ныряльщиками особые задачи. Но если бы вы спросили, что является самым важным с практической точки зрения для нас всех, я ответил бы не задумываясь. Это, конечно, Золотой Парашют. Именно о нем мы и будем сегодня говорить.

Он подошел к доске и нарисовал на ней несколько религиозных символов — христианский крест, полумесяц, звезду Давида, какую-то индийскую закорючку и непонятный мне китайский иероглиф.

— Задумайтесь вот над чем. Каждый человек на земле знает, что когда-нибудь умрет. Поэтому — именно поэтому — и существуют мировые религии. Чем ближе к развязке, тем чаще человек бежит в храм локального культа, где ему за небольшую мзду обещают спасение того, что он считает собой. Некоторые особо доверчивые люди настолько боятся посмертного исчезновения, что с шумом и треском уходят из жизни по своей воле, налепив на лоб сомнительный билет в рай... Однако удивительно вот что. Подобная религиозная озабоченность характерна лишь для социальных низов. Если мы поднимемся в высшие слои человеческой иерархии, мы встретим странное, чтобы не сказать поразительное, безразличие к вопросам загробия... Так это, во всяком случае, выглядит со стороны...

Улл провел от каждого из нарисованных им символов черту вверх — так, что все они встретились в одной точке, над которой он поставил жирный вопросительный знак.

— Всего лишь несколько столетий назад хозяева Европы так переживали по поводу своих душ, что устраивали авантюристические войны за гроб Господень — то есть, другими словами, за собственное спасение. Их восточные контрагенты с равным энтузиазмом сражались за свое место в раю, нарисованном по другим лекалам... В наше время, однако, номинальные хозяева человечества равнодушны к подобным вопросам — они как бы слились в парящий над миром jet set...^[12] Так это, во всяком случае, выглядит для непосвященных. У людей попроще до сих пор случаются религиозные конфликты — но возникают они обычно на социальном дне, когда одна нищая толпа идет громить другую. Но разве вы видели хоть кого-нибудь из хозяев современного человечества, переживающего по поводу своей посмертной судьбы?

Вопрос Улла наполнял самоуважением: он обращался к нам как один вечный наблюдатель жизни к другим существам той же высокой природы. Класс, впрочем, молчал. Вопрос был риторическим.

— Нет, — продолжал Улл. — Не видели. Сегодня выражение «крестовый поход» — это просто неполиткорректная метафора военной операции, обеспечивающей ресурсную эксплуатацию в интересах транснационального капитала. Уже много веков человеческая элита ведет себя так, словно для нее вопросы загробного воздаяния не играют никакой роли. Что, вообще говоря, очень и очень странно. Действительно, если эти изнуренные многочисленными преступлениями люди тратят такие усилия,

чтобы забраться на самый верх социальной пирамиды, отчего ими вдруг овладевает равнодушие ко всему дальнейшему? Даже простая человеческая трусость должна была бы заставить их суесться перед лицом неизбежной смерти. Они могут не верить в Бога, но полностью отбросить надежду на личное бессмертие не способен ни один человеческий ум. Следовало бы ожидать завещаний, оставляющих огромные состояния попам различных конфессий в обмен на молитвы о посмертном обустройстве. Мы видели бы чудовищные погребальные пирамиды, возведенные с использованием новейших технологий. Однако ничего подобного мы не наблюдаем. Выглядит все так, словно человеческая элита давно втихую решила вопрос о своей загробной судьбе... Среди gossip-колумнистов принято думать, что высшая финансовая каста современного мира приняла в качестве последнего утешения каббалу. Но на деле с этим учением флиртуют в основном вдовы нуворишей, поп-певицы, повара элиты и ее тренеры по бадминтону. Отчего молчит сама человеческая верхушка? Почему она так метафизически пассивна — и уже не одну сотню лет?

— Золотой парашют, — буркнула Софи, не поднимая глаз.

Улл погрозил ей пальцем.

— Кто еще знает? — спросил он.

Таких больше не нашлось.

Улл подошел к Софи и потрепал ее ладонью по затылку. Я испытал странное чувство: одновременно облегчение, что на эту роль выбран не я — и что-то, неожиданно похожее на ревность. Причем даже непонятно, по какой линии.

— Совершенно верно, девочка! Золотой Парашют. Это выражение уже давно просочилось в мир — но Черный Занавес, как всегда, скрывает истину за информационной клоунадой. Словами «Золотой Парашют» пользуются люди, говоря о мелких бонусах и преференциях своей элитки — о какой-нибудь депутатской пенсии или выходном пособии банковского менеджера. Но на нижних социальных этажах никто и не подозревает, что это такое на самом деле.

— А что это? — спросил Эз.

Улл повернулся к нему.

— Ты в прошлый раз спрашивал, может ли мертвец — вернее, анимограмма — родиться заново. В известных случаях может. Иногда это связано с процессами вне нашего контроля. А иногда к этому прикладываем руку мы сами. У вампиров есть собственная технология перерождения. Именно она получила название «Золотой Парашют». Этим парашютом пользуются как вампиры, так и некоторые особенно

приближенные к нам халдеи. То есть самые сливки человечества.

— А зачем вампиру Золотой Парашют? — спросил Тет. — Вампир бессмертен!

Улл улыбнулся.

— Совершенно верно. Но только наполовину. Вы слышали сравнение с лошастью и всадником так часто, что оно давно набило оскомину. Тем не менее, оно очень точно по своей сути. Вы должны понимать — хорошую боевую лошадь не так просто подготовить. Магический червь — властелин мира и владыка людей — не станет жить в первом попавшемся мозгу, подвергая себя опасности, исходящей из непредсказуемого человеческого ума. Магические черви используют одних и тех же носителей столетиями, если не тысячелетиями.

Улл сделал паузу, как бы давая нам возможность переварить услышанное. Затем он продолжал:

— Червя, однако, волнуют не генетические особенности человеческого тела, где он будет обитать. Гораздо важнее врожденные особенности ума, с которым он соединяет свою таинственную силу. Поэтому бессмертен не только сам магический червь. В определенном смысле не подвержен распаду и его носитель. Все вы, сидящие в этой комнате — реинкарнанты. Каждый из вас много раз падал в смерть с Золотым Парашютом. И возвращался к служению в новой жизни.

На этот раз молчание длилось дольше. Я не выдержал и поднял руку.

— Да, Рама.

— А как вампиры находят таких перерожденцев?

Улл улыбнулся.

— Кармические механизмы устроены так, что вокруг вампиров постоянно бродят стада людей, бывших когда-то их носителями. Все они имеют необходимые навыки из прошлых жизней. Таких людей гораздо больше, чем магических червей, желающих сменить тело. Численное соотношение примерно как между русским олигархом и красавицами, готовыми отдать ему самое дорогое, что есть у девушки. Когда будущий носитель червя вырастает, он сам находит своих хозяев. Им для этого достаточно нарисовать на асфальте, по которому он пройдет, какой-нибудь знак, руну или пиктограмму. Никто из других людей просто не обратит на такой знак внимания. А в уме будущего вампира мгновенно произойдет алхимическая реакция, и он остановится, чтобы найти своих новых друзей.

— Но если кармические механизмы срабатывают автоматически, зачем тогда вообще заботиться о перерождении? — спросил я.

— Человек, ставший вампиром и носящий в своем мозгу магического

червя, приобретает довольно мрачную карму, — ответил Улл. — В том числе из-за того, что живет всю жизнь в роскоши, то есть в известном смысле паразитирует на страданиях других людей. Поэтому без помощи ныряльщиков он обязан будет провалиться в темные слои загробного возмездия, где элементы его сознания будут пожирать духи гнева и зависти.

— Обязан провалиться? Кому обязан? — спросил Тет.

— Сам себе, — ответил Улл. — Тому солнцу, которое светило сквозь его витраж.

— А зачем это солнцу?

— Спроси у него. Мы не теологи, а вампиры. Золотой Парашют — технология, которая позволяет вампирам сохранить комплекс навыков и привычек, оптимальных для носителя магического червя, даже после его смерти. Ныряльщики провожают мертвого вампира через пространство загробного возмездия и помогают ему воплотиться в новом теле при благоприятных обстоятельствах.

— Я бы не назвал обстоятельства своего рождения особо благоприятными, — сказал я.

Улл развел руками.

— Вампиры часто входят в высшую человеческую аристократию, — ответил он, — как, например, наши французские гости. Но мы не относимся к подобным вещам серьезно. Это просто обычай, цель которого — с рождения придать будущим носителям Языка высокий социальный статус. Но истинная аристократия в мире только одна — это мы. Наше сообщество — своего рода клуб, члены которого состоят в нем уже не первую тысячу лет. Никакой земной король или королева никогда не получают туда доступа просто так. Туда ведет только Укус. Решение поселиться в чьем-то теле принимает магический червь — а не само это тело. Если он не захочет, не поможет никакая голубая кровь...

— А халдеям тоже предоставляется Золотой Парашют? — спросил я.

— Да. Но не из гуманизма. Это один из способов нашего контроля за людьми. И еще заработок, чего уж тут лукавить. Золотой Парашют покупают наши самые преданные и богатые слуги, стоящие на пороге смерти. Это стоит большей части состояния даже крупнейшим мировым финансистам. Но зато они спасаются от адских мук. Во всяком случае, твердо в это верят. Спасая грешников от возмездия, мы, разумеется, нарушаем все божеские и человеческие моральные законы. Что лишний раз показывает халдеям ту степень влияния, которой мы обладаем во Вселенной.

— А как мы провожаем мертвецов? — спросил я.

— Эдаким вергилием, — отозвался Улл. — «Вергилий» — это, кстати, официальное название ныряльщика-проводжатога. Полезная и почетная работа. Хоть и трудная. Требует хороших профессиональных навыков.

— Понятно, — сказал Тар. — А как мы помогаем мертвым вампирам заново родиться?

— Рождаются они сами. Мы приводим их к точке, где это становится возможным, не давая провалиться в нижние миры. На техническом языке это называется «перемоткой анимогаммы». Она переводится в состояние, в котором может храниться неопределенно долго — пока для ее перерождения не созреют благоприятные условия. Судьба халдеев, если честно, не сильно нас волнует. Но мы стараемся не потерять ни одного из собственных братьев. К ним мы относимся куда заботливее, чем к жирным котам, с которыми у нас чисто коммерческие отношения... Но обо всем этом вы узнаете, вернувшись домой.

— Чем еще занимаются ныряльщики? — спросил Эз.

— Много чем, — сказал Улл. — Есть и неприятные вещи. Прежде всего, экстракция различных сведений. Ныряльщики имеют доступ даже к тому, что исчезло из мира людей. Раньше часто бывало, что носителя важной информации сперва убивали, чтобы до его памяти никто не мог дотянуться, а потом к нему нырял вампир... Многие громкие убийства были связаны именно с этим.

— А правда, что для этого обязательно надо задушить желтым шнуром? — спросил Тет.

— Убить можно как угодно, — ответил Улл. — Но древним ритуальным способом действительно было удушение — считалось, что при неповрежденном мозге достигается самая надежная коммуникация. Но это просто предрассудок. И сейчас такое уже не практикуется. Кроме редчайших случаев. Я имею в виду, удушение желтым шнуром. На самом деле способ убийства не особо важен...

— Я слышал, что это самая грязная работа, — сказал Тет. — Экстракторов даже называют «говновозами».

Улл странно на него глянул.

— Ну да, — ответил он, — есть такое. Выражения «говновоз», «говночист», «золотарь» и так далее вполне заслуженны. Экстрактор — это самая тяжелая в морально-эмоциональном плане работа. Однако во многих отношениях нужная. Если у вампира есть предрасположенность к беззаветному служению, несмотря на оскорбительно низкий статус в иерархии и постоянные насмешки гламурных лоботрясов, это работка для него...

Мне почему-то показалось, что Улл прежде работал именно экстрактором.

— А почему это нечистая работа? — спросил я.

— Дело в том, — сказал Улл, — что информацию из лимбо можно извлечь только одним способом — сделав себя ее носителем. При этом приходится просматривать очень много внутреннего человеческого материала — поскольку полезную фракцию памяти трудно отделить от остального состава. Это почти как собирать жемчужины, глотая их вместе с раковинами. Экстрактор как бы зачерпывает чужое сознание своим и поднимает на поверхность. Отсюда и ассенизационные сравнения.

Я вспомнил мокрую прядь Энлиля Маратовича, прилипшую к его лбу, и дал себе слово, что не пойду в экстракторы даже под страхом смерти.

— А кто такие ныряльщики-предсказатели? — спросил Эз.

— Тут я вас просветить не могу, — сказал Улл. — Потому что и сам знаю немного. Просто слухи. Есть такая точка зрения, что в лимбо хранится информация не только из прошлого, но и из будущего. Якобы есть ныряльщики, которые получают к ней доступ. Хотя мне лично механизм непонятен — для этого нужна была бы ДНА из будущего. Во всяком случае, в теории. Но все это просто разговоры. Если что-то подобное и существует, то оно строго засекречено. В том числе и от меня.

— Но если бы информация о будущем попала в прошлое, мы бы смогли это будущее изменить?

— Я так не думаю, — сказал Улл.

— Почему?

— Да просто исходя из здравого смысла, — ответил Улл. — Вот представьте, вы едете на поезде без окон в какой-то город. Но не знаете в какой. Потом кто-то позволяет вам выглянуть из секретного окна, и вы видите приближающуюся Эйфелеву башню. И что? Можете вы после этого сделать так, чтобы поезд приехал не в Париж, а в Бомбей? Даже если вы ворветесь в кабину машиниста с двумя револьверами и пачкой долларов в зубах, вряд ли у вас что-то выйдет. Не говоря уже о том, что таким беспокойным гражданам никто не разрешит выглядывать из секретных окон. Лично я склонен предполагать, что будущее показывают только тем, кто с ним заранее согласен.

— Кто показывает?

— Те, — сказал Улл, — кому оно известно. Поэтому волноваться за него не надо, все контакты с прошлым в нем уже учтены. Волнуйтесь за настоящее. Еще вопросы?

— Скажите, — спросил Эз, — а кто такие «мирские свинки»?

Улл поморщился.

— Я не знаю. И советую тебе не слишком интересоваться этим вопросом... Ни слова больше. Все...

Он поставил на стол свой бумажный пакет из-под углей.

— Вчера я обещал показать вам кое-что интересное, — сказал он. — И я это обещание выполняю. Сейчас произойдет ваше первое погружение в лимбо. Оно будет не таким, как все последующие. Но по традиции именно это восприятие становится первым для всех ныряльщиков уже около трех тысяч лет...

— У нас что, будет учебная дегустация? — спросил я.

— В этом замке вам не нужно принимать препарат из красной жидкости мертвеца, — сказал Улл. — Достаточно услышать специальный резонатор, настроенный на нужное переживание.

Раскрыв пакет, он вынул оттуда архаично выглядящий камертон из темного металла.

— А чье это переживание?

— Одного очень древнего вампира, — ответил Улл. — Его звали Аид. По совместительству он считался у древних греков богом подземного мира. По нашей традиции, вы делаетесь ныряльщиками после того, как становитесь на несколько секунд этим Великим Мертвецом. Это важнейшая минута в вашей жизни и смерти. Закройте глаза и сосредоточьтесь...

Слова Улла произвели на меня сильное впечатление. Я зажмурился и постарался прогнать из головы все мысли.

Ничего не происходило. Это длилось так долго, что темнота стала мне надоедать.

А потом я вдруг понял, что слышу тихий ровный звук странного тембра. Момента, когда он начался, я не заметил — а осознал только, что он уже некоторое время звучит в моих ушах.

Эффект этого звука был потрясающим.

Темнота перед моими глазами вытянулась в длинный коридор, а затем этот коридор решительно развернулся вокруг меня на триста шестьдесят градусов, словно я был иглой циркуля. В этом размахе была такая мощь, что у меня закружилась голова, а тьма передо мной превратилась в неизмеримое пустое пространство.

Я увидел вокруг пятна тусклого света.

Под моими ногами было бесконечное черное зеркало из чего-то, похожего на отполированный до прозрачности камень. Оно уходило во все стороны, насколько хватало взгляда. Это было, кажется, прочное

вулканическое стекло вроде обсидиана. Сквозь его толщу просвечивали разноцветные огоньки — загораясь, они рисовали какую-нибудь геометрическую фигуру или узор, и исчезали.

Наверху чернело небо. Туда было страшно смотреть. Тьма затягивала — верх и низ менялись местами, и начинало казаться, что надо мной не небо, а бездна, в которую я свисаю вниз головой. Но стоило опустить взгляд, и головокружение проходило.

Между зеркалом внизу и тьмой вверху было пространство, заполненное смутными тенями, мерцающими огнями и редкими вспышками — все это возникало, когда я начинал вглядываться во мрак.

Вдруг на моей левой руке появился плоский диск из похожего на бронзу металла. Это выглядело так, словно из темноты на мой левый локоть приземлилась огромная зеленая фрисби — и зацепилась за него двумя прочными петлями. Я даже не успел испугаться.

Диск выглядел в точности как древний щит. На нем был выбит узор, напоминающий нечто среднее между двусторонним топором и летучей мышью. Щит казался на удивление легким — я совсем не чувствовал его веса.

Затем в моей правой руке появился длинный шест из того же металла. Он тоже был легким, с узким двузубым острием.

Потом моя голова обросла шлемом — я понял это, заметив, что гляжу на мир сквозь бронзовые глазницы. Я превратился в подобие античного воина-гоплита.

Я побежал вперед — легкой трусцой, прижав шест к боку. Изредка, когда огоньки вокруг меркли и делалось совсем темно, мне начинало казаться, что я не бегу, а с каждым шагом опускаюсь все глубже в черный океан, бессмысленно болтая ногами. Это было, конечно, страшно. Но потом огоньки появлялись опять, и страх исчезал.

Я бежал в темноту все дальше и дальше — или, может быть, глубже и глубже. Иногда огоньки подлетали ко мне близко. Они были разных цветов и размеров. Некоторые трещали, как рассерженные осы. Я легко отбивал их щитом — и они без всяких возражений летели дальше. Возможно, они просто проверяли мой древний бронзовый пропуск...

Потом я стал замечать зыбкие конструкции, похожие на воздушных змеев разных форм. Они медленно летели в одном направлении, словно их нес ветер. Они становились видны, когда я старался их найти — и, если я долго смотрел на них, начинали светиться. Чем дольше я разглядывал их, тем больше их становилось — будто их притягивал мой интерес.

В фокусе моего внимания оказалась одна из таких теней. К ней

приближался красный огонек, похожий на флюоресцирующий теннисный мяч. Они столкнулись, и все исчезло в радужной вспышке, которая ослепила и оглушила меня.

— Рама, открой глазки. Все уже досмотрели.

Улл оглядел притихший класс.

— Из этого древнейшего переживания, — сказал он, — может сложиться ощущение, что лимбо — темный стадион, где летают светящиеся насекомые и бегают одетые в униформу античных воинов вампиры. Но в реальности все иначе. То, что вы видели — это безличный уровень восприятия, очищенный от всех современных кодировок. Так видеть лимбо могут только величайшие из undead. Ваш опыт будет другим. То, что вы встретите, будет зависеть от особенностей перематываемой анимограммы — но в целом будет напоминать повседневный мир. Только он будет меняться, пробуя множество разных форм перед тем, как ваш ум узнает что-то знакомое. Лимбо — это не совсем пространство. И время там — не совсем время.

— А что там на самом деле? — спросил Тет.

— Вопрос, что там на самом деле, лишен смысла — ибо ответ зависит от того, кто будет смотреть: пчела, летучая мышь, человек или вампир. Вы вампиры. Со временем вы вполне сможете настроить лимбо так, чтобы сделать его уютным для себя местечком. Главное — ни на чем не залипать.

— А что это за шест? И щит?

— Такова традиционная экипировка ныряльщика, — сказал Улл. — Ей несколько тысяч лет, и многие профессионалы считают именно эту униформу самой подходящей для наших целей. Шест Аида, Шлем Аида и Щит Аида всегда присутствуют в каталоге вашего вампонавигатора. С их помощью можно решить большинство практических задач. Но вообще вы можете придавать себе любое обличье. Только помните, что хорошим тоном в лимбо считается минимализм. Вы не взрываете там атомных бомб и не устраиваете великих наводнений. Вы обходитесь минимумом средств, необходимых для решения задачи. Рама, у тебя опять вопрос?

— Да, — сказал я. — Куда бежал этот Аид?

— Я не знаю. К какой-то цели. Но по лимбо не бегают. Бег — просто самый близкий из человеческих шаблонов, который можно наложить на такое восприятие. Это сновидческая трансформация абстрактного усилия, прилагаемого вампиром, чтобы приблизиться к объекту своего интереса.

— Что это за огоньки?

— Мы называем их «свободные мемы». Вы не будете их видеть. Вы будете видеть только своего клиента, то есть перематываемую

анимограмму. Свободные мемы при этом практически не заметны. Примерно как звезды днем.

— А почему их называют «мемы»?

— Сам не знаю, — пожал плечами Улл. — Просто так принято. Это элементарные свободные мысли. А «свободными» их называют потому, что их не думает никто. Они как бы думают себя сами. Выглядит это так, словно у них есть свой собственный свет.

— А разве может быть мысль, которую не думает никто?

— Это, конечно, звучит странно, — согласился Улл. — Но то же самое относится и к мыслям в человеческом подсознании. Их никто не думает. А потом, набрав энергию, они неожиданно берут вашу голову штурмом. И, как показывает уголовная практика, становятся не просто реальностью, а самой главной реальностью из всех. Их последствия ощущаются много лет. Так что не сомневайтесь. Может.

— А откуда берутся свободные мемы? — спросила Софи.

— Я не знаю. Возможно, это подсознание Великого Вампира, в уме которого появляемся и исчезаем мы все. Некоторые считают, что это обломки бессмертных сущностей, разрушенных непостижимой силой. Что-то древнее, как кольца Сатурна, но до сих пор живое. Другие вампиры полагают, что мемы находятся в пустоте изначально и являются теми элементами, из которых возникают человеческие и ангельские языки. Третьи допускают, что много мемов, слившись вместе, могут зародить новую сущность. И все эти точки зрения спорят между собой... Но вам про это не надо думать. Мемы не имеют к вам никакого отношения. Они видны только великим мастерам...

Улл достал из своего мешка другой камертон.

— Реальность, друзья, гораздо прозаичней. Сейчас я покажу, как лимбо будет выглядеть для вас. Смотрите внимательно и постарайтесь запомнить все в деталях, потому что я буду задавать вам контрольные вопросы. Закройте глаза...

Прошло несколько секунд, и я услышал звук второго камертона. Он был другого тембра.

Я вдруг увидел машину, тормозящую на углу пустой городской улицы. Трудно было сказать, где это происходило — но улица казалась совершенно реальной, со множеством пакостных деталей, которые может родить только живая жизнь.

Из машины вылез пожилой мужчина в полосатом костюме и закрыл дверь.

Откуда-то сверху ему на лысину упала капля.

Он поднял глаза — и на лоб ему упала вторая капля. Он недоуменно наморщился — и на него упала третья. Я даже слышал звук, с которым капли разбивались о его кожу.

Тут с полосатым господином и окружающим его миром стало твориться что-то странное. Исчезла улица, пропала машина, а его руки загнулись за спину — и оказались прикрученными веревками к каменному столбу. На его шее появился железный ошейник с шипами, не позволяющий ему повернуть голову. Его загорелая лысина заполнила все поле зрения, словно я навел на нее камеру и сделал сильный зум.

На лысину снова упала капля воды. Я увидел в мельчайших подробностях, как она расшиблась. Привязанный к столбу вскрикнул.

Я поглядел вверх. На столбе выше его головы висела старинная медная посуда с тонким носиком, на котором уже набухала следующая капля.

В моей руке возник шест — почти такой же, как в прошлом видении. Я ударил им по столбу и сшиб его верхушку вместе с медной посудой. Потом я коснулся шестом железного ошейника, и тот послушно свалился на землю. С той же сновидческой легкостью, одним прикосновением шеста, я распутал веревки, которыми были скручены руки полосатого господина, и он побежал вперед.

Впереди была полукруглая дубовая дверь с большим железным кольцом. Он схватился за кольцо, потянул, и дверь открылась. В проеме мелькнул силуэт большой худой собаки с торчащими ушами. Господин шагнул за дверь. А потом собака и полосатый господин покрылись рябью и превратились в облако разноцветных брызг — и все исчезло так же внезапно, как появилось.

— Это фрагмент реальной перемотки по программе «Золотой Парашют», — сказал Улл. — Вы насмотритесь на подобные проекции испуганных умов досыта, я вам обещаю. Теперь вопросы. Скажите, когда исчезла улица и машина, где оказался мужчина, который из нее вылез?

— У столба, — ответил я. — Это, кажется, такая древняя пытка водой.

— А где находился столб? На улице? В поле? В каком-то помещении?

Я задумался. Как ни странно, но ответить на этот вопрос я не мог. И никто другой, похоже, тоже не мог — молчали все.

— Следующий вопрос. Где находилась дверь с железным кольцом? Рама?

— За дверью была собака, — сказал я.

— Это правда, — согласился Улл. — Но где висела сама дверь? Двери ведь бывают в домах, в заборах, в стенах. Где была эта?

— Я не заметил, — признался я.

— Кто-нибудь заметил? — спросил Улл.

Ответом было молчание.

— Я показал вам этот отрывок с одной-единственной целью, — сказал Улл. — Чтобы вы сразу поняли, чем лимбо отличается от реальности. Дело в том, что мои вопросы не имеют смысла. Потому что вампир, перематывавший эту анимограмму, не заинтересовался ни местом, где стоял пыточный столб, ни тем, где находилась дверь, в которую проскользнул его подопечный. Поэтому столб не стоял нигде. И дверь тоже. Все, что вы видите в лимбо, создается исключительно вниманием, которое вы к этому проявляете, сознательно или нет. Профессионализм ныряльщика заключается в том, чтобы, как говорил великий Оккам, не множить сущности без надобности. Запомните это как следует, дети мои, и вы облегчите себе жизнь... И это относится не только к лимбо. Но и ко всему остальному в жизни...

Улл сложил камертоны в свой мешок и печально посмотрел за наши спины — на восковых второгодников с последнего ряда.

— Мой курс окончен, — сказал он. — После того, как вы пробыли несколько мгновений древним Аидом, вы получаете право на титул «Великий Мертвец». Надеюсь, это придаст вам оптимизма, самоуважения и уверенности в себе. Остальное вы узнаете дома. Но если у кого-то остались вопросы, буду счастлив ответить.

Тар поднял руку.

— В прошлый раз вы говорили, что лимбо — это лаз к другим мирам, — сказал он. — А потом вы сказали, что оно возникает только в нашем сознании. Как оно тогда может вести к другим мирам?

— Вот именно по этой причине и может! — ответил Улл. — И только поэтому! Глупость человека в том, что он ищет других существ в мертвом материальном космосе, фиксируемом его пятью грубыми чувствами. Этот внешний «космос» — просто ничтожный и малоинтересный срез реальности. Наспех намалеванная панорама, которую можно считать декорацией к земному творению.

— Между прочим, — сказал Тар, — про эту панораму уже узнали столько, что даже нашли в ней несколько тысяч похожих на Землю планет. В миллионах световых лет друг от друга...

Улл махнул рукой.

— Проявляя к декорации интерес, человек просто начинает ее раскрашивать и дорисовывать.

— А может, это она нарисовала всех нас?

— Ты сейчас говоришь как человек, — ответил Улл. — А вампиру

смешно и грустно смотреть на людей. Капли низвергающегося водопада, которые думают: «Вот я. А вот мир». Они уверены, что космос вокруг них все время один и тот же, просто они по-разному понимают его в разные эпохи. Они даже вычислили его размеры и возраст, и нашли себе предков среди выкопанных из земли камней. Но это сон, который снится человечеству сегодня. Никто не знает, какой будет сниться завтра. У сна может быть любое количество шизофренических подробностей, в достоверности которых спящий уверен на сто процентов. Только сны меняются каждые несколько минут. Люди не понимают, что они просто капли осознания, из которых состоит реальность. А реальность — это именно то, что они сознают.

— Что же, реальность все время разная?

— Конечно. Вера в то, что существует не зависящий от водопада сознания внешний мир со своей постоянной историей — это просто часть того сна, который снится людям сейчас. И этот сон уже понемногу меняется. Водопад человеческого неведения все время разный, одинакова только уверенность, что все идет как надо и ситуация под контролем. Та же самая уверенность, которая сопровождает нас в каждом сне. Отчего сны и не кажутся нам снами, когда мы их видим.

— Вы хотите сказать, что люди зря ищут другие миры? — спросил Тет.

— Что значит «зря»? Человек все делает зря. В первую очередь живет. Человек не понимает, что другие миры находятся не в фиктивном материальном измерении, которое специально намалевано так, чтобы самое короткое путешествие по нему было намного длиннее его жизни, а в глубинах сознания. В тех его слоях, которые невозможно увидеть сквозь человеческий калейдоскоп-затемнитель. Лимбо — это пространство, где такие восприятия делаются возможными.

— Мы их испытаем? — мечтательно спросил Тар.

— Ни в коем случае, — ответил Улл. — Вампир, наоборот, из всех сил старается от них спрятаться. Вампир не ищет контакта со странными переживаниями и сущностями, которые разорвут его в клочья. Мы не сумасшедшие. В лимбо есть невысказанное и неизмеримое. Но мы пользуемся им в сугубо практических целях. Мы стремимся увидеть и узнать как можно меньше. Поэтому ваша практическая работа покажется вам довольно приземленной. И прозаической. Настраивайтесь сразу.

Я уже не слушал Улла — я вдруг понял, во что я превращу лимбо для себя, если когда-нибудь смогу настраивать это пространство сам. Был такой мультфильм — «Ежик в тумане». Про ежика, идущего куда-то по ночным лесам и лугам — сквозь туманы и страхи. Так все у меня и будет. Туман,

ночь. Сосны, дубы-колдуны. И звезды наверху... А ходить по туману я стану в черном кожаном пальто. И фуражке с высокой тульей, на которой раскинет крылья серебряная летучая мышь. Или нет, надо будет еще подумать.

Улл повернулся к нашей парте.

— Чего ты грустишь, Софи?

Я заметил, что Софи действительно выглядит печальной.

— Так интересно было вначале. Яркий белый свет, калейдоскопы, витражи. Бесконечные миры. А теперь выясняется, что мы пользуемся этим ярким белым светом, чтобы транспортировать жирных котов мимо ада?

— Можно сказать и так, — ответил Улл. — Мы ведь не ангелы, Софи. Мы вампиры. И потом, то, о чем ты говоришь, тоже часть яркого белого света. И мы, и даже жирные коты. Так что не печалься. Ты привыкнешь...

Но какая-то печаль, похоже, опустилась на всех.

Улл тоже выглядел грустно. Он оглядел класс.

— Увидимся за ужином, — сказал он. — Счастливых погружений, мальчишки и девчонки. Как говорится, семь футов под сундук мертвеца!

Все встали с мест и обступили Улла, который принялся объяснять что-то про прощальный ужин. Я сидел на месте — мной овладела апатия.

«Вот и все, — думал я. — Теперь домой... К родным гробам...»

Эти слова, однако, не согревали — я уже знал, что у родных гробов проблемы с вентиляцией. И вообще, удивительно, как гробы отечественного производства еще... Что там должны делать гробы? Гнить? Удивительно, как они еще гниют...

Встав, я вышел из аудитории и поплелся в свою комнату. Мне хотелось только одного — спать.



Неизбежное

Меня разбудил стук в дверь.

Слово «разбудил» тут немного не на месте, но другого не подобрать. Дело в том, что мне снился длинный мрачный сон, который я полностью забыл при пробуждении. Я помнил только, что эти три коротких удара в дверь были важной его частью — и было непонятно, как они переехали в реальность. И еще я знал, что за дверью Софи, но встречаться с ней по какой-то причине крайне опасно.

Секунду-две я колебался, а потом решил, что не буду лишать себя радостей жизни из-за бессмысленных электрических флуктуаций перезаряжающегося мозга.

— Открыто, — крикнул я.

Дверь открылась. На пороге действительно стояла Софи.

На ней было длинное черное платье в редких блестках. Настоящий вечерний туалет.

— Это мне здесь выдали, — улыбнулась она, заметив мой удивленный взгляд. — Как единственной женщине.

— Наверно, — сказал я, — из интимной коллекции Дракулы? Не в него ли он одевался, встречая юного Оскара Уайльда?

— Такой информации у меня нет, — ответила она. — Скажи, ты не хочешь немного пошептаться в моем гробике? Сегодня последний день, когда это возможно...

— Хочу, — сказал я.

— Тогда пойдем. И прямо сейчас — скоро прощальный ужин.

Мне нравилось, что она второй раз приходит ко мне сама.

Я с детства считал, что отношениям мужчины с женщиной не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. В конце концов, речь точно так же идет о кратком и практически бесследном удовольствии... Как было бы прекрасно, думал я, договариваться с женщиной об акте любви с беззаботной легкостью замышляющих выпивку студентов...

Позднее я пришел к выводу, что это труднодостижимо из-за биологического разделения труда. Мужчина дарит жизнь, зарождает ее — а женщина вынашивает, играя не менее важную и в чем-то даже ключевую роль. Ее детородная функция мучительна и связана с длительным периодом беспомощности — поэтому естественно, что животный инстинкт

заставляет ее выбирать партнера весьма тщательно. Комизм, однако, в том, что этот инстинкт в полную силу действует даже тогда, когда речь идет не о зарождении новой жизни, а о субботнем вечере.

Женщина должна обладать недюжинным интеллектом и силой воли, чтобы научиться отслеживать и подавлять этот древний гипноз плоти, уродующий ее характер и лишаящий конкурентоспособности на рынке биологических услуг.

Софи, как мне казалось в ту минуту, была именно таким совершенным существом — и, спеша за ней по коридору, я думал, что Америка еще долго будет оставаться для мира сверкающим cutting edge^[13] не только в сфере технологий, но и в области наиболее эффективных поведенческих паттернов.

Ах, если бы женщины знали, как подобная сердечная простота поднимает их в наших глазах! Но косной пещерной памятью самка помнит, что интересна добытчику лишь несколько минут перед соитием, и потому делает все возможное, чтобы растянуть их в часы, дни и недели — и выторговать себе как можно больше шкур и бус...

Через минуту после того, как мы вошли в комнату, мы уже лежали в ее просторном гробу, трогательно пахнущем какими-то наивными духами. Она сняла платье сама, что очень облегчило мне жизнь — не уверен, что быстро разобрался бы с его застегками. В гробу, однако, было вовсе не так удобно, как мне мечталось — но в этом неудобстве была и прелесть: мешая удовольствию, теснота как бы разворачивала его незнакомой и свежей стороной...

Но я не успел зайти слишком далеко.

Помешала сущая ерунда — еле заметный укол в шею. Я сразу понял, что он значит — и, хоть я изо всех сил попытался не обратить на него внимания, это оказалось невозможно. Мое возбуждение за несколько секунд сменилось тоской и злобой.

— Ты меня укусила?

Она виновато моргнула.

— Просто я... Я уже ошибалась в жизни. И больше не хочу.

Они всегда так говорят, подумал я. Всегда.

— Извини, — прошептала Софи. — Но я теперь знаю.

— Что ты знаешь?

— Про тебя. Про тебя и вашу Великую Мышь.

— Про Геру?

Софи кивнула.

— И еще я вижу, что ты ничего так и не понял, — сказала она. —

Бедный мальчик. Да ты и не мог понять. Тебе не объяснили, а сам ты ничего не соображаешь.

— Чего я не соображаю? — спросил я.

— Ты не знаешь, зачем тебя сюда послали. Зачем тебя учат на ныряльщика.

— А ты, выходит, знаешь?

— Ваш главный вампир, — сказала она. — Энлиль. Он ведь тоже ныряльщик. Ты видел сам. Никогда не думал, зачем он обучился?

— Нет, — ответил я. — Наверно, для максимального контроля?

Она отрицательно покачала головой.

— Это очень трогательная история. Ваша прошлая Иштар... Когда она была молодая, она чем-то походила на твою Геру. А Энлиль напоминал тебя. Оба недавно стали вампирами. И у них был смешной полудетский роман, совсем как у вас с Герой. Который точно так же ничем не успел кончиться. Потому что Великой Мыши срочно потребовалась новая голова.

— Не может быть, — сказал я.

— Может, — ответила Софи. — Покойная Иштар сама тебе об этом говорила. Намекала с предельной ясностью. Только ты ничего не понял.

Я напряг память.

— Подожди... Это когда я спускался в Хартланд во второй раз? Она сказала, что у Энлиля была похожая на Геру подруга. И до кровати у них так и не дошло. А потом сострила про черную мамбу — есть такая жутко ядовитая змея. Мол, если не просить, чтобы она тебя укусила, можно долгие годы наслаждаться ее теплотой... Я думал, она просто советует мне быть осторожнее с Герой... Ты хочешь сказать, подругой Энлиля была она сама?

Софи кивнула.

— Это настоящая вампирическая love story, — сказала она. — Невероятно красивая. Но ее не афишируют. А я считаю, зря...

— Так что за история? — спросил я.

— Когда Иштар стала Великой Мышью, она сначала думала, что потеряла Энлиля навсегда. Во всяком случае, в качестве любовника. Потому что у нее больше не было тела.

— Логично, — сказал я, просто чтобы не молчать.

— Но потом она укусила тогдашнего вампирского старшину Кроноса и узнала много нового. Она узнала про undead. Про простых и про великих.

— А чем они отличаются?

— Простые undead получают доступ к миру теней, оставаясь при этом живыми. Они могут входить с анимограммами в контакт, и все. А вот

вампиressa, которая становится Великой Мышью — уже великая undead.

— Почему?

— В определенном смысле она действительно умирает, когда лишается тела. После этого она отпечатывается в лимбо в том возрасте и состоянии духа, в котором ей отделили голову. Но одновременно она продолжает жить среди нас — в качестве Великой Мыши. Поэтому она существует одновременно как живое существо и как анимограмма в лимбо. Великая Мышь способна поддерживать контакт со своей анимограммой. Она может ощутить себя обычной женщиной, если спускающийся в лимбо ныряльщик оживит эту анимограмму лучом своего внимания. Мало того, Великая Мышь может таинственным образом воздействовать на самого этого ныряльщика. Теперь понимаешь?

— Не до конца.

— Когда ваша прошлая Иштар стала Великой Мышью, она первым делом выцедила всю красную жидкость из своего мертвого тела. И превратила ее в препараты. Чтобы им с Энлилем хватило на всю жизнь. А Энлиль из любви к ней стал ныряльщиком. И проводил дни и ночи в лимбо с ее анимограммой. Вернее, с ней самой — потому что для Великой Мыши невозможно разделить анимограмму и живую сущность.

У меня возникло мрачное предчувствие.

— Но Великая Мышь ведь на самом деле не в лимбо? — спросил я. — Она ведь в реальном мире? Она жива?

— Про Великую Мышь нельзя сказать ничего определенного. О ней могут судить только величайшие из undead. Говорят, что ее человеческая голова переживает все происходящее с ее анимограммой. Днем Иштар следила за миром в качестве Великой Мыши, а когда засыпала, она опять превращалась в ту девушку, которую любил Энлиль. И они встречались на цветущем лугу своей юности...

— Повезло мужику, — сказал я.

— Повезло, — согласилась Софи, даже не заметив моего сарказма. — У него до старости лет была юная возлюбленная. Потому что анимограммы не старятся. И они превратили самое жуткое из пространств в подобие дома свиданий. Вампирам, Рама, иногда свойственно подлинное величие...

Я почувствовал себя совсем плохо. Уже не предчувствия, а предельно ясные выводы и железобетонные определенности следовали из ее слов — а я все пытался не пустить их в свое сознание. Но сопротивляться дальше было невозможно.

— Ты хочешь сказать, что Гера... То есть Иштар послала меня учиться на ныряльщика именно поэтому?

Софи засмеялась.

— Ну вспомни сам. Она укусила Энлиля, чтобы принять дела. А уже через минуту велела тебе ехать учиться на ныряльщика. Ты способен проследживать простейшие причинно-следственные связи?

Я попытался снова обнять ее за шею, но она поймала мою руку и отвела ее в сторону — деликатно, но твердо.

— Способен, — вздохнул я. — Что, я тебе разонравился?

— У тебя есть девушка, — сказала она. — И эта девушка тебя ждет.

— Это не девушка, а анимограмма, — ответил я. — Сплошной ужас просто.

Софи пожала плечами.

— Ты вампир. С великой властью приходит и ноша. Каждый из нас несет свой гроб.

— Что-то мне не нравится такая версия личной жизни, — сказал я. — Как будто мне надо нырять в омут, на дне которого плавают отрывной календарь с одной и той же мертвой телкой. И мне теперь предстоит листать его день за днем.

— Это не календарь, — сказала Софи. — Она будет жива настолько же, насколько будешь жив ты. Самое интересное...

Софи задумалась.

— Что? — спросил я.

— Она не обязательно будет помнить, что умерла и находится в лимбо. Для Великой Мыши это возможность побыть той девушкой, чью голову она носит. Я думаю, ей это нравится. Все интересней, чем когда тебя доят с утра до вечера... И еще. Говорят, когда ныряльщик общается с могущественным существом класса undead, опыт сильно отличается от работы с простой анимограммой. Это настолько непредсказуемо действует на сознание, что даже непонятно, кто при этом календарь. Тебя самого начинают листать, как анимограмму. Великая Мышь не только сама умеет забывать, что она в лимбо. Она и тебя заставит забыть.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я подозрительно.

— Я давно решила стать ныряльщицей, — сказала Софи. — И собирала всю доступную информацию.

Она заложила руку за голову и уставилась в потолок. Сердце на ее плече перевернулось, превратившись в пару красных ягодичек — не знаю, разучивала ли она этот жест перед зеркалом, но символизм был предельно ясен. Я, однако, решил предпринять еще одну попытку — и попытался обнять ее. Она ударила меня по пальцам.

Мне показалось, что ей на самом деле не хочется сопротивляться — но

ее обязывает к этому непонятный аспект не то женской, не то вампирической этики. Я вдруг понял, что мне следует сказать.

— А ты можешь проявить величие духа?

— Это как? — с интересом спросила она.

— Можешь на время про все забыть?

Она задумалась.

— Ну, я, может, и могу... Но ты сам — разве сможешь?

— Я?

— Ты что, предашь свою Великую Мышь? Ради американской девчонки?

— Да с удовольствием...

Мне стало не по себе от этих слов. Но я тем не менее повторил:

— Легко...

Она поглядела на меня со странным чувством.

— Великая Мышь — ладно, — сказала она. — Но разве ты сможешь предать Геру?

Я почувствовал раздражение.

— Мне ее для этого не надо предавать. Это она сама меня предала. Во всяком случае, в физическом смысле. Знаешь, как я устал от...

У меня не хватило духу продолжить и вместо этого я провел пальцем по ее губам. Она не сопротивлялась.

— Но бедняжке было бы больно, — сказала она, — если бы она узнала. Очень больно.

— Ничего, — ответил я. — Мне тоже бывает больно.

— Тогда скажи вслух — «я отрекаюсь от Геры. Отрекаюсь ради тебя».

— Отрекаюсь, — сказал я. — С большим удовольствием.

— Смотри, — кротко и печально откликнулась Софи. — Это был твой свободный выбор.

Я понял, что мне удалось подобрать нужный шифр к замку — и теперь она больше не будет сопротивляться.

Как все-таки много на женщинах всяких крючков и застежек — даже на совершенно голых женщинах... И каждую нужно расстегнуть с заботой и вниманием, иначе ничего не выйдет...

Но это тоже биология, думал я, пока мои руки скользили по ее телу, ведь женщина должна быть уверена, что самец готов ради нее переносить невзгоды. Все намертво отлито в граните, который был когда-то жидкой магмой — этим схемам больше лет, чем континентам. Как наивен человек, полагающий, что может обмануть природу...

Гроб, хоть и двухместный, превращал знакомые операции с чужим

телом в нетривиальную инженерную задачу — и оттого переживались они особенно остро. Никогда, никогда прежде я не получал от акта любви такого наслаждения. Меня самого напугал стон, который я издал в самую ответственную минуту. Софи засмеялась.

— Как здорово, — расслабленно прошептал я. — Тебе хорошо?

Софи засмеялась еще громче, и мне почудились в ее смехе холодные тревожные нотки — словно льдинки, хрустящие в бокале с шампанским.

— Ага, — сказала она.

Лучше бы она этого не говорила. Таким тоном.

— Что случилось? — спросил я.

— Как что? Ты меня только что трахнул.

— Зачем ты так...

Она опять засмеялась — уже совсем ледяным и колючим смехом.

— Я ведь знаю, что ты думаешь о женщинах, Рама. Пещера, дубина...

— Кусать без разрешения подло, — сказал я. — Я полагал, тебе со мной просто хорошо...

— Хорошо? Да ты хоть знаешь, что женщина чувствует во время этой процедуры? Каково это?

Я уже не понимал, всерьез она или шутит.

— Почему не знаю, — сказал я. — Я кусал когда-то... Только уже забыл.

Она вдруг сжала мои плечи с невероятной силой.

— А я тебе напомним...

Меня охватил страх.

Происходило нечто странное. Какая-то моя часть понимала, что именно — и очень не хотела в этом участвовать. Но понимание было спрятано слишком глубоко. Мой разум не мог до него дотянуться.

Словно борец, победоносно прижимающий соперника к мату, Софи навалилась на меня всем своим весом. Давление было жутким — девушка ее комплекции не могла быть такой тяжелой.

— Вот так, — сказала она. — А потом еще вот так...

Оказавшись сверху, она вытянула руки в стороны и стала бить по краям гроба руками, как птица крыльями.

Ее удары становились все сильнее — как и мой ужас. Творилось что-то невероятное — по физическим законам она должна была разбить себе руки в кровь, но вместо этого затрещали и покосились, а потом и совсем сломались стенки гроба.

А затем мой страх прошел.

Вдруг поменялась перспектива того, что я видел — и даже, кажется,

сила тяжести теперь тянула в другую сторону. Софи больше не лежала на мне, а как бы висела напротив, изо всех сил отталкивая меня взмахами рук.

И это, конечно, были уже не руки — а два огромных черных крыла, взмахивающих и опадающих в пустоте.

Меня отбрасывали не их удары, а ветер, который они поднимали. Я знал, что если ветер оторвет меня от Софи (а она к этому времени превратилась во что-то огромное, как бы стену, поросшую черной звериной шерстью, в которую я вцепился), мне конец. Но ее лицо до сих пор было передо мной — и я мог попросить ее не убивать меня.

— Софи! Пожалуйста!

Она мстительно засмеялась. И тогда я понял — или, скорее, вспомнил, — что это не Софи.

Это была Гера.

Мои пальцы разжались, и очередной взмах черных крыльев отбросил меня в пространство. Но теперь я уже не боялся. Я знал, что сейчас произойдет. Ко мне постепенно возвращалась память.

Несколько секунд мне казалось, что я хаотично кувыркаюсь в пустоте. А потом я постепенно начал ощущать свое настоящее тело.

Я висел вниз головой, перекинув ноги через перекладину — как в хамлете. Но это был не хамлет. Это была...

Я окончательно все вспомнил за секунду до того, как открыл глаза. И эту долгую-долгую секунду я набухал невыносимым стыдом, зная, что открыть глаза все-таки придется.

Сейчас была уже не середина нулевых, когда я ездил учиться на ныряльщика. Стояло второе десятилетие двадцать первого века.

Это было мое служебное рандеву с Герой.

Очередное.

Где я опять ей изменил.

Правда, с ней же самой.

Я изменял ей на каждом нашем свидании. Иногда с Софи, которой на самом деле не видел уже несколько лет. Иногда с другими фантомами. Гера умела находить в моей памяти множество разных личин. Но моя встреча с Софи в замке Дракулы была ее любимым аттракционом.

Почти всегда она требовала, чтобы я отрекся от нее — и я это делал, иногда в шутку, а иногда всерьез. И каждый раз за этим моментом следовало пробуждение. И необходимость открыть глаза. Вот как сейчас.

Я открыл их.

Я висел в будуаре Великой Мыши — на серебряной перекладине, похожей на огромное стремя. Прямо передо мной, всего в метре, было лицо

Геры — оно покачивалось в центре перламутровой раковины на длинной покрытой шерстью ножке. Ее глаза были закрыты, а на губах застыла мечтательная улыбка. Из угла ее рта к моему локтевому сгибу тянулась тонкая, как нить, серебристая трубка.

Я вытащил тончайшую иглу из своей руки.

— Гера, — хрипло прошептал я. — Я не хочу, чтобы каждый раз...

Она еле заметно качнула головой, приказывая мне молчать.

— Спасибо, милый. Было чудно. Каждый раз заряд бодрости на неделю. Без тебя я никогда не узнала бы, что у подлости есть такие глубины...

— Зачем ты постоянно это повторяешь? — спросил я. — Ну хорошо, накажи меня. Накажи как хочешь строго. Но только один раз.

— Наказать? Как же, интересно, тебя наказать?

Она задумалась.

— Есть вариант. Хочешь, посадим тебя в тюрьму?

— В каком смысле? — спросил я.

— В прямом.

— За что?

— А за стихи.

— Какие?

— Которые я у тебя в башке нарыла, Рам. Вот это, например...

Она растянула рот до ушей, выкатила глаза (что должно было, видимо, изображать меня) и писклявым голосом кастрата продекламировала:

— А счастье — вот: чего еще желать?

Под мягким психотропным веществом

В простом гробу с любимым существом

Лежать, молчать и ничего не ждать...

Мне хотелось только одного — провалиться под землю. Но я и без того находился под ней очень глубоко — вряд ли такое было возможно.

— Ты тут нормально так наговорил, — продолжала Гера. — Пропаганда наркотиков — раз. Пропаганда самоубийства — два. А если еще напомнить прокурору, что у тебя любимое существо — undead, тогда вместе с некрофилией сядешь лет на десять... Ты ведь русский человек — объяснять, что с твоей жопой на зоне будет, не надо?

— Это непорядочно, — сказал я тихо. — Заглядывать в чужие наброски. А под психотропным веществом я имею в виду баблос. Которого

уже год не видел. Другие наркотики меня не интересуют.

— Вот на суде прокурору и скажешь... Ладно, не бойся, гаденыш. Шучу. Жду тебя следующий раз через...

Она глянула на одну из жидкокристаллических панелей, которыми были покрыты стены — туда, где мерцали календарные цифры с разноцветными пометками.

— В пятницу на той неделе. У меня окошко будет. Как раз снова соскучусь по твоему черному лживому сердцу. А сейчас пшел вон.

Ничего говорить в ответ не следовало.

Стараясь сохранять достоинство, я слез с перекладины на пол.

— Да, — сказала она, — чуть не забыла. Стихи у тебя полное говно.

Я поклонился и вышел.

За дверью стояли высшие вампиры — Энлиль Маратович, Мардук Семенович и Ваал Петрович. Я часто встречал их в этом тупичке у перламутровой двери. Они всегда старались попасть на прием к Великой Мыши сразу после ее свидания со мной — в надежде на благоприятный гормонально-нейротрансмиттерный фон, который я должен был обеспечивать.

— Ну? — спросил Мардук Семенович. — Как наша тьма?

— Добрая сегодня, — сказал я.

— Сколько раз плевала?

— Ни разу.

Мардук Семенович и Ваал Петрович переглянулись.

— Что, ни разу вообще?

Я отрицательно покачал головой.

— Я ж говорю, добрая. Реально добрая.

— «Милый» говорила?

— Да.

— Энлиль, — сказал Мардук Семенович озабоченно, — дай тогда я первый пройду? А то ты ее опять загрузишь. У меня...

— Знаю, — ответил Энлиль. — Иди.

Мардук Семенович благодарно наклонил рыжую голову — и исчез за перламутровой дверью.

Я поплелся по коридору прочь. Через несколько шагов меня нагнал Энлиль Маратович.

— Рама, — сказал он, — на два слова.

Я угрюмо кивнул.

Мы зашли в следующую алтарную комнату, где было устроено что-то вроде зала ожидания. Я еще помнил дни, когда здесь были покои живой

Иштар — а сейчас на меня смотрела ее незрячая голова. Старушка выглядела почти как на своих похоронах, только ее волосы были сложены в возвышающийся над головой серебряный полумесяц.

Как зыбок и непостоянен мир...

Энлиль Маратович с преувеличенной вежливостью пропустил меня вперед, и я совсем не удивился, почувствовав легкий укол в шею. Он давненько меня не кусал. Что было даже странно, если принять во внимание лежавшую на мне ответственность.

Мы сели в стоящие у стены кресла.

— Ну что, — сказал Энлиль Маратович. — Неплохо выступаешь...

— Какое неплохо, — ответил я мрачно. — Один и тот же сон практически. Уже полгода.

— Значит, хозяйке нравится, — сказал Энлиль Маратович. — Должен быть счастлив.

— Я никогда не понимаю, что это Иштар. И она все время требует, чтобы я от нее отрекся. А я...

Я горестно махнул рукой.

— Она полное право имеет говорить, что я подлец.

Энлиль Маратович тихонько засмеялся, а потом посмотрел на засушенную голову Иштар за ограждением из бархатных канатов (ей оставили всего квадратный метр площади — остальное место было занято креслами для ожидающих аудиенции).

— Эх, молодежь, — сказал он. — Какие же вы все-таки романтики. Чистые, смешные. За что вас и любим. А у меня, думаешь, с Борисовной по-другому было?

Он заговорщически подмигнул мумифицированной голове.

— Мне одна ее служанка нравилась. Так Борисовна, когда поняла, стала ею оборачиваться. И вместе со мной яд готовила. Как бы для головы Иштар. Ну то есть для себя самой. Чтоб я ей, значит, в ухо влил, как папе Гамлета. А потом мы с ней обсуждали, как мы эту тварь заплесневелую вместе отравим, голову ей подменим и заживем. И так десять лет, каждый раз перед интимом... Можешь представить? Знаешь, каково мне просыпаться было? Вот на этом самом месте?

— Но зачем так надо? Неужели нельзя по-нормальному? Почему она не может быть просто Герой?

— Ты не понимаешь, — сказал Энлиль Маратович. — Не понимаешь, что такое Великая Мышь.

— Чего именно я не понимаю?

— У Великой Мыши весьма специфическая роль по отношению к

людям. Не вполне альтруистическая, скажем так.

— И что?

— А то, что ей — во всяком случае, ее голове — нужно постоянно убеждаться в том, как люди подлы и бессердечны. Тогда ее... м-м-м... функция по отношению к ним оказывается морально оправданной. Ты замечал, что Иштар, вынуждая тебя совершить измену или подлость, всегда обращается к твоему... Как бы это сказать... Очень человеческому аспекту?

Такого я не ожидал. Но он, пожалуй, был прав.

— Вот и ответ, — продолжал он. — Ты знаешь, что мы делаем с людьми. Вернее, что люди делают с собой по нашей команде. Они сгорают как дрова в полной уверенности, что сами выбрали свою жизнь и судьбу. Великая Мышь — наша невидимая домна. Именно на ней замыкается вся бессмысленная людская суета. Она и есть та черная дыра, где пропадают их жизни. Один из ее титулов — Вечная Ночь. А ты ее любовник. Кавалер Ночи. Можно сказать, принц-консорт. И ты ей нужен именно как вероломный человек. Теперь понимаешь?

— У нее появляется повод для мести людям?

Энлиль Маратович наморщился, словно я сказал непристойность.

— Я бы так не формулировал. Просто она каждый раз находит в вашем общении новое подтверждение тому, что люди не заслуживают иной судьбы. Ей постоянно нужна свежая обида на человечество в качестве своеобразного психического витамина. Ты пока отлично справляешься. Так что не бери в голову.

— И что, я так и буду ее предавать раз за разом?

Энлиль Маратович кивнул.

— Я когда-то пытался перестать, — сказал он. — Думал, вот-вот научусь контролировать погружение. Но Иштар сильнее. Лимбо — это ее дом. Как ты ни старайся, ты будешь видеть только то, что она захочет.

— А кто в ней этого хочет? — спросил я. — Гера или Иштар?

Энлиль Маратович посмотрел на меня с интересом.

— Никто не может сказать, где начинается Гера и кончается Иштар, — сказал он. — Но, как профессионал профессионалу, скажу, что у Иштар нет особых желаний. Или, вернее, они подобны ветру, который дует всегда в одном и том же направлении. Ты сам знаешь куда.

Я не был уверен, что знаю это, но на всякий случай промолчал.

— У Геры еще остаются человеческие желания и мысли, — продолжал он, — но сильно начудить она не может. Когда ее человеческие желания достигают определенной интенсивности, в ней пробуждается Великая

Мышь. Так что отделять их друг от друга непродуктивно.

— Понятно, — сказал я. — Спасибо за науку.

Энлиль Маратович улыбнулся.

— Пожалуйста.

— Я тогда поехал отсыпаться, — сказал я. — Завтра весь день дрыхнуть буду.

— А вот этого, боюсь, не получится, — вздохнул Энлиль Маратович. — У нас совещание с халдеями. Прямо утром.

— Какое совещание? Зачем?

— Прием по линии календарного цикла. Ты как консорт и Кавалер Ночи должен присутствовать. Пора тебе входить в курс дел. Подключаться к важным вопросам.

— А что за календарный цикл?

— Вот завтра и узнаешь.



Ацтланский календарь

Энлиль Маратович давал халдеям аудиенцию в своем новом зале приемов. Встреча была формальной, потому что о ней попросили сами халдеи. Но я догадывался, что перед этим халдеев попросили попросить. Я все-таки был вампиром достаточно долго, чтобы понимать некоторые вещи без объяснений.

Мое присутствие имело не только церемониальный, но и символический смысл: оно должно было напомнить халдеям о том измерении, куда они рискуют отправиться, если их намерения недостаточно черны — или, что бывало гораздо чаще, недостаточно умны. Но вообще-то я подозревал, что это пустой ритуал. Из-за которого, однако, мне пришлось встать на целый час раньше.

Энлиль Маратович был одет подчеркнуто официально — в черный смокинг и черную шелковую косоворотку с бледно-лиловой пуговицей на горле. Это ему шло.

— Ты здесь еще не был, — сказал он. — Нравится?

Новый зал приемов впечатлял. Он был огромен — и сразу подавлял пустотой и холодом. Бронза и темный камень, которыми он был отделан, создавали ощущение смутной имперской преемственности, крепкой, как скала, но недостаточно расшифрованной для того, чтобы можно было предъявить конкретные претензии морального или юридического плана.

Я не бывал в старом зале — но говорили, что он давно уже не производит впечатления на халдеев, которых должен подавлять и смирять. Он не впечатлял даже уборщиков. Они называли его «мутным глазом» и «планетарием» из-за ретрофутуристического дизайна с космической символикой, что, конечно, в наши дни выглядело нелепо (зал построили в шестидесятые годы прошлого века, когда человечеству снились совсем другие сны).

Новый зал был строг, современен — и устремлен в будущее.

У дальней стены возвышался помост с массивным тронем из черного базальта. Его спинкой служила древняя плита с барельефом, изображающим двухголовую летучую мышь (я в первый момент вообще не понял, что это мышь, приняв ее за двусторонний топор). Плиту, как объяснил Энлиль Маратович, нашли в Ираке — и передали в дар России из-за стратегических аллюзий на государственную символику.

В троне была система электрического подогрева, потому что иначе

сидеть на базальте было очень холодно — «почкам пиздец», как совсем по-человечески пожаловался Энлиль Маратович. Что значила двухголовая мышь в символическом плане, я не решился спросить — наверняка мне следовало знать это самому. Не хотелось лишний раз показывать прорехи в образовании.

По краям базальтового сидалища стояли две бронзовые скульптурные группы, создававшие в пустом зале ощущение многолюдия — как бы жадной толпы, симметрично суевающейся у трона. Скульптуры весьма сильно различались, но из-за сходства их контуров это делалось заметно не сразу.

— Посмотри, пока время есть, — сказал Энлиль Маратович. — Интересно, что скажешь.

Первая скульптура называлась «Сизиф».

Согнувшийся вихрастый пролетарий выдирает бронзовый булыжник из невидимой мостовой, а вокруг кольцом лежали, стояли, сидели, нависали и даже подползали снизу не меньше двадцати журналистов с разнообразнейшей бронзовой оптикой — часть снимала крупным планом булыжник, часть самого прола, а часть пыталась сделать такой кадр, чтобы попали и булыжник, и вихрастая голова. Было непонятно, куда пролетарий собирается обрушить свой гневный снаряд — куда ни кинь, всюду были одни видеооператоры.

Это, если я правильно помнил халдейское искусствоведение, был образец так называемого «развитого постмодернизма». На булыжнике виднелась мелко выгравированная надпись. Я нагнулся и прочел ее:

Трансляция происходящего вовсе не доказывает, что оно происходит.

Это, конечно, было очевидно сразу во многих смыслах — но я сомневался, что надпись попадет хоть в одну из двадцати бронзовых телепередач. Не докинёт мужик.

Вторая скульптура называлась «Тантал».

Это был роденовский мыслитель, отлитый в одном масштабе с метателем булыжника. Вокруг него располагалось такое же кольцо бронзовых наблюдателей — только в руках у них были не камеры, а джойстики от «Xbox» и «Playstation», провода от которых тянулись к его ушам, глазам, ноздрям, рту и даже паху.

Камень, на котором сидел мыслитель, походил на увеличенный

бульжник пролетария — и тоже был украшен мелкой надписью:

Понимание происходящего вовсе не означает, что у него есть смысл.

С этим тоже трудно было поспорить.

Скульптуры радовали глаз своей симметрией. Было в этом что-то надежное. Чем дольше я вглядывался в них, тем больше интересных деталей замечал. Из-за того, что метатель и мыслитель были в точности одного размера, начинало казаться, что это один и тот же человек в разных позах. Или даже в разных фазах одного движения — словно бронзовый пролетарий начал было революционный подъем, но что-то вдруг заставило его присесть и задуматься... И было понятно, в принципе, что именно: пролетарий был в штанах и ботинках, а мыслитель уже без.

Еще я заметил еле видные контуры двух огромных люков в потолке — наверно, чтобы при необходимости скульптуры можно было быстро сменить с помощью подъемного крана. В новом зале все было просчитано до мелочей.

— Ну как? — спросил Энлиль Маратович.

— Ничего, — сказал я. — Адекватно. Но как-то уж слишком по-человечески.

Энлиль Маратович засмеялся.

— Мы тоже в чем-то люди, Рама. И даже очень. Но мне интереснее, — он заговорил громким басом, — что скажут наши маленькие друзья, которые здесь впервые...

Обернувшись, я увидел, что депутация халдеев уже здесь. Они шли гуськом — как и требовал обычай. Кажется, так было заведено с древности, чтобы людям было труднее напасть на вампира. Они, конечно, не собирались нападать — но я вообще не заметил их приближения, что не делало мне чести. Пространство, которое халдеям следовало пересечь по пути к нам, было весьма обширным — и они напомнили мне ряженных, перебирающихся через замерзшую реку.

Я был знаком со всеми приглашенными — и опознал каждого, хоть они и закрывали лица золотыми масками.

Впереди семенил крошечный худой халдей в расшитой васильками хламиде. Это был начальник дискурса профессор Калдавашкин. Он любил кутаться в простенький ситчик в цветочках. Говорили, что он перенял эту манеру у позднесоветского халдея Суслова, ставшего вампиром после

сорока лет — что обычно не практикуется. Видимо, Калдавашкин деликатно намекал на награду, которой ожидал за свой ежедневный труд.

Вторым шел халдей в зеленом шелковом халате и ритуальной юбке из крашеной овчины — тоже зеленой, но чуть другого оттенка, из-за чего возникал еле заметный, тонкий и чрезвычайно изысканный из-за своей простоты контраст, который в первый момент казался нестыковкой — и только потом согревал эстетический нерв. В его волосах было как бы несколько горностаевых коков — выбеленных прядей, кончающихся черной точкой, а на лице сверкала новенькая золотая маска Гая Фокса, мегапопулярная среди молодящихся халдеев. Так мог выглядеть только начальник гламура Щепкин-Куперник.

Третьим шел здоровый рыжебородый детина в чем-то вроде грязной ночной рубашки. Его маску покрывали тусклые пятна — видно было, что он никогда ее не чистит. Такое небрежение выглядело бы прямым хамством, если бы не профессия третьего халдея. Это был начальник провокаций Самарцев — и он, конечно, провоцировал нас своим внешним видом. В отличие от первых двух халдеев его трудно было назвать «маленьким другом» из-за габаритов. Но я допускал, что Энлиль Маратович провоцирует его в ответ, намекая, что он нам вовсе и не друг.

— Снимайте маски, — сказал Энлиль Маратович, — я хочу глаза видеть. Что думаете? Щепкин, что шепчет гламурное сердце?

— Гламурное сердце шепчет о вечности, — певуче отозвался Щепкин-Куперник, оглядывая статуи. — О ее скрытых хозяевах, которым мы имеем счастье служить, и о мелкой человеческой суете, не помнящей своего начала и не ведающей конца...

Энлиль Маратович скривился — нельзя было сказать, что недовольно, но и не особо одобрительно.

— Самарцев?

— Все верно, — пробасил Самарцев. — Булыжник — оружие пролетариата, а видеоряд — оружие финансовой буржуазии. Вот только насчет джойстиков не до конца ясно. Будем думать.

— Ваше слово, товарищ дискурс, — сказал Энлиль Маратович, поворачиваясь к Калдавашкину.

Я давно заметил, что при общении с халдеями у него прорезаются ухватки не то полуграмотного секретаря обкома, не то высокопоставленного бандита. Видимо, это был оптимальный модус поведения, которого следовало держаться и мне самому. Но это было непросто.

Калдавашкин приблизился к статуям и деликатно коснулся затылка

одного из бронзовых журналистов.

— Я тут перечитывал комментарии к «Воспоминаниям и Размышлениям» нашего всего, — сказал он. — Там разбиралась одна интересная, но спорная мысль. Если мы взглянем на текущую перед нами реку жизни, мы увидим людей, занятых тем, что они принимают за свои дела. Но если мы проследим, куда река жизни сносит этих людей и что с ними происходит потом, мы в какой-то момент увидим совсем других людей, занятых совсем другими делами — которые вытекли из прежних людей и дел, но уже не имеют с ними ничего общего. То же самое случится с новыми людьми и их делами. Так происходит от века. В каждую секунду у происходящего вроде бы есть ясный смысл. Но чем больший временной промежуток мы возьмем, тем труднее сказать, что в это время происходило и с кем... Однозначно можно утверждать только одно — выделилось большое количество агрегата «М5», чтобы превратиться... Впрочем, здесь скромность велит мне умолкнуть.

— Это хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — И что дальше?

— Река жизни, — продолжал Калдавашкин, — все время пытается избавиться от самой себя, но не может. Мир меняется потому, что убегает от своей жуткой сути — и контрабандно проносит себя же в будущее. Река не может вытечь из себя насовсем. Она может только без конца меняться. Но хоть и говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, ее суть остается той же самой — как первая скульптура неотличима от второй. И всегда сохраняется полный энтузиазма напор, зазорное давление живой жизни, которое крутит турбины тайной электростанции. Пусть говорят, что это уже другая река — для тех, кто в теме, она все та же. А на крутом ее берегу стоит этот черный трон — величественный и прекрасный. Единственная неизменность в изменчивом человеческом мире.

— Нормально, — кивнул Энлиль Маратович. — Молодец. Чувствуется, что начальник дискурса — я вообще ни хера не понял. А про реку жизни можно объяснить проще.

Калдавашкин склонился в полупоклоне, изображая почтительное внимание.

— Типа анекдот, — сказал Энлиль Маратович. — Умирает старый раввин. Вокруг собралась паства и просит: ребе, скажите мудрость на прощание. Раввин вздыхает и говорит: «Жизнь — это река». Все начинают повторять «жизнь — это река...» Потом какой-то маленький мальчик спрашивает: «А почему?» Раввин еще раз вздыхает и говорит: «Ну, не река...»

Халдеи вежливо засмеялись.

Этот анекдот я слышал раз двадцать. Кажется, Энлиль Маратович рассказывал его халдеям при каждой официальной встрече. На каждом капустнике — совершенно точно.

— Запомни, Калдавашкин, — сказал Энлиль Маратович, — дискурс должен быть максимально простым. Потому что люди вокруг все глупее. А вот гламур должен становиться все сложнее, потому что чем люди глупей, тем они делаются капризней и требовательней...

Он повернулся к халдеям спиной, поднялся к черному базальтовому трону и сел на него. И сразу превратился в другого человека — в его лице появилось грозное недовольство, словно у маршала Жукова перед битвой.

— Излагайте, — сказал он. — Но быстро и коротко. Я знаю, что вы умные. Докажите, что от вашего ума есть хоть какая-то польза. Ну?

Халдеи переглянулись, словно решая, кто будет говорить. Как я и ожидал, вперед шагнул Калдавашкин.

— Не секрет, что дискурс в России сегодня пришел в упадок, — сказал он. — То же касается и гламура. В результате они уже не могут в полном объеме выполнять свои надзорно-маскировочные функции. Дискурс кажется не храмом, где живет истина, а просто речитативом бригады наперсточников. От гламура начинают морщиться. Что еще хуже, над ним начинают потешаться. Упадок настолько глубок, что нам все сложнее держать человеческое мышление под контролем.

— А в чем проблема? — спросил Энлиль Маратович.

— Плохо с принудительным дуализмом.

— Чего? — наморщился Энлиль Маратович.

— Это проще всего пояснить по Лакану, — затараторил Калдавашкин. — Он учил, что правящая идеология навязывает базовое противоречие, дуальную оппозицию, в терминах которой люди обязаны видеть мир. Задача дискурса в том, чтобы сделать невозможным уход от принудительной мобилизации сознания. Исключить, так сказать, саму возможность альтернативного восприятия. Это абсолютно необходимо для нормального функционирования человеческих мозгов. А у нас с принудительным дуализмом совсем плохо. В результате смысловое измерение, которое должно быть запретным и тайным, зияет во всех дырах. Оно без усилий видно любому. Это фактически катастрофа...

Энлиль Маратович жалобно вздохнул.

— А проще можно?

Калдавашкин секунду думал.

— Помните профессора Преображенского в «Собачьем сердце»? Его просят дать полтинник на детей Германии, а он говорит — не дам. Ему

говорят — вы что, не сочувствуете детям Германии? Он говорит — сочувствую, но все равно не дам. Его спрашивают — почему? А он говорит — не хочу.

Энлиль Маратович сделал серьезное лицо и обхватил подбородок руками.

— Продолжай.

— У Булгакова это показано как пример высшей номенклатурной свободы, вырванной у режима. Тогда подобное поведение было немыслимым исключением и привилегией — потому-то Булгаков им упивается. А для остальных дискурс всегда устроен таким образом, что при предъявлении определенных контрольных слов они обязаны выстроиться по росту и сделать «ку». Мир от века так жил и живет. В особенности цивилизованный. А вот Россия сильно отстает от цивилизации. Потому что здесь подобных слов уже не осталось. Тут каждый мнит себя профессором Преображенским и хочет сэкономить свои пятьдесят копеек. Понимаете? Дискурс перестал быть обязательной мозговой прошивкой. У людей появилось слишком много внутренней пустоты. В смысле люфта. Когда тяги внутри гуляют...

— Все равно не понимаю, — повторил Энлиль Маратович. — Народней объяснить можешь?

Калдавашкин думал еще несколько секунд.

— У китайских даосов, — сказал он, — была близкая мысль, я ее своими словами перескажу. Борясь за сердца и умы, работники дискурса постоянно требуют от человека отвечать «да» или «нет». Все мышление человека должно, как электрический ток, протекать между этими двумя полюсами. Но в реальности возможных ответов всегда три — «да», «нет» и «пошел ты нахуй». Когда это начинает понимать слишком много людей, это и означает, что в черепах появился люфт. В нашей культуре он достиг критических значений. Надобно сильно его уменьшить.

Энлиль Маратович благосклонно улыбнулся Калдавашкину.

— Вот теперь сформулировал. Можешь, когда хочешь... Продолжай.

— В нормальном обществе возможность ответа номер три заблокирована так же надежно, как третий глаз. А у нас... Все стало необязательным. В результате роль гламура и дискурса делается понемногу заметна. Мало того, они начинают восприниматься как нечто принудительно навязанное человеку...

— Ну и что? — спросил Энлиль Маратович. — В конце концов, так оно и обстоит. Пусть муссируют.

— Разумеется, — поклонился Калдавашкин. — Но такое положение не

может сохраняться долго. Если магическая ограда становится видна, она больше не магическая. То есть ее больше нет — и бесполезно делать ее на метр выше. Нам нужно вывести гламур и дискурс из зоны осмеяния...

Энлиль Маратович вдумчиво кивнул.

— Чтобы дискурс и гламур эффективно выполняли свою функцию, человек ни в коем случае не должен смотреть на них критически, тем более анализировать их природу. Наоборот, он как огня должен бояться своего возможного несоответствия последней прошивке. Он должен сосредоточенно совершенствоваться в обеих дисциплинах, изо всех сил стараясь не оступиться. Это стремление должно жить в самом центре его существа. Именно от успеха на данном поприще и должна зависеть самооценка человека. И его социальные перспективы.

— Согласен, — сказал Энлиль Маратович. — Внесите в гламур и дискурс требуемые изменения. Не мне вас учить.

— Сегодня мы уже не можем решить эту проблему простой корректировкой. Мы не можем трансформировать гламур и дискурс изнутри.

— Почему?

— Как раз из-за этого самого люфта. Нужно сперва его убрать. Взнуздать людям мозги. Любым самым примитивным образом. Показать им какую-нибудь тряпку на швабре и потребовать определиться по ее поводу. Жестко и однозначно. И чтоб никто не вспомнил про третий вариант ответа.

Энлиль Маратович некоторое время думал.

— Да, — сказал он. — Тут есть зерно. Но как этого добиться?

— Нужно временно добавить к гламуру и дискурсу третью силу. Третью точку опоры.

— Что это за третья сила? — подозрительно спросил Энлиль Маратович.

— Протест, — звучно сказал Самарцев.

— Да, — повторил Калдавашкин, — протест.

— Нам нужен шестьдесят восьмой год, — шепнул Щепкин-Куперник.

— Шестьдесят восьмой — лайт, — добавил Самарцев.

Лицо Энлиля Маратовича покраснело.

— Вы что, хотите, чтобы я танки ввел?

— Наоборот, — поднял палец Самарцев. — Студентов.

— Но зачем? Собираетесь устроить хаос?

— Энлиль Маратович, — сказал Самарцев, — мы не выходим за рамки мирового опыта. Все идеологии современного мира стремятся занять такое

место, где их нельзя подвергнуть анализу и осмеянию. Методов существует довольно много — оскорбление чувств, предъявление праха, протест, благотворительность и так далее. Но в нашей ситуации начать целесообразно именно с протеста.

Калдавашкин деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание.

— Кто-то, помнится, сказал, — промолвил он, жмурясь, — что моральное негодование — это техника, с помощью которой можно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Именно к этому мы и должны стремиться.

— Вот-вот, — отозвался Самарцев. — Сегодня всякий готов смеяться над гламуром и дискурсом. Но никто не посмеет смеяться над благородным негодованием по поводу несправедливости и гнета, запасы которых в нашей стране неисчерпаемы. Гражданский протест — это технология, которая позволит поднять гламур и дискурс на недостижимую нравственную высоту. Мало того, она поможет нам наделить любого экранного дрочила чувством бесконечной моральной правоты. Это сразу уберет в черепных коробках весь люфт. А вслед за этим мы перезапустим святыни для остальных социальных страт. Чтобы везде горело по лампадке. Мы даже не будем чинить ограду. Публика все сделает сама. Не только починит, но и покрасит. А потом еще и разрисует. И сама набьет себе за это морду...

Энлиль Маратович поскреб пальцем подбородок.

— Давайте по порядку. Что думает гламур?

Щепкин-Куперник шаркнул ножкой.

— Полностью согласен с прозвучавшим. Начинать надо с протеста — и вовлекать в него бомонд. Это позволит мобилизовать широкие слои городской бедноты.

— Каким образом? — спросил Энлиль Маратович.

Щепкин-Куперник сделал шаг вперед.

— Участие гламурного элемента, светских обозревателей и поп-звезд одновременно с доброжелательным вниманием СМИ превратит протест в разновидность conspicuous consumption^[14]. Протест — это бесплатный гламур для бедных. Беднейшие слои населения демократично встречаются с богатейшими для совместного потребления борьбы за правое дело. Причем встреча в физическом пространстве сегодня уже не нужна. Слиться в одном порыве с богатыми и знаменитыми можно в Интернете. Управляемая гламурная революция — это такое же многообещающее направление, как ядерный синтез...

— Не говори красиво, — сказал Энлиль Маратович. — Что значит — гламурная революция? Ее что, делают гламурные бляди?

— Нет. Сама революция становится гламуром. И гламурные бляди понимают, что если они хотят и дальше оставаться гламурными, им надо срочно стать революционными. А иначе они за секунду станут просто смешными.

— Ничего радикально нового здесь нет, — пробасил Самарцев. — Только хорошо забытое старое. Во время Первой мировой светские дамы ездили в госпиталь выносить за ранеными крестьянами утки. И наполняли себя благородным достоинством, вышивая кисеты для фронтовых солдат.

— Но тогда в этом не было элементов реалити-шоу, — сказал Калдавашкин. — А нам нужно именно непрерывное реалити-шоу, блестящее всеми огнями гламура и дискурса — но не в студии, а на тех самых улицах, где ходят зрители. Которое позволит наконец участвовать в реалити-шоу всем тем, кто искренне презирает этот жанр.

— Это будет реалити-шоу, — сказал Самарцев, — которое никто даже не посмеет так назвать. Потому что оно обнимет всю реальность, которую мы будем правильным образом показывать ей самой, используя зрителя не как конечного адресата, а просто как гигиеническую прокладку. И как только зритель почувствует, что он не адресат, а просто сливное отверстие, как только он поймет свое настоящее место, он и думать забудет, что кто-то пытается его обмануть. Тем более что ему будут не только предъявлять актуальные тренды, но и совершенно реально бить по зубам...

— И по яйцам? — строго спросил Энлиль Маратович.

— И по яйцам тоже, — сказал Самарцев. — Обязательно.

Халдеи заметно повеселели, решив, что если начальство шутит, идея уже почти принята.

Мне показалось, что я тоже должен подать голос.

— А как вовлечь в протест гламур? — спросил я.

— Нам не надо ничего делать, — пророкотал Самарцев. — Он втянется сам. С гламурной точки зрения протест — это просто новая правильная фигня, которую надо носить. А не носить ее — означает выпасть из реальности. Какие чарующие и неотразимые сочетания слов! Политический жест... Самый модный оппозиционер... Стилистическое противостояние...

— Но как все удержать под контролем? Вдруг это начнет вот так... — Энлиль Маратович сделал сложное спиральное движение руками, — и перевернет лодку?

— Нет, — улыбнулся Калдавашкин. — Любая гламурная революция безопасна, потому что кончается естественным образом — как только протест выходит из моды. Когда новая правильная фигня перестанет быть

модной, из реальности начнут выпадать уже те, кто до сих пор ее носит. Кроме того, мы ведь не только поп-звезд делаем революционерами. Мы, что гораздо важнее, делаем революционеров поп-звездами. А какая после этого революция?

— Они про правильную прическу будут больше думать, чем про захват телеграфа, — добавил Щепкин-Куперник.

— Не телеграфа, а твиттера, — поправил Самарцев.

— Это вы мне сейчас говорите, — сказал Энлиль Маратович. — Всякие красивые слова. А на моделях вы просчитали?

— Так кто же нам разрешит расчеты делать, — ответил Самарцев. — Без вашей-то визы? Понять могут неправильно. Решат, что мы без согласования...

— Правильно, — согласился Энлиль Маратович и подозрительно уставился на Самарцева. — Без согласования бунт не начинают. Даже и думать об этом нельзя. А вы, выходит, думаете. И уже долго. Когда я тебя кусал последний раз, а, Самарцев?

Тот не ответил.

Встав с трона, Энлиль Маратович подошел к халдею. Самарцев попятился — и, хоть я не видел его лица, я физически почувствовал его испуг. Я был уверен, что укус неизбежен. Но Энлиль Маратович меня удивил. Он примирительно поднял перед собой руки — и произнес:

— Ну-ну, чего уж так-то... Не хочешь, и не надо.

Самарцев пришел в себя.

— Кусайте, — сказал он.

— Зачем, — махнул рукой Энлиль Маратович. — Я тебе верю. От нас все равно никто не убежит. Ни наружу, ни внутрь, хе-хе...

Он медленно вернулся к базальтовому трону и опустился на его черную плиту. Только теперь я понял, на какой эффект рассчитана царящая в зале полутьма. Весь в черном, Энлиль Маратович слился с троном, и от него остался только желтый круг лица — который вдруг показался мне невыразимо древним, равнодушным и мертвым, словно парящая в ночном небе луна.

— Когда планируете первую волну? — хмуро спросила луна.

— Зимой, — сказал Калдавашкин. — Скоро уже.

— Хорошо, — кивнул Энлиль Маратович. — Начинайте расчеты. Недели две вам хватит?

— Конечно хватит, — ответил Самарцев. — В концептуальном плане уже готово. Только отмашки ждем.

— Работайте, — сказал Энлиль Маратович. — Но только чтоб

просчитали до полного затухания. Пока не уйдет под фон.

— Сделаем, — ухмыльнулся Самарцев. — И все продемонстрируем. До последнего кадра.

— Я подряд смотреть не буду, — наморщился Энлиль Маратович. — Вы что? Кухню свою на меня хотите вылить? Вы мне только последнюю фазу покажите. Куда выходить будем через восемь циклов и шесть ветвлений.

Я понятия не имел, о чем он говорит — но Калдавашкин, видимо, понял.

— Так далеко? — удивился он.

— Угу, — сказал Энлиль Маратович. — Дело-то ответственное. Надо понимать, к чему идем.

— Но на таких фракталах малая точность.

— Я в курсе, — ответил Энлиль Маратович. — Зато виден диапазон...

Самарцев и Калдавашкин уважительно склонили головы — причем мне показалось, что уважение было ненаигранным. Видимо, Энлиль Маратович сказал что-то хорошо им понятное — и очень точное.

— Чувствую длань могучего стратега, — прошептал сахарным голосом Щепкин-Куперник.

А это прозвучало приторно — и настолько, что все посмотрели на него с недоумением.

— Ладно, — вздохнул Энлиль Маратович, — идите прочь, лъстецы и сикофанты. Жду через две недели. Или раньше. Если успеете...

Он поднял руку. На черном фоне стал виден еще один желтоватый объект — его кулак, словно у Луны появился спутник. Энлиль Маратович распрямил пальцы и слегка качнул ими, как бы смахивая крошки со стола.

Халдеи склонились в поклоне, надели маски, выстроились друг за другом и гуськом попятились к выходу из зала, пересекая замерзшую реку в обратном направлении... Ну или не реку, думал я. Жизненный анекдот.

Несколько секунд мне казалось, что я вижу пущенный в обратном направлении фильм, показывающий их появление в Зале Приемов. Когда стало ясно, что Энлиль Маратович больше их не окликнет, они перешли с церемониального шага на обычный — и даже ненадолго повернулись к нам спинами перед тем как исчезнуть за дверью.

Энлиль Маратович встал с трона и потянулся.

— Вот так, — сказал он мне.

— Скажите, — спросил я, — они правда сами на такие темы размышляют? Типа взять и устроить революцию?

Он засмеялся.

— Нет, конечно. Есть куча способов показать им, в какую сторону грести. Причем так тонко, чтобы они считали, будто это их собственная инициатива.

— Я так и подумал, — сказал я. — А зачем такие сложности? Я имею в виду — темнить, прятаться? Почему нельзя просто дать им команду? Ведь это халдеи.

— Азы менеджмента, Рама, — сказал Энлиль Маратович. — Рабский труд непроизводителен. Раб на галере всегда гребет хуже, чем зомби, который думает, что катается на каноэ. Надо тебя в Калифорнию послать на стажировку... Если халдеи будут уверены, что это их собственная идея, они будут гораздо качественнее работать. С огоньком. Если угодно, с душой — которая на время проекта у них как бы появится...

— Угу, — сказал я. — Значит, это вы решили, что нам нужна революция?

— Не я, — ответил Энлиль Маратович. — Я таких вещей не решаю.

— А кто решает?

— История.

— История? — спросил я. — А как вы узнаете, чего она хочет? Через кого она отдает команды?

Энлиль Маратович поглядел на меня долгим взглядом — оценивающим и очень серьезным, словно колеблясь, открыть мне секрет или нет.

Он всегда делал так перед тем, как сказать что-то важное — хотя было непонятно, почему он до сих пор во мне сомневается, если может шарить по моей памяти как по своей собственной. Особенно странно это выглядело сегодня — после того, как он сам обещал что-то мне рассказать. Видимо, он валял дурака не только с халдеями.

— Ты помнишь последнюю лекцию Улла? — спросил он наконец. — Когда его спросили, кто такие ныряльщики-предсказатели?

Я кивнул.

— Улл ответил, что не знает, — продолжал Энлиль Маратович. — Он немного кривил душой. Он знает. Просто об этом не говорят со всеми.

— О чем именно не говорят? — спросил я.

— Уже много лет у вампиров есть доступ к одной из главных исторических хроник далекого будущего, — сказал Энлиль Маратович. — Она называется «Ацтланский Календарь». Это кодекс, который будет составлен примерно через семьсот лет после нашего времени на девяти языках, в том числе и на тогдашнем русском. В нем отмечены самые главные мировые события начиная с тысяча девятьсот сорок восьмого года.

По важнейшим странам мира. Соответственно, с этой даты проблемы с мировой историей для нас значительно упростились. Никаких проб и ошибок а-ля «тысяча девятьсот четырнадцать» или «тысяча девятьсот тридцать девять». Управление миром теперь сводится к тому, чтобы подгонять ход событий к сведениям, которые мы получаем из этого календаря. Теоретически говоря, физики утверждают, что мы при всем желании не сможем сотворить ничего другого. Но мы, веришь ли, ни разу и не пытались. Мы, наоборот, из всех сил стараемся сделать именно то, что должно случиться. Что не всегда легко. Это и есть конец истории, о котором пишут осведомленные халдеи.

— Но это же скучно, — сказал я. — Как можно жить, если уже есть готовый скрипт?

— Все не так просто как кажется, — ответил Энлиль Маратович. — Дело в том, что Ацтланский Календарь составлен после страшных катаклизмов, которые уничтожили... То есть уничтожат большую часть человеческой культуры. В календаре есть серьезные пробелы и неточности, потому что в будущем, к которому у нас есть доступ, от нашего времени осталось совсем мало свидетельств. Примерно как сохранилось бы от Рима, если бы под пеплом уцелело только два-три помпейских подвала.

— В будущем останутся вампиры?

Энлиль Маратович кивнул.

— Но вампирам не очень интересна история людей. Историки будущего кое-как восстановили ее по пережившим катаклизм крохам информации — и наполовину Ацтланские хроники состоят из их догадок. Многое из будущего видится настолько расплывчато, что указания хроник приходится расшифровывать. Чаще всего мы понимаем их смысл только после того, как все события произойдут. Кроме того, в Ацтланском Календаре могут быть и лакуны. Поэтому наше управление миром имеет только самый общий, фактически ритуальный смысл. Это как разгадывать катрены Нострадамуса и претворять их в жизнь...

— И что, по этому календарю в 2012 году у нас гламурная революция?

— Не знаю, — сказал Энлиль Маратович. — Это наше предположение. Я могу сообщить тебе дословно, что говорит про этот год Календарь Ацтлана.

Он вынул из кармана маленькую записную книжку и открыл ее.

— Это уже в переложении на современный русский... «Две тысячи двенадцать. Россия. Главное событие — „гроза двенадцатого года“, также известная как „революция пиздатых шубок“, „pussy riot“ и „дело Мохнаткина“, — гламурные волнения 2012 года, когда дамы света в знак

протеста против азиатчины и деспотии перестали подбривать лобок, и их любовники-олигархи вынуждены были восстать против тирана. Волнения закончились, когда небритый лобок вышел из моды. Были отражены в ряде произведений искусства — от полностью сохранившейся в древнем бомбоубежище пьесы Тургенева „Гроза“ до упомянутого в хрониках блокбастера „2012“, посвященного, вероятно, той же тематике...» Конец цитаты. Вот и все, что мы знаем. Много это или мало?

Я пожал плечами.

— Вот именно, — согласился Энлиль Маратович. — Нельзя сказать, что будущее известно в деталях. Но раз уж мы взяли на себя ответственность за ход истории, нам надо грамотно провести ее сквозь эти ворота. Это и просто, и очень сложно.

— Но какой смысл что-то делать, — спросил я, — если будущее все равно наступит?

— Как ты не понимаешь, — вздохнул Энлиль Маратович. — Раз Великий Вампир открыл нам часть своего плана, значит, доля ответственности за его осуществление лежит на нас. И будущее наступит в том числе и в результате наших усилий. Мы слуги Великого Вампира, Рама — и одновременно его ученики, пытающиеся разгадать великий замысел по имеющимся у нас обрывкам чертежа... Это захватывающая и страшная работа. Сегодня ты видел, как мы влияем на историю. Тонко. Почти незримо. Но тонкие воздействия — самые могущественные. Мы не контролируем мелочи. Мы следим, чтобы события вошли в определенный коридор, общие параметры которого нам известны. Мы почтительно помогаем Великому Вампиру, открывшему нам часть своего замысла. А о деталях история позаботится сама...

— А что это за «Гроза» Тургенева?

— Тургенева мы уже отработали. Этот как раз проще всего было.

— Но почему Тургенева? Может, Островского?

— Ты в школу ходил? «Гроза» Островского про то, как утопилась купеческая дочь. Про небритый лобок там нет.

— Я потому и подумал, что опечатка.

— В Ацтланском календаре не бывает опечаток, — сказал Энлиль Маратович. — Бывают лакуны. А это точно не лакуна.

— Почему?

— Потому, что пьесу эту реально в будущем нашли. Разве непонятно?

Я неуверенно кивнул. А потом спросил:

— А как ее тогда... отработали? Ведь Тургенев умер.

— Что, Тургеневых мало? Мы живого нашли, в Питере. Правда, не

Ивана, а Андрея, но нам-то без разницы. Дали ему денег, заказали текст по известным параметрам. Чтоб небритый лобок и бунт олигархов. Он и сочинил. Беккет, говорит, нервно курит в углу. Хуекет. Такое говно написал, что и ставить никто не захотел. Но мы ведь не обязаны ставить. Нам главное, чтобы она в будущее попала. Распечатали в сорока экземплярах и распихали по ближним халдеям. По всем, у кого свой бункер на случай атомной войны. И велели держать в бункере. Без объяснения причин. А одну копию даже заложили в специальную восьмидесятиметровую шахту, типа как капсулу времени. Может, это они ее бомбоубежищем и назвали. Какой-то экземпляр, короче, до будущего уже дошел. Понял, как с календарем работают?

— Понял, — ответил я. — Значит, олигархи восстанут?

— А вот это не факт, — сказал Энлиль Маратович. — Жизнь — не пьеса. Волнения какие-то, конечно, должны быть. Только делать все самим придется. Мирские свинки такие ссыкливые, что противно. На них максимум финансирование можно повесить.

— Мирские свинки? Это кто?

Энлиль Маратович наморщился.

— Не грузись раньше времени.

— Хорошо, — сказал я. — Мне другое интересно. Как можно заглянуть в будущее?

— Запросто, — ответил Энлиль Маратович. — Для величайших представителей класса undead — не таких, понятное дело, как ты, и даже не таких, как Иштар, — ни прошлого, ни настоящего, ни будущего нет. Они способны присутствовать сразу во всех этих трех временах. Стоящие на вершине нашей иерархии могут входить с ними в контакт. Если, конечно, великие undead этого хотят. Но такое бывает редко. Им не интересно с нами разговаривать. Они пребывают совсем в другом измерении, Рама. Совсем в другом модусе бытия. Поэтому из всего будущего мы получили только доступ к календарю, и то не бесплатно.

— А что там дальше, по этому Ацтланскому Календарю?

— Я не в курсе. Нам сообщают на год вперед. Иногда на три. Чтоб слишком долгих планов не строили. Что дальше, мы не знаем. Мы знаем только, чем кончится все вообще. Это нам показали.

— Чем?

— Не спрашивай, Рама. Ничего хорошего.

— Скажите, а?

— Я же говорю, не грузись. Как загрузишь, уже не выгрузишь. Никогда.

— Конец света?

— Если б один. Их там несколько разных. Как у твоих телепузиков — ред, грин, а потом еще и блю. И все самим делать. Хорошо хоть, не завтра и не послезавтра... Кстати, насчет телепузиков. Они уже здесь?

— Вчера звонили.

— Что делают?

— Ходят по клубам.

— Хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — Пусть расслабятся перед расшифровкой. Кедаев у тебя завтра?

— Завтра, — подтвердил я.

— Какой он у тебя по счету?

— Семнадцатый.

— Должно пройти нормально, — сказал Энлиль Маратович. — Опыт есть.

— Еще бы, — ответил я. — Все расслабляются, а я работаю. То здесь, то там.

— Я тоже каждый день работаю, — сказал Энлиль Маратович. — Кедаев — это важно, ты соберись. Я сам приду на расшифровку.

Я кивнул. А потом спросил:

— Слушайте, а насчет конца света... Это обязательно? Может, куда-нибудь... Ну, отвернуть?

Энлиль Маратович грустно усмехнулся.

— А куда ты отвернешь-то, Рама? Ты что, думаешь у нас руль есть? Нам только педали крутить разрешают. И то, между нами говоря, не всегда...



Семь Сатори

Очки Салавата Кедаева давали неприятный зеленоватый отблеск, и я совсем не видел его глаз. Но это расстраивало меня мало.

— Нравится? — спросил Кедаев. — Вы ведь здесь впервые?

— Да, — сказал я.

С первого взгляда казалось, что это место предназначено для людей, готовых сидеть в восточной манере на циновках. Но под разделявшим нас столом было углубление в полу, куда можно было комфортабельно и незаметно свесить ноги. На циновках валялись разноцветные подушки и элегантные конструкции, похожие на спинки стульев — на них можно было опереться спиной.

Перед террасой, где мы сидели, был разбит японский сад камней — о чем извещала аккуратная табличка. Но на мой вкус то, что я видел, больше напоминало фрагмент лунного пейзажа.

Крупный серый песок (или мельчайший гравий пепельного оттенка) был приведен в идеально ровное состояние — на его поверхности виднелись параллельные бороздки, оставленные метлами подметальщиков. В этой пустыне порядка и симметрии было лишь несколько островков грубой естественности — круглые пятна земли, заросшие мхом и травой. Из них торчали неровные замшелые глыбы.

— Ну наконец несут, — сказал Кедаев. — У них так подобрано время, чтобы мы успели немного полюбоваться садом и обменяться мнениями, не отвлекаясь. А теперь еда...

Сначала я услышал тихую музыку. Потом из-за края террасы появились воины в самурайском облачении. За ними шли люди в пестрых кимоно и белых головных повязках — с носилками в виде огромной черной рыбы на длинных ручках. За носилками следовали гейши с флейтами и цитрами — они и производили музыку. Замыкали колонну подметальщики — у них в руках были странные плоские метлы, похожие на грабли с множеством тончайших крючков. Они старательно разравнивали песок, приводя его в такой же вид, как до появления процессии.

В руках самого первого воина был штандарт, похожий на знак римского легиона, каким-то образом попавший в лапы японской военщины. Только вместо орла в металлическом круге сверкала рыба, а вместо букв «SPQR» были буквы «CCAT».

— Что это за CCAT? — спросил я.

— Специально такое неблагозвучие, — сказал Кедаев. — Чтоб мы ощутили свое интеллектуальное превосходство и посмеялись. Наверняка входит в счет. Их название — «Семь Сатори». Они очень гордятся тем, что у них самый дорогой суши-ресторан в мире. И берут за это дополнительную плату — особенно с нашего брата олигарха. Чтобы уж точно не ошибиться, что ресторан самый дорогой, ха-ха...

Носилки поставили на гравий напротив нашего столика. Гейши и прислужники сдвинули в сторону черный рыбий бок, совершили ряд замысловатых танцевальных движений, и между мной и Кедаевым начала расти сложная конструкция из лаковых коробочек, тарелок, соусниц и чашек.

Одна из прислуживающих гейш поклонилась и спросила Кедаева:

— Доворен ри поверитерь?

— Видите, — сказал Кедаев, даже не глядя в ее сторону, — и акцент у них японский. Чтоб не думали, что казашек набрали.

Гейша еще раз поклонилась.

— Поверитерь не хочет посрушать фрейту?

— Нет, — наконец отозвался Кедаев. — У повелителя серьезный разговор, так что лучше бы вам всем побыстрее удалиться.

Эти слова сразу прервали церемониальный танец, который совершала вокруг нас японская делегация. Через несколько секунд процессия с носилками поплыла назад — только теперь подметальщики пристроились к ней с другой стороны. И вскоре их метлы уничтожили все следы.

— Вот так и от нас ничего не останется, — вздохнул Кедаев. — All we are is dust in the wind... [\[15\]](#)

— Ну-ну, — сказал я. — Без вредных обобщений.

— Простите великодушно, я все время забываю. Это ведь только вторая наша встреча.

Кедаев снял очки, протер их и водрузил на место. Теперь они отсвечивали зелеными бликами еще сильнее.

— Все формальности, насколько я понимаю, улажены, — сказал он. — Извините, что это заняло столько времени, но быстрее перевести такую сумму в нашем мире невозможно.

— Я не занимаюсь финансовым аспектом, — ответил я сухо. — Я отвечаю за транспортировку.

— Да. Я понимаю. Но об этом мне трудно говорить. Даже со своим будущим провожатым...

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Не вы первый, не вы и последний. Все будет хорошо...

— Очень надеюсь. Но я хотел бы понять — как это будет происходить?
Я пожал плечами.

— Мы уже обсуждали. Но я могу напомнить. Это немного похоже на перемотку катушки с пленкой. Только тут очень ответственная перемотка, потому что пленка — это вы. И судьба всей катушки зависит от того, на каком кадре она остановится. Мы перематываем ее в такое положение, где ей ничего не будет угрожать. Оттуда со временем появится росток новой жизни.

— Звучит просто.

— Просто, — согласился я.

— Перематывать меня будете вы?

— Нет, вы будете разматываться сами. Каждый после смерти разматывается сам, и почти все рвутся. Я нужен для того, чтобы этого не произошло. Я буду вас страховать — и помогать в критические моменты. Если все будет идти нормально, я не буду вмешиваться. Иногда вы даже будете про меня забывать. Так и должно быть — иначе вам трудно будет размотаться.

— Как и когда именно вы будете помогать?

Я улыбнулся.

— Секунда за секундой. Все будет зависеть от происходящего. Ваша эмоционально заряженная память создаст некое пространство, в котором окажемся мы оба. Это пространство будет все время меняться. Оно зависит от... э-э-э...

— Кармы? — подсказал Кедаев.

— В конечном счете да. Но в практическом смысле — от случайного набора воспоминаний и ассоциаций, которые окажутся на поверхности. Если я все время буду оставаться рядом с вами, я смогу скорректировать ваши видения таким образом, чтобы ткань вашей субъективной реальности не порвалась.

— А куда мы будем двигаться?

— К центру вашей анимогаммы, — сказал я.

— Не понимаю.

— Думайте об этом так. У шара много точек на поверхности, и мы можем начать путешествие из любой. Но центр у шара только один, и чем мы к нему ближе, тем меньше в происходящем случайного и больше закономерного. Мы перематываем вас не на хронологическое начало вашей жизни. Мы перематываем вас на ее центр.

— А что это будет?

— Не знаю, — сказал я. — У всех по-разному. Каждый раз сам

удивляюсь.

— Что я при этом буду чувствовать?

— Я знаю только, что при этом буду чувствовать я.

— Будет больно?

— Если судить по моим предыдущим клиентам, — сказал я, — ничего экстраординарного не случится. Считайте это несколько экзотическим переездом из одного места в другое. Определенный стресс, конечно, есть...

— На что это больше всего похоже?

Я пожал плечами.

— На путешествие к центру Земли. Если будут шорткаты, все пройдет быстро. Буквально за пару часов. А у обычного человека уходит дней сорок. И не всякий, знаете ли, доезжает.

— А я доеду?

— Как и все остальное во вселенной, — ответил я, — это вопрос вероятности. Если вы будете неукоснительно выполнять мои распоряжения, мы сведем риск к минимуму. Самое главное, не убегайте от меня. Не создавайте между нами никаких преград.

— Я постараюсь, — сказал Кедаев. — Как все начнется?

— Вы не будете помнить, что умерли, — ответил я. — Вы встретитесь со мной. Я напомню вам в двух словах, что происходит, и подам условный знак, что путешествие началось. В этот момент возможна сильная реакция страха. Из всех сил постарайтесь удержать себя в руках.

Кедаев кивнул.

Это был странный кивок. Скорее половина кивка. Его подбородок добрался до нижней точки траектории, и в ней, видимо, что-то пришло ему в голову — его лицо замерло. А потом медленно поехало вверх, постепенно становясь белым.

— Повторяю, — сказал я. — Из всех сил старайтесь держать себя в руках. Помните, что ваши страхи и надежды начнут материализовываться. Чем быстрее вы прекратите проецировать их в нашу совместную реальность, тем скорее мы окажемся в безопасности. Как только я дам вам знак, о котором мы условились, путешествие начнется.

— Что за знак? — тихо проговорил Кедаев.

— Два хлопка по левому плечу, — сказал я.

С этими словами я перегнулся через стол и два раза хлопнул его по плечу.

— Я помню, — прошептал Кедаев. — Мы это уже обсуждали. Да?

— Да, — подтвердил я.

— Это значит... Все уже произошло?

Я кивнул.

Он с силой зажмурился, словно пытаюсь раздавить своими веками что-то невыносимое.

— А я готов? — спросил он.

— Нет никакого способа подготовиться к этому. Мужайтесь.

Сказать «мужайтесь» — лучший способ напугать клиента. Но лучше выдоить все его страхи сразу.

Кедаев вдруг дернулся на месте.

— Мне кажется, меня кто-то держит за ноги...

Я вскочил и перевернул стол.

Кедаева за ноги действительно держали две огромных серых руки — словно из сухого растрескавшегося дерева. Под ними был зыбучий песок. Детские киноужасы, подумал я. А потом заметил на одной из рук часы. На правой. Все стало ясно.

Кедаев жалобно поглядел на меня и за несколько секунд ушел в песок с головой. Я прыгнул в оставленную им серую воронку, провалился вниз и приземлился на твердую поверхность. После этого я закрыл глаза и открыл их снова.

Вокруг был коридор загородного дома, убранный с пошловатой роскошью. За окном шел снег. Кедаев как раз входил в высокую белую дверь с золотыми разводами — увидев меня, он облегченно вздохнул. Я шагнул вслед за ним.

В комнате, где мы оказались, было темно. Я знал, что так делают на тайных переговорах иногда гасят свет, чтобы не было возможности заснять происходящее. Но здесь секретность довели до сюрреализма — каждый из сидящих за круглым столом был скрыт черным матерчатым экраном, похожим на огромную фехтовальную маску. Этот экран освещался крохотным красным огоньком — а сидящий за ним не был различим совсем. Казалось, за столом собрались какие-то овальные марсиане.

— А вот и пи-пи-пи, — услышал я низкий мужской голос, измененный электроникой до полной анонимности.

Здесь нельзя было даже записать настоящие голоса — а имена забибикивали, как мат на телевидении. Мне стало интересно, с чем связаны такие предосторожности.

— У меня всего пять минут, — ответил таким же точно голосом Кедаев, уже скрывшийся за одной из масок. — Поэтому сразу к делу. Я не участвую.

— А я вам рассказывал, пацаны, — сказал другой электронный голос, — я в одном отеле видел табличку в лифте. На ней такая эмблема —

типа кружочек, а в нем гора. Написано — «17 persons, 1160 kg». И подписано красным, типа как кровью — «Schindler».

— А к чему ты это говоришь? — поинтересовался Кедаев.

— Можешь не попасть в список Шиндлера, — ответил электронный голос. — Там будут только те, кто платил.

За столом раздался невыразительный электронный смех.

— Мы уже двадцать лет не пацаны, — буркнул Кедаев.

— Опять ты не в курсе. Это в ложе «Великий Восток» сделали специальный градус для нобилей из России. «Шотландский пацан». Примерно как «Шотландский мастер», только с национальной спецификой.

За столом опять захихикали.

Я понял наконец, как собеседники различают друг друга — когда кто-то говорил, на его маске зажигался зеленый светодиод. Когда собравшиеся смеялись, зеленые огоньки горели на всех масках.

— Я не делаю провальных инвестиций, — сказал Кедаев. — Финансирование бессмысленно.

— Почему? — спросила темнота.

— Потому, что русского человека сегодня невозможно развести на нужную форму протеста. Он нутром чувствует — от борьбы на предлагаемом фронте ни суть, ни качество его жизни в лучшую сторону не изменятся. А вот хуже все стать может.

— Русская жизнь жутка, — сказала темнота.

— Жутка, — согласился Кедаев. — Но давайте говорить честно, единственное, что могут предложить человеку нынешние политактивисты — это ежедневное потребление исходящего от них ментального форшмака. И еще, может быть, судимость. Кроме доступа к этим острым блюдам, протест не принесет ничего. Даже если допустить, что страна не развалится на обломки, перестреливающиеся в прямом эфире... Ну что даст победа оппозиции? Не нам, тут все понятно, а плебсу? При коммунизме это был доступ к западному типу потребления. Они его получили. А сегодня?

— Возможность политического самовыражения, — сказала темнота.

— А что они выражать-то будут? Что денег нет? Так кто ж им даст.

— А чувство собственного достоинства? — не сдавалась темнота.

— Какое достоинство, когда денег нет? Когда нет денег, может быть только злоба на тех, у кого они есть. Вот как тут у некоторых шотландских пацанов...

За столом раздался электронный смех.

— Брать головы на абордаж сегодня бесполезно, — продолжал Кедаев. — Любой дурак понимает, что при самом позитивном для

оргкомитета исходе борьбы рядовой пехотинец точно так же низкобюджетно сдохнет в своей бетонной дыре. И это, повторяю, в самом лучшем случае. Если его не зарежут на фридом-байрам.

— Мы можем убедить людей, что все изменится.

Теперь электронно засмеялся Кедаев.

— Вряд ли. Всем ясно, что изменятся только доносящиеся из ящика слова. И не сами слова, а просто их последовательности. И еще список бенефициаров режима на сайте «компромат.ру». Возможно, мы в нем будем несколькими строчками выше. Но ни одного пехотинца там не будет все равно. Кого мы убедим рисковать за это жизнью и свободой? Даже самих себя не убедим. Нереально. Но пасаран! Поэтому но финансан. Где у вас туалет?

В темноте загорелась зеленая стрелка.

Встав, Кедаев пошел в ее сторону. Я незаметно скользнул за ним. Кажется, он про меня уже не помнил.

Оказавшись в барочном ватерклозете, Кедаев справил малую нужду и склонился над розовой раковиной. Плеснув несколько раз водой в лицо, он ополоснул руки и усталился в стену.

Из стены вылезла огромная серая рука — та же, что и в ресторане. Кедаев сделал серьезное и виноватое лицо. Рука, однако, не стала его хватать. Она просто погрозила ему пальцем и ушла назад в стену, реалистично звякнув о кафель часами.

Кедаев усмехнулся и ковырнул ногтем в зубах. Я вдруг увидел его крупный ноготь прямо у своего лица. На ногте был крохотный кусочек красной плоти. Тунец, понял я. Свежайший blue fin.

А потом я увидел, что по полу течет вода. Было непонятно, откуда она просачивается — но с каждой секундой ее становилось все больше.

Я попытался открыть дверь, но было уже поздно — она превратилась в прямоугольный орнамент на кафельной стене. Единственное, что я успел — это забраться на раковину. Пол туалетной комнаты уходил вниз, и она быстро превращалась в бассейн, где барахтался Кедаев. Бассейн рос в размерах, растягиваясь в подобие канала с кафельными берегами. Подпрыгнув, я оказался на одном из них.

Кедаев наконец увидел меня.

— Тунец! — крикнул он. — Спасите, тунец!

Я увидел огромную рыбу, приближающуюся к тому месту, где плавал Кедаев — она была так велика, что не помещалась в канале полностью, и ее покрытый чешуей хребет поднимался над водой.

Тоже просто.

Я поднял руку, и прямо перед рыбой в воду упала стальная решетка. Рыбья морда врезалась в нее с чудовищной силой. Решетка выгнулась, но выдержала удар. Из ран на рыбьей морде потекла густая черно-коричневая жидкость, а в дыре под выдавленным глазом стал виден зеленый мозг. Остро запахло васаби и соевым соусом.

Это, в конце концов, делалось смешно.

Кедаев испуганно посмотрел на меня, извернулся в воде — и пошел на дно.

Вот это было уже серьезней, потому что я не знал, где оно. Я нырнул вслед за ним.

Кедаев был еще виден — но течение быстро сносило его вниз, в глубину. Там было довольно темно — но вскоре стало различимо песчаное дно и гора ржавого железа с растопыренными в разные стороны трубами. Видимо, некий собирательный «Титаник». Какое счастье, что у богатых людей такое убогое воображение...

Я нагнал Кедаева, когда он приблизился к облепленному розовыми кораллами иллюминатору среди похожих на густые волосы водорослей. Иллюминатор был открыт. Кедаев неожиданно легко протиснулся внутрь, и я вплыл следом.

За затопленной каютой оказался круто идущий вверх коридор — и в нем был воздух. Кедаева в коридоре уже не было. Зато там был тупик, кончающийся запертой сейфовой дверью.

Кедаев начинал создавать проблемы.

Он, однако, не спрятался совсем. В двери был оставлен глазок. Припав к нему, я увидел помпезно обставленную комнату, в которой сустились две голые девки. Там же был и Кедаев — уже в черной BDSM-упряжи. Он, похоже, забыл, что находится под водой — и теперь его укладывали на кровать. Глазок все сильно искажал, но я разглядел, что из комнаты есть еще один выход. Надо было спешить.

Я попробовал войти. Раздался электрический писк, и веселый голос сказал:

— Вы одеты не по форме! Вы одеты не по форме!

Терпеть не могу болтаться вместе с клиентом в его сексуальных проекциях — но ничего не поделаешь. Чертыхнувшись, я отошел от двери и попытался придать себе подходящий вид — надел на себя кожаную упряжь, черную полумаску, шлем с плюмажем из конского волоса и кожаный ошейник с шипами и кольцами. Возможно, в таком виде я выглядел больше похожим на гладиатора, чем на садомазохиста, но на поиск более точного решения времени не было.

Я снова потянул ручку. В этот раз дверь открылась. Я вошел в комнату, но теперь дорогу перекрывала толстая железная решетка от пола до потолка.

Кедаев с кляпом во рту был привязан к кровати. По ее бокам стояли две девушки. Они были хорошо сложены, но...

Я впервые видел такую обильную интимную растительность. Я даже не предполагал, что в этом месте у женщины может вырасти столько волос.

Одна из девушек была в маске рыси, с длинным черным хлыстом в руке. Другая держала изящный кожаный томик. На миг его переплет оказался перед моими глазами, и я прочел слова, вытесненные на обложке:

для служебного пользования

АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ.

ГРОЗА,

или конец Светы.

экз. № 24

Девушка с книгой декламировала текст. Было видно, что пьеса интересует ее мало — она монотонно зачитывала реплики вместе с именами персонажей, не делая между ними даже паузы:

— Голая дама с пилой и небритой пелоткой. Он что-то хочет сказать. Голая девушка в маске рыси, поднимая хлыст. Ты что-то хочешь сказать, малыш? Ты больше нас не боишься? Связанный с кляпом во рту. М-м-м-м! М-м-м-м! Голая дама с пилой и небритой пелоткой. Он хочет, чтобы мы сдернули с него одеяло. Голая девушка в маске рыси. А как же он тогда будет делать хо-хо-хо? Ему, наверно, будет стыдно? Или не будет? Что, малыш, ты совсем потерял стыд? Ты хочешь, чтобы мы тебя наказали? Голая дама с пилой и небритой пелоткой. Может быть, ты боишься грозы, малыш? Ты хочешь спрятать лицо в пушистом и мягком? Связанный с кляпом во рту. М-м-м-м! М-м-м-м! Голая девушка в маске рыси. Или, может быть, ты хочешь, чтобы мы снова позвали Свету? Связанный с

кляпом во рту. М-м-м-м! М-м-м-м! Голая дама с пилой и небритой пелоткой. Света! Ау! Света!

Каждый раз одновременно с «М-м-м-м!» вторая девушка поднимала хлыст и несильно хлопала Кедаева по волосатому животу. Хотя обещанной пилы нигде не было видно, Кедаев определенно наслаждался происходящим — его глаза выражали сладострастный масляный ужас. Наверно, ужас оттого, что все это может кончиться...

Я дернул решетку вбок, и она ушла в стену, словно дверь лифта. Девушки увидели меня — и завизжали от страха. Та, что читала, полезла под кровать — но не протиснулась и замерла на полу. Вторая присела в углу и подняла над головой хлыст — словно чтобы защититься от надвигающейся грозы.

— Что происходит? — заорал я, отдирая Кедаева от кровати. — Я не психоаналитик! Я проводник! Зачем ты заперся?

— Мне было стыдно, — прошептал Кедаев.

— Еще раз запрись, и я тебя брошу. Только не с ними, — я кивнул на дрожащих девок, — а вот с этим!

И я показал на дверь, откуда вошел.

Кедаев побледнел.

Из коридора в каюту вползала толстенная серая змея с открытым беззубым ртом. Она была похожа на заблудившийся слоновий хобот. Возможно, это и был конец Светы — но знакомиться с самой Светой я не планировал.

— Бегом! — крикнул я и потащил Кедаева ко второй двери. Она оказалась открыта. Мы шагнули в нее, и мне удалось сразу ее захлопнуть, и даже запереть на толстую железную щеколду. Света, прости.

Кедаев уже не помнил про романтический будуар — теперь вокруг был каменный коридор со сводчатым потолком. Он спешил к его далекому выходу — в освещенное солнцем пространство. Там были арки, древние кирпичи и дрожащий от солнечного жара воздух.

До меня долетел рев толпы и звон металла. Я огляделся, пытаюсь найти другой путь. Но его не было. Мало того, в коридоре за моей спиной появились два негра, одетых примерно как я — только кроме кожаных BDSM-ремней на них были еще и латы.

Я чертыхнулся — дело, видимо, было в моем диковатом наряде, который я забыл поменять. Особенно в этом шлеме с конским хвостом.

Впрочем, предсказуемость происходящего успокаивала. Сначала «Титаник», теперь вот «Гладиатор». Подсознание современного человека прожжено стандартными кинематографическими реминисценциями и

отпечатками одних и тех же скрин-сэйверов. Работать с ним скучно, но удобно...

Когда мы выбежали на покрытую песком арену, я увидел в точности то, что ожидал — провинциальный коллизей, полный гладиаторов. Последние, впрочем, выглядели не особо страшно — все в черном и кожаном, в таких же масках и шлемах, как на мне, в BDSM-ошейниках и браслетах. Они больше напоминали участников берлинского гей-парада, чем цирковых убийц, но львы на арене были настоящими. Хорошо, что звери были далеко — и доедали пока какого-то активиста в черном.

Ближайшие к нам гладиаторы были заняты друг другом — они вяло имитировали бой и, по моим ощущениям, совсем не стремились умереть. Лучше всего было убраться из этого героического пространства, не вступая в культурный обмен.

Кедаев завороченно глядел на гладиаторов и львов. Пока он меня не видел, я поменял одежду на футбольную майку и трусы (если бы можно было так быстро переодеваться и в жизни), а потом оклеил ближайшую стену арены наспех состряпанной рекламой, в которой более-менее правдоподобно выглядели только «Кока-кола» и «Michelin».

Зато там была самая настоящая дверь. Еще секунда, и в моих руках появился футбольный мяч, который я с силой кинул Кедаеву в затылок. В самое время — им уже начинал интересоваться один из львов.

Кедаев обернулся, и я тут же дернул его за руку. Сильный рывок помогает сбить фокус и перейти к новому фрейму.

— За мной!

Он послушно подбежал вслед за мной к двери с «Кока-колой» — и я пропустил его вперед, предусмотрительно кинув ему в спину еще один мяч, чтобы он не слишком задавался вопросом, почему у него под ногами песок.

За дверью, как я и ожидал, все стало проще.

Протолкавшись через толпу футболистов в полосатых майках, идущих к выходу на поле, Кедаев увидел впереди людей с телекамерой, и у него сработал рефлекс — он кинулся в боковую дверь с надписью «Auth. Pers. Only»^[16], на ходу обрастая костюмом и галстуком.

За дверью была ведущая вниз металлическая лестница в четырехугольном бетонном колодце, освещенном холодными галогеновыми лампами. Еще не шорткат, но уже близко.

Мы, кажется, покинули наконец циклическую память — ушли, как говорят профессионалы, с маршрута личности. В этот раз обошлось без бизнес-референций. И очень хорошо — я терпеть их не могу. Эхо деловой

активности, достигающее лимбо, редко похоже на фильмы про Уолл-Стрит. Чаще всего оно выглядит неприглядно — какое-нибудь блуждание по смердящему болоту в поисках светящихся гнилушек или многоведерная клизма избитому и связанному бегемоту, который должен просрать в охраняемый ФСБ бассейн.

Наверно, дело было в том, что Кедаев незадолго до смерти отошел от дел — и уже практически перестал о них думать.

Теперь мы погружались в пучину совести. Это обычно выглядит как долгий спуск вниз. Чаще всего по лестнице, хотя бывает и более экзотичная символика: за одним из халдеев я слезал по канату с огромной секвойи.

Мы спускались долго — и скоро Кедаев забыл, что я иду следом. Он провалился в свои думы — и эти думы были мрачны, если судить по тому как стало меняться окружающее лестницу пространство.

Сперва на стенах появились граффити уголовно-этнографического типа: скрещенные ножи, скелеты, карточные тузы и церковные купола. Потом свет ламп начал меркнуть, а лестница стала делаться все грязнее. Скоро на ней появились пятна засохшей крови. А еще через несколько пролетов мы достигли дна.

Я увидел длинный коридор вроде тюремного — темный и грязный. По нему сновали похожие на бандитов охранники — или похожие на охранников бандиты в одинаковой униформе. В стенах рыжели ободранные железные двери с глазками.

Странно, но Кедаев не проявлял страха — наоборот, в его походке появилась какая-то наполеоновская решимость. Он словно падал вперед, в последний момент успевая поймать свой вес на выставленную ногу. Встречные охранники не пытались его остановить. Наоборот, попадая в поле его притяжения, они присоединялись к нам сзади. Вскоре из них образовалась целая идущая по коридору процессия. Я счел за лучшее чуть отстать и изменить свой наряд на такую же темную униформу.

Кедаев искал выход.

Он подошел к одной из дверей и кивнул в ее сторону головой. Тотчас к ней подскочил охранник из свиты. Звеня ключами на связке, он открыл замок.

В камере стояло гинекологическое кресло, к которому был привязан мужчина в ярко-зеленом двубортном пиджаке — со спущенными до колен штанами и залепленным клейкой лентой ртом. Перед ним стояли два человека, похожие на авторемонтников. В руках у одного была дрель.

Выхода не было.

Увидев Кедаева, человек с залепленным ртом замычал, словно пытаясь

сообщить что-то важное, но Кедаев отрицательно покачал головой и пошел дальше.

Миновав несколько камер, он приблизился к следующей двери. Когда ее открыли, я увидел пустую комнату. Решетка на окне была перепилена. Ее прутья выгибались наружу, в тревожно мигающее звездное небо. Кедаев повернулся к свите и поднял палец. По тому, как головы вжались в плечи, я понял, что это подействовало сильнее любого окрика. Я подумал, что он вполне мог вылезти через окно сам. Но это, видимо, даже не пришло ему в голову.

Дверь следующей камеры, у которой он остановился, долго не могли открыть — и лучше бы, право, этого не делали. Когда она распахнулась, я увидел подвешенного вверх ногами человека — в такой же униформе, как на охране. Он был без сознания. Под его головой стоял таз, в который капала кровь. Ее натекло уже прилично. Вокруг стояли молодые люди с битами в руках. Увидев нас, они, кажется, растерялись.

Кедаев пошел дальше.

Я понял — произошло что-то неприятное. Походка Кедаева сделалась нервной и быстрой, а его охранники стали возмущенно переговариваться. Один из них догнал Кедаева и толкнул его в спину. Кедаев не обернулся, а только пошел быстрее. Уже видна была цель: двустворчатая дубовая дверь в конце коридора. Она выглядела здесь до того странно, что было ясно — это выход.

Но мы не успевали.

Кедаева снова толкнули в спину. А потом другой охранник накинул ему на шею веревочную петлю.

Пора было вмешаться.

Я вспомнил самураев-официантов из ресторана, где начался наш спуск — и стал одним из них. От меня испуганно шарахнулись. Выхватив меч, я перерубил веревку, на которую Кедаев из последних сил пытался не обращать внимания, с достоинством волоча душителя за собой. Затем я несколько раз ткнул лезвием окружавшую меня публику, целясь преимущественно в мягкие части.

Свита рассыпалась в стороны.

Кедаев сбросил с головы петлю, оправил костюм и прошел в дверь. Я проскользнул следом, пока та была открыта, и быстро закрыл ее за собой. Если дверь, отделяющая одну часть спуска от другой, успеет закрыться между тобой и клиентом, можно потерять его из виду. Уж не знаю, почему это так, но в двери лучше проходить вместе.

Мы оказались в кабинке лифта. Уже несомненный шорткат.

Вот это я люблю больше всего. Так бывает, когда удастся миновать несколько петель кармического кишечника. Если находишь один шорткат, дальше они появляются друг за другом. Важно дойти до первого. А это не всегда легко. Если бы не я, висеть бы сейчас Салавату Авессаломовичу над тазиком вниз головой...

Мы ехали вниз. Все было хорошо.

Кедаев обернулся и вздрогнул, увидев стоящего рядом самурая. Я похлопал его по плечу.

— Это я. Идете молодцом, Салават Авессаломович. Вам и помогать почти не надо.

Кедаев издал то ли рык, то ли стон — и я понял, насколько он измучен происходящим.

— Долго еще? — спросил он. — Я не могу это контролировать.

— И не надо, — ответил я. — Весь смысл в том, чтобы напряжения вышли и анимограмма разгладилась.

— Когда все кончится?

— Когда вы найдете место, где вы будете чувствовать себя в безопасности, — сказал я. — Где вам ничего не будет угрожать. И захочется остаться. Обычно что-нибудь из детства. Мы называем это якорем... Где вы его бросите, там и будет центр.

Про это не следует говорить в начале спуска — до того, как перемотаются самые грубые привязанности и страхи. Иначе якорем может оказаться щель за пыльной шторой — или даже пустота под шкафом, куда можно спрятать голову (такой случай в моей практике был). Но здесь дело шло к концу.

Кедаев нахмурился и взялся рукой за голову — словно стараясь что-то вспомнить. Я же воспользовался паузой, чтобы превратиться из самурая в малоприметное гражданское лицо.

Лифт остановился, и мы шагнули из него на залитую солнцем железнодорожную платформу. У перрона стояла готовая к отправлению электричка, куда мы успели вскочить за миг до того, как двери закрылись. Еще один шорткат. Скорей всего, последний.

Вагон, куда мы вошли, был безлюден. Кедаев сел на лавку и уставился в окно. Чтобы не мешать производственному процессу, я присел у него за спиной. Следовало сосредоточиться — мне предстояло отслеживать его видения, одновременно наблюдая за окружающим нас пространством.

За стеклами замелькали деревья. Потом — лубочные избушки и холмы. Дымы, туманы и дали. Все было чистых нежных цветов, ясное, спокойное и грустное — обычное свидетельство того, что в ход пошли

детские воспоминания.

Как обычно на этой фазе перемотки, в смене картин за стеклами почти отсутствовала логика — и даже описать происходящее было трудно. Платформы подмосковных станций сменялись гигантскими облачными ландшафтами. Грохочущий черный туннель вдруг обрывался в воинственную гуннскую кукурузу, потом долго неслись сырые осенние леса. Мелькал оранжевый закат над военным русским полем. Древнейшими гусями звенела рябь китайских озер. Весна, ночь, ветер. Юность одна и та же у всех. Стоило отвернуться от окна, и лето сменялось зимой. Пока я бдительно оглядывал вагон, за окном снова наступало лето.

Во всем этом не было грубых швов и стыков — перемены были естественными, словно Кедаев и правда смотрел в окно быстро мчащейся электрички. Без меня он, впрочем, угас бы на ножах двух гопников, которые несколько раз пытались войти из тамбура, но не смогли.

Когда поезд остановился, было уже темно. За окном чернела платформа на краю соснового леса. Я заметил, что железная рамка, в которой полагалось быть названию станции, пуста — видимо, Кедаев не помнил его сам.

Покинув вагон, мы спустились по разбитой бетонной лестнице и пошли по тропинке в темноту. Между соснами кое-где горели электрические лампы. Два раза на Кедаева из кустов бросались яростно шипящие кошки — и мне пришлось припечатать их к земле. Из тьмы между деревьями спикировало несколько быстрых птичьих теней — и я безжалостно отбросил их в сумрак. Это, видимо, были убитые в хулиганском детстве зверюшки — самые последние долги. Ясный знак, что мы уже близко к цели.

А потом я увидел саму цель.

Это был старый деревенский дом за дощатым забором. Кедаев вошел во двор — но пошел не к дому, а к стоящему рядом сараю. Зайдя внутрь, он уверенно включил свет. Я увидел обычное нутро хозяйственной пристройки — полки с разнообразным хламом, залежи хозяйственной мелочи, которая так и хранилась в его памяти все эти годы...

Было удивительно, насколько точно Кедаев помнит это место — вплоть до красной ракеты на этикетке спичечного коробка с мелкими гвоздями, до передовицы из древней советской газеты, в которую была завернута катушка с зеленым лаковым проводом. Я не удержался и прочел один абзац. Он состоял из округлых многозначительных предложений, бесследно лопающихся в голове сразу после прочтения. Подделать такое было невозможно — клиент действительно сберег в своей памяти

подробнейший отпечаток этого места.

Кедаев тем временем уже лез по маленькой лесенке на верхнюю полку сарая, где лежал штабель досок.

— Куда? — спросил я.

— У меня там секретный приют, — сказал он. — Отроческий тайник. Не видно за досками. Я там курить начал. Сперва сигареты, а потом дурь. Первый раз, помню, три часа назад слезть боялся, хе-хе... Там меня точно никто не найдет.

— Хорошо, — сказал я. — Если это и есть ваш якорь, не вижу проблем. Вполне достойное место. Но надо выполнить одну формальность.

— Какую?

— Скажите несколько слов для близких.

— А как они их услышат? — изумился Кедаев.

Я улыбнулся.

— У нас есть такая возможность.

— Вы меня что, снимете?

— В известном смысле да.

Кедаев слез на пол, огляделся, где бы лучше устроиться — и сел на табурет у стены.

— Здесь хорошо?

Я кивнул. В моих руках появилась фотография в серебряной рамке. На ней были изображены две пожилые женщины и одна молодая — слегка похожие друг на друга и на Кедаева. Еще там была кошка-сфинкс с бантом.

— Ваши loved ones^[17], — сказал я. — Чтобы легче сосредоточиться.

Кедаев усмехнулся.

— Меня всегда радовало это американское выражение, — сказал он. — Как тогда прикажете называть остальных? Hated ones? Indifferent ones?^[18]

— Не отвлекайтесь.

— О'кей.

Он устался в фотографию, как в камеру.

— Людочка, Дина, мамочка, — сказал он. — У меня все хорошо. Насколько это может быть. Было нелегко. Но сейчас мы прибыли в безопасное место, можете быть спокойны. Я здесь останусь, пока все не... Прояснится. Тут спокойно и тихо. Не беспокойтесь обо мне. Живите, — он хлопнул носом, — в любви и радости. Прощайте.

Я отдал ему фотографию, и он положил ее на полку картинкой вниз.

Раздался звучный хлопок в ладоши.

— Стоп!

Лицо Кедаева замерло — и сквозь него стали заметны симметричные маленькие дырочки на экране.

— Включите свет, — сказал Энлиль Маратович.

Зажегся свет.

В центре комнаты стояли три стула. На них сидели женщины в 3D-очках — те самые, к которым только что обратился с экрана Кедаев. Только на снимке они были в пестром и светлом, а в жизни — во всем черном, так что их можно было принять за вампиров. Но они не были вампирами. На их шеях висели золотые карточки-пропуски с изображением маски.

Вампиры сидели вокруг.

Мы с Энлилем Маратовичем выглядели скромно — просто двое в черном на стульях у стены.

Зато три медиума-демонстратора, расположившиеся в дальнем конце зала в низких удобных креслах, производили сильное впечатление. Даже на меня, хотя я давным-давно привык к их жутковатому виду.

Они были в трансе. Их глаза были закрыты. Больше всего они походили на трех фантомасов — своими черными водолазками и бритыми бледными черепами, присыпанными зеленоватой пудрой-трансммиттером. На их головах поблескивали одинаковые серебряные полусферы с шишкообразным выростом, похожие на обтекаемую хайтек-версию немецкой каски времен Первой мировой. Шлемы были помечены цветными эмалевыми кольцами — зеленым, голубым и красным.

На возвышении за спинами медиумов стояли три соединенных штангой проекционных аппарата с красной, зеленой и голубой линзами. Для наглядности совпадающие по цвету шлемы и проекторы были соединены проводами — хотя система могла работать и без них. Перед каждым из медиумов стояла крохотная пробирка с черной резиновой затычкой. В пробирке была моя сильно разведенная ДНА, взятая из пальца перед началом процедуры в присутствии дам.

Ритуал должен был убеждать.

Шлемы вампомедиумов официально назывались «трансляционными коронами», но мне — и не только мне — они больше всего напоминали антенны телепузиков. Именно поэтому к ним и прилипла эта кличка. Они обижались на прозвище — но оно настолько точно, кратко и образно выражало их функцию, что никакие другие слова рядом были просто не нужны.

За эти годы Эз, Тет и Тар изменились основательно. Они сильно повзрослели. А может быть, так казалось из-за того, что им теперь

приходилось бриться наголо. Но им шло.

Энлиль Маратович повернулся к дамам.

— Человек не может видеть того, что видит вампир, — сказал он. — Кроме тех случаев, когда вампиры специально хотят это показать. Для этого у нас есть особые технологии и специалисты. Они прибыли сюда издалека, чтобы вы смогли лично увидеть, за что ваша семья заплатила такие деньги. Теперь вы знаете все сами. Разумеется, вы обязаны держать увиденное в полной тайне. У вас есть какие-то вопросы? Сомнения?

Женщины переглянулись. Самая старая сказала:

— Нет. Сомнений точно нет... Этот дом, сарай... Их не существует уже лет тридцать. Или сорок. Не осталось даже фотографий. Невозможно подделать при всем желании. И потом, то, что Салик сказал... Я знала, что он там курил сигареты, но вот про остальное... Я бы его выпорола...

Она всхлипнула.

— Вы можете задать остальные вопросы Кавалеру Ночи, — сказал Энлиль Маратович. — Он здесь.

И он указал на меня.

— Это вы провожали Салика? — спросила другая женщина, судя по всему, сестра покойного.

Я кивнул.

— Как делается съемка?

— Это не съемка. Мы научились переводить память вампира-проводника в видеоряд, транслируемый вампирами-медиумами. Это не человеческая, а вампирическая технология. Вернее, человеческая только в своем грубом техническом аспекте.

— Мы видели то же самое, что Салик?

— Вы видели то же самое, что я, — сказал я. — А я видел то же самое, что он. Так что в целом да — с вкраплением небольших интерпретационных искажений. Но трехмерное изображение дает лишь упрощенное представление о происходящем в лимбо. Отсутствует эмоциональная составляющая. А в ней все дело.

— Было страшно?

— Почти нет, — ответил я. — Удивительно хороший человек был... Был и есть Салават Авессаломович. У него в этом мире осталось мало кредиторов.

— Кредиторов зато много у нас, — сказала третья женщина, самая молодая и бойкая. — Теперь.

— Я имею в виду, кармических кредиторов, — пожал я плечами. — Тех, кто приходит в будущие жизни, чтобы отомстить. Вы можете

гордиться Салаватом Авессаломовичем.

— А почему вы довели его именно до этого места?

— Если вы заметили, — сказал я, — Салават Авессаломович все время попадал в ситуации, откуда ему хотелось побыстрее уйти. Даже эта каюта с голыми...

— Не продолжайте, — попросила мать.

— Если бы я оставил его в любом из этих состояний, его анимограмма оказалась бы уязвимой. Она могла бы разорваться под действием свободных мемов еще до того, как на нее упадет возрождающий взгляд Великого Вампира...

— Рама, — сказал Энлиль Маратович, — не загружай дам.

— Да, извините. В общем, разорвало бы в клочья. Посмертная консервация личности становится возможна, когда достигается устойчивый центр анимограммы. Все это путешествие и было спуском к центру.

— Центру чего?

— Салавата Авессаломовича. Когда на него вновь посмотрит Великий Вампир, а рано или поздно он смотрит на все в лимбо, Салават Авессаломович сможет выдержать его взгляд, потому что в этой точке он находится в полной гармонии и с собой, и с Великим Вампиром. Яркий белый свет не сотрет его, как произошло бы без перемотки, а пробудит в нем семя новой жизни.

— Что это за Великий Вампир?

— Мы так называем Бога, — сказал Энлиль Маратович и очаровательно улыбнулся.

— Вы его подсадили в чью-то матку? — спросила самая молодая.

— Скорее, — ответил Энлиль Маратович, — мы заботливо посадили его в горшок и полили водой. Вы ведь знаете, что не все семена дают плод — некоторые падают на камни и гибнут. Большинство. Мы называем это разрывом анимограммы. Перерождение похоже на новый росток, который появляется из попавшего в подходящую среду семени. Теперь Салават Авессаломович именно в такой среде. Как вам уже сказали, взгляд Великого Вампира не уничтожит его, а позволит вернуться к жизни в новой форме. Новая жизнь будет благополучной и счастливой. Это и есть оплаченная вами реинкарнация.

— Когда это случится?

— Все зависит от Великого Вампира. Мы не рекомендуем специально привлекать его внимание человеческими религиозными ритуалами.

— А нельзя сделать так, чтобы он родился в нашей семье?

— Мы делали такие вещи раньше за отдельную плату. Но теперь это

не практикуется.

— Если ты не Ротшильд, — буркнула самая молодая женщина.

Энлиль Маратович посмотрел на нее долгим взглядом.

— Поверьте, — сказал он, — это в ваших интересах. И в интересах Салавата Авессаломовича. У вас есть еще вопросы?

Он вдруг сделался усталым и строгим — и совершенно недоступным. Женщины поняли, что аудиенция окончена. Они встали, и самая молодая опять попыталась что-то сказать.

— Не надо благодарностей, — поднял ладонь Энлиль Маратович. — Халдеи, которые верно нам служат, могут рассчитывать на нашу признательность. Ступайте с миром и не скорбите. Для скорби нет повода. У вас есть повод для великой радости. И помните, что вы должны держать увиденное в тайне не только от обычных людей, но и от других членов внутреннего круга. Даже если это ваши близкие друзья...

Женщины по очереди склонились в вежливом поклоне и пошли к выходу. Они явно были под впечатлением от увиденного. Как только дверь за ними закрылась, Энлиль Маратович довольно потер руки.

— Теперь будут шептаться не меньше года. Демонстрировать доступ к престижному потреблению смерти. Молодец, Рама, все отлично.

— Как всегда, — скромно ответил я.

— А сейчас смотрим завершающую последовательность, — сказал Энлиль Маратович. — Пока телепузики не расчихлились...

Он хлопнул в ладоши.

Свет погас, и я опять увидел на экране Кедаева — тот положил фотографию на полку и повернулся ко мне.

— Я могу лезть?

Я кивнул.

— Мы прощаемся?

— Да-да, Салават Авессаломович. Полезайте. А я пойду.

Кедаев еще раз поглядел на меня — как мне показалось, с легким подозрением.

— И что будет?

— Вы уснете, — сказал я. — А потом проснетесь.

— Точно проснусь?

Я улыбнулся.

— Даже не сомневайтесь.

— Тогда прощайте, — сказал Кедаев. — И спасибо, конечно, за труд. Всех благ. Впрочем, они у вас и без меня есть...

— Идите с миром, Салават Авессаломович. Было приятно иметь с

вами дело. Удачи в делах.

Кедаев скрылся за штабелем досок. Я вышел из сарая, отошел от него подальше и провел языком по щетинкам некронавигатора. Мир вокруг стал расплываться, словно я смотрел на него сквозь залитые дождем линзы. Четким оставался только сарай, где был Кедаев. Я сделал еле заметное движение руками, и сарай накрыло ковчегом — огромным пустотелым каменным кубом. На кубе был высечен древний барельеф: зубастая пасть, занимавшая почти все место, крохотный нос и два круглых глаза. Говорили, что это ягуар, но мне он больше напоминал зайца на ахуяске, который начал трип с того, что по-вангоговски отрезал себе уши — и орал теперь от боли.

Я поднял руки вверх.

Ковчег послушно взмыл и повис в пустоте. Он был таким огромным, что стоять под ним было страшно даже в лимбо. На его углу появилось бронзовое кольцо. С кольца свесился толстый желтый шнур с биркой на конце. На бирке возникла цифра «17».

Вот так. Раньше людей ужимали до пепла. А сейчас — просто до цифры.

Теперь я стоял на вершине огромной ступенчатой пирамиды с широкими каменными лестницами со всех сторон. Выглядела пирамида мрачно. Я был рад, что никто из клиентов ее не видит — да и loved ones тоже. Я и сам не любил на нее глазеть, потому что это сильно изматывало. За семнадцать визитов на ее плоскую вершину я так и не изучил пирамиду в деталях. Я даже не знал, в чем смысл завершающего ритуала с ковчегом. Но он был обязательным.

Все, теперь работа была сделана.

Я повернулся и пошел по каменной лестнице вниз. Впереди и вокруг была только чернота. Я знал, что если долго вглядываться в нее, станут видны разноцветные огоньки свободных мемов — но это упражнение уже давно мне наскучило.

Где стоит пирамида, было непонятно, и вряд ли такой вопрос вообще имел смысл. Единственным источником света здесь был я. Фрагменты пирамиды с крохотным опозданием возникали вслед за перемещением моего взгляда, и я был уверен, что создаю ее сам — именно тем, что начинаю разглядывать.

До конца лестницы было еще далеко. У меня больше не оставалось дел в этой тьме.

Я сильно топнул ногой, и каменные блоки ступеней провалились вниз. Больше никакой опоры подо мной не было. Я полетел вниз, в густую

черноту. Моя голова перевернулась вниз, а согнутые в коленях ноги оказались наверху.

На экране появилась вращающаяся спираль и мигающие белые цифры — 5, 4, 3, 2, 1. Загорелись слова «трансляция закончена». Но еще несколько секунд сквозь все это был виден я — в той же позе, висящий вверх ногами в своем собственном хамлете. Мой экранный двойник поглядел на сидящих в зале, зевнул — так, что стал виден надетый на зубы некронавигатор — и развел руками.

Экран погас.

Энлиль Маратович трижды хлопнул в ладоши.

Медиумы стали приходить в себя — зашевелились, открыли глаза, один из них замычал.

— Быстро прошел, — сказал Энлиль Маратович. — Становишься настоящим профессионалом. Ты что-то хочешь спросить?

— Да. Почему ковчег такой формы? Зачем желтый шнур? И что это за пирамида? Откуда она?

— Из твоего вампонавигатора, — ответил Энлиль Маратович.

— Спасибо, — сказал я. — Я в курсе. Не надо меня как халдея разводить. Мне интересно, чему она соответствует в действительности?

— Была такая постройка в Мексике, — сказал Энлиль Маратович. — Да сплыла. Но потом, говорят, опять будет. Не забивай себе голову, Рама. Просто традиция. Столько лет тебе повторяю — нормальный вампир не стремится знать больше, чем заставляют обстоятельства. Он стремится знать как можно меньше. Каждый укус загружает нас чужой болью. Как же ты еще молод...

Он поглядел на медиумов, которые уже совсем проснулись — и снимали теперь с бритых голов свои блестящие шлемы.

— Иди вон с французами потусуйся. Ты вроде с ними посвящение проходил, да?

— Да, — ответил я.

— Сколько лет уже прошло?

— Пять, — сказал я. — А может, семь. Много.



Haute SOS

— Куда едем, кесарь? — спросил Григорий, поворачиваясь ко мне от руля.

Севший рядом с Григорием Эз посмотрел на него с недоумением, а потом тоже обернулся, чтобы поглядеть на меня. Остальные два француза были заняты разговором и ничего не заметили.

— В клуб, — сказал я.

— Почему «кесарь»? — спросил Эз. — В России что, такой обычай?

Я вздохнул.

— Нет, просто у меня такой шофер. Он профессор теологии из Кишинева. Постоянно занят спасением души. Главным образом моей.

Эз покосился на Григория, словно на гремучую змею, и снова повернулся ко мне.

— Зачем это тебе?

— Он от любого стресса вылечит, — ответил я. — Всегда умеет создать еще более сильный.

— Слово правды доходит до самого черного сердца, — подтвердил Григорий.

— Он что, нарывается? — спросил Эз.

— Я не нарываюсь, — отозвался Григорий. — Я его смиряю. У меня работа такая.

— Угу, — сказал я. — Я официально тебя прошу, Григорий, не зови меня больше кесарем. Отдавай богу богово в менее навязчивой форме. У нас гости из Франции. Не позорь Россию. А то решат, что у нас тут рабовладельческая формация.

— Скорее родоплеменная, — ответил Григорий. — С элементами кровососательного феодализма.

— Вот, — сказал я, — весь день так.

Эз улыбнулся.

— Мы недавно были в Мексике, — сказал он. — Там один старый вамп сделал себе выезд как у императора Гелиогабала. Ездит по поместью в коляске. А тянут ее голые женщины, у которых упряжь соединена с кожаным бюстгалтером. Сам уже не может ничего — так решил их хоть за титьки напоследок подергать. Но ты, Рама, всех переплюнул. Не удивлюсь, если со временем это войдет в моду. Но пока скажи своему шоферу, что, если он еще раз откроет рот, я его убью, выпью его ДНА и поведу машину

сам. Хоть терпеть этого не могу.

Машина чуть вильнула. Григорий знал, что вампиры такими вещами не шутят.

Отмывшись от зеленой пудры, Эз, Тет и Тар помолодели и стали похожи на трех начинающих Мишелей Фуко — лысых, стильных, симпатичных и очкастых. В нерабочее время это были молодые гламурные боги — их веселые наглые глаза выдавали фундаментальную испорченность и утонченное знание всех червоточин жизни. Я догадывался, что выгляжу рядом с ними более чем провинциально. На мне, как обычно, была черная пара, снятая с манекена в торговом зале «Archetypique boutique». Они же были одеты с настоящим шиком, в реальные вампобренды, разбираться в которых я так и не научился за все эти годы.

— Ты на Улла стал похож, — подвел итог Эз.

— Спасибо, — буркнул я. — От телепузика слышу.

— Нет, — сказал Эз, — я в том смысле, что стал настоящим профессионалом. Углубленным. А мы вот порхаем как бабочки. Туда-сюда, туда-сюда... Слушай, а почему у тебя тачка такая странная? Ты что, тоже опрощенец?

— Вы же мою красную жидкость попробовали, — ответил я. — Что, не видно?

— Кодекс, Рама, кодекс. Мы клятву давали. Считываем только то, что транслируем. Ты думаешь, это для нас пустые слова? Впрочем, у вас в России все иначе...

— Кстати, опрощение сейчас в воге, — сказал Тет. — Рама как всегда попал в десятку. Это сегодня самый топ-стайл — труд на благо человечества, подчеркнутое невнимание к внешнему, даже некоторая нарочитая запущенность. Самые стильные американские вампы именно такие. Вот Софи, например.

Он повернулся ко мне.

— Кстати, Рама, тебе от нее гостинец.

Я совершенно не ожидал, что сердце с такой силой екнет у меня в груди.

— Какой?

— Удаленная встреча.

— А что это? — спросил я.

— Письмо-препарат на шестьдесят минут. Ты разве таких не получал?

Я отрицательно покачала головой.

— Это привилегия undead. Ты можешь встретиться с ней в лимбо. И

все будет как в жизни...

Видимо, на моем лице отразился испуг. Все трое захохотали.

— Где ты ее видел? — спросил я.

— В Нью-Йорке, — ответил Тет. — Помер какой-то жук с Уолл-стрита. Делали вскрытие, а потом она нарисовалась.

«Вскрытием» на жаргоне телепузиков называлась только что завершившаяся процедура.

— Она сама про меня вспомнила?

— Ну да, — сказал Тет. — А почему тебя это удивляет? Мы думали, будет приятный сюрприз.

— Могли бы предупредить. Я бы побрился.

Они опять засмеялись. Я изогнулся на сиденье, чтобы увидеть себя в зеркальце заднего вида, и вызвал у них новый приступ хохота.

— Ты выглядишь очаровательно, — сказал Тет. — Труженик загробных полей, сеятель и хоронитель. Софи с первого взгляда полюбит тебя с новой силой...

— Как она узнает, что письмо дошло?

— Она почувствует.

— А почему Улл ничего про это не говорил?

— Он говорил, — сказал Тет. — Ты, наверно, висел в это время в шкафу. Или в гробу дрых. Ты можешь встретиться в лимбо с любым undead точно так же, как с анимограммой. Можешь поговорить без всяких скайпов и прочей электронной гадости. И не только поговорить.

— А как я узнаю, что это именно Софи? — спросил я.

— А кто это еще может быть? — удивился Тет. — Ты что, мне не веришь?

Я решил не посвящать его в детали своей личной жизни.

— Вот, держи, — сказал Тет.

В мою ладонь шлепнулся крохотный флакон в виде сердечка со звездой. Мой страх наконец угас. Вряд ли французы стали бы устраивать такой замысловатый розыгрыш.

Я спрятал флакон в карман. Интересно, я правда стал похож на Улла? Наверно, преувеличение. В каждой шутке, в конце концов, есть доля неправды...

Мы уже подъехали к клубу. Кончились последние сосны, раздвинулись темные створки никак не помеченных ворот, мимо проплыл КПП, потом дорога нырнула под землю, и в глубине подземной стоянки замерцали синим неоном слова:

— Почему «высокий СОС»? — спросил меня Тар. — Эз говорил, что это в ста метрах под землей.

— Азы дискурса, — сказал я. — Низ это верх, а истинный свет — тьма. Спускаясь в подземный мрак, мы выходим в **свет** и встречаем **высшее общество**... Следует фиксировать такие моменты в названиях и эмблемах.

— А... Понятно.

Всегда приятно чуть-чуть утереть нос французу по части бессодержательной трескотни. Лишний раз чувствуешь себя сверхчеловеком.

Мы вышли из машины.

— Прощайте, господа вурдалаки, — тихо сказал Григорий. — Спасай вас Господь.

Эз обернулся и нахмурился, словно размышляя, что сделать с охамевшим водилой — но решил не напрягаться.

Мы подошли к неоновой надписи, и часть стены отъехала в сторону, открыв лифт, отделанный строгой темной сталью.

— Слушай, — сказал Тар, когда мы вошли в лифт, — я слышал, тут убили какую-то халдейскую свинку. Голову оторвали. Девушка-богомол.

— Было такое.

— Вы правда, что ли, жертвы до сих пор приносите?

— Blood libel, — ответил я устало.

— А разве халдеев сюда пускают?

— Только обслугу, — сказал я. — Халдейский лифт на другой парковке. Для них сделали несколько залов, чтобы чувствовали близость к начальству. К нам они пройти не могут. А вот некоторые наши к ним ходят. Для свинства. У них там персидская пошлость с икрой и кокаином. Русалки в бассейне, поющие кариатиды, амуры. И даже атланты — плечи расправляют только так...

Двери лифта открылись, и мы оказались в подземной галерее. В ней стояли два халдея-часовых в золотых масках — увидев нас, они синхронно отвернулись к стене.

Мы прошли по длинному коридору мимо ниш, где стояли восковые фигуры великих вампиров древности. Снизу были таблички с двойными именами: божественным вампирическим и ничего не значащим людским. Ни одного известного в человеческой истории персонажа среди них не

было.

Заметив в одной из ниш своего тезку во фригийском колпаке, Эз игриво поклонился. У меня здесь тоже был тезка — по виду русский купец конца девятнадцатого века, в смазных сапогах и картузе. Но я не стремился вступить с ним даже в воображаемый контакт.

Мне хотелось как можно быстрее распечатать флакон-сердце. Но перед этим было бы неплохо чуть выпить — для храбрости.

— Пошли в бар? — предложил я.

Эз смерил меня взглядом.

— Ты что, хочешь напиться перед Красной Церемонией?

— А у нас что... Красная Церемония?

— Ну да, — сказал Эз. — Ваша мышка расщедрилась. Так что только чай.

— Меня не предупредили, — сказал я.

— Вот мы и предупреждаем. Ты разве не рад?

— Почему... Я...

— Он уже забыл, когда последний раз сосал баблос, — перебил Тар. — Сейчас его из-за нас угощают. Русские вампиры заискивают перед оксидентальными — и из-за этого иногда становятся друг к другу добрее. Но только на то время, пока они у нас на виду.

Я молча сжал кулаки в карманах пиджака. Отвратительно, но каждое слово, сказанное Таром, было правдой.

Дойдя до развилки коридора, Эз затормозил и поглядел на часы.

— Зайдем в главный зал? — спросил он. — Время у нас есть.

Главный зал «Haute SOS» изображал огромную подземную пещеру, освещенную редкими разноцветными огнями. Впрочем, слово «изображал» тут не особо подходит — он и был этой пещерой. Правда, искусственной, с привозными сталагмитами и сталактитами — но любая настоящая пещера, спрыснутая хай-теком и дорогим дизайном, выглядела бы точно так же. И еще здесь, конечно, был климат-контроль.

Я не любил это место по профессиональным причинам — уж очень оно напоминало мрачные пространства «Тибетской Книги Мертвых», в которых я чуть не заблудился при проводах одного влиятельного калмыцкого руководителя. С тех пор тусклые огни под неровными сводами казались мне дорожными знаками, обозначающими спуск в нижние сферы. Хотя куда еще ниже...

Народу в зале было немного — в основном в дальнем углу, где в воздухе мерцал подрагивающий киноэкран на длинных шлейфах водяного пара.

Зрители, валявшиеся на широких восточных диванах под висящим в воздухе прямоугольником света, вызвали у меня почти классовое отторжение. Это были наши гламурные боги, вампиры моего возраста или немного старше — так называемая **красная молодежь**, главной обязанностью которой было красиво прожигать жизнь между ритуальными приемами баблоса. Смотрели последние «Сумерки». Иногда раздавался хохот. Чуть пахло марихуаной и любовными секретами человеческого тела — феромоны здесь распыляли специально, чтобы поддержать в пресыщенных гостях хотя бы вялый интерес к празднику жизни.

Их работа, впрочем, была ничуть не проще моей, поскольку никто из них не был уверен, что прожигает жизнь действительно красиво. Они постоянно нуждались в экспертной оценке и одобрении, совсем как дети. Встреча с французами (которые, в отличие от них, не были тунеядцами) была для них чем-то вроде экзамена — и французы, разумеется, это знали.

Нам замахали руками.

— Пойдем почирикаем? — спросил Тет.

— Я в библиотеку, — сказал я. — Встретимся через час.

— А, ну-ну.

Он ухмыльнулся и шлепнул меня ладонью по спине, как один гусар другого.

Клубная библиотека была на самом деле просто комнатой, где запирались желающие уединиться. Здесь были диваны и кресла, стол с кнопкой вызова официанта и камин, в котором всегда тлели угли. Камин был настоящим. Я плохо представлял, как удалось организовать естественную циркуляцию воздуха на такой глубине — и предполагал, что в физику этого вопроса вложили очень большие деньги.

Чтобы оправдать слово «библиотека», здесь имелась и полка с книгами. Но их было всего две — «Феллацио за круассан» Палены Биркин и «Двадцать лет под Немецкими Кроватями» Владимира Камарина. Первую, вероятно, отобрали за изысканный слог, а вторую — за фамилию автора (вампиры ценят все, что хотя бы отдаленно ассоциируется с комаром — нашим традиционным символом мимолетной и зыбкой земной красоты).

Как по мне, то книг было многовато. Камарина я бы еще оставил. А вот Палену Биркин выкинул бы вместе со всеми ее литературными достоинствами. Что это вообще такое — «литературные достоинства»? Нечто, определяемое в литературных кругах? Но стоит ли считаться с мнением пошлых, завистливых и некрасивых людей о том, какие комбинации слов являются эстетически совершенными? Их экспертиза ценна только в области их профессиональной специализации —

организации наногешефтов, сопровождающихся микроскандалами.

Я сел в кресло, вынул из кармана флакон-сердце, распечатал его и вылил единственную каплю жидкости себе в рот. После этого я закрыл глаза и стал ждать.

Ничего не происходило.

Так прошло, наверное, с четверть часа. Я за это время успел многое передумать и понять. Например, как ощущает себя и мир одинокий немолодой наркоман, постепенно осознающий, что только что разнюхался стиральным порошком, проданным ему под видом кокаина.

Наконец я почувствовал рядом какое-то движение. Сглотнув слюну, я открыл глаза — и чуть не выругался. Передо мной стоял коленопреклоненный халдей-официант в золотой маске.

Он протягивал мне меню.

Я забыл вывесить знак «Просьба не беспокоить». Эта табличка с трогательным изображением уткнувшегося в книгу человека так и осталась на дверной ручке с внутренней стороны. Но сервис все равно был слишком навязчивым. Я уже собирался отослать официанта, когда рядом раздался тихий женский голос:

— Закажи пирожное и чай.

Я обернулся.

На диване сидела Софи.

Она совсем не изменилась за несколько лет. Даже загар остался тем самым — легким и одновременно густым, как бывает у человека, который живет в счастливом и беззаботном месте, где люди не ищут солнечного света специально, а, наоборот, старательно от него прячутся. На ней было легкое короткое платье. Как и положено, черное.

Официант все еще ждал.

Я был настолько растерян, что послушно уткнулся в меню.

Из него просто сочился халдейский креатив — название каждого блюда было заключено в маленький стишок, набранный мелким шрифтом.

Первым пирожным, попавшимся мне на глаза, было тирамису. Возле картинки, изображавшей что-то вроде рентгенограммы детского скелетика в сейфе, чернели расходящимися лучами строки:

маленький мальчик залез в холодильник,
маленькой ножкою тронул рубильник.
вот уже сопли замерзли в носу,
нет, не доест ему ТИРАМИСУ

Слово «тирамису» было выделено цветом и размером — видимо, с целью показать, что на заказ принесут именно тирамису, а не замерзшие детские сопли. Кажется, подумал я, халдеи искренне верят, что их хозяева желают каждую секунду вдыхать человеческую боль. Или не верят, а знают... Искать, с чем они зарифмовали чай, я не стал.

— Тирамису и чай, — сказал я. — Можно не спешить.

Когда официант ушел, мы с Софи несколько долгих секунд смотрели друг на друга. Потом я встал, подошел к выходу, перевесил табличку «Просьба не беспокоить» на внешнюю ручку двери, закрыл ее, а затем еще и запер изнутри. Вернувшись, я сел не на свое место, а на диван рядом с Софи.

Она приблизила свое лицо к моему. Я рефлексивно вздрогнул. Но она всего лишь поцеловала меня в щеку.

Ее губы были живыми. Теплыми. Настоящими.

— Ну и нравы тут у вас, — сказала Софи. — Двойные-тройные кроссукусы... Проверки лояльности... Вы в каком веке живете вообще?

Я тоже чмокнул ее в щеку — что получилось у меня немного резко, и вообще, наверное, выглядело нелепо, потому что я сделал это именно тогда, когда момент для ответного поцелуя был упущен. Все было точь-в-точь, как при нашей первой встрече.

А затем мы поцеловались уже без всяких недоразумений, и я понял, что сейчас произойдет.

То самое.

— Официант тебя видел? — спросил я.

Она засмеялась.

— Конечно нет. И тирамису я съесть не смогу. Придется тебе самому...

— Мне тоже его не доест, — сказал я. — Маленький мальчик уже закрыл дверку, и сюда никто не войдет... У неизбежного не будет свидетелей.

Софи наморщилась.

— Рама, — сказала она, — я тебя умоляю, не в лимбо.

Но я уже энергично боролся за свое счастье. Обеими руками.

— Ну пожалуйста, только не здесь, — прошептала она.

— А мне больше нигде, — ответил я. — Представляешь?

— Представляю, — вздохнула она.

Я наконец повалил ее на диван.

Я действовал с удивительным для себя нахальством, но в моих движениях все равно была некоторая зажатость. Дело в том, что я

постоянно норовил повернуться так, чтобы она не могла залепить мне коленом в пах, как этому учат молодых вампиресс в курсе «искусство боя и любви». Опыт знакомства с самым слабым из подобных ударов, «предупреждающим», у меня имелся благодаря Гере — а в списке были еще «останавливающий», «сокрушающий» и «триумфальный». Меня ни в малейшей мере не тянуло узнать, что скрывается за этими шифрами. Софи, видимо, все поняла — и это до такой степени ее развеселило, что она совсем ослабла от смеха.

Моя задача в результате стала очень простой. И я справился с ней блестяще.

Окружающая реальность напомнила о себе вежливым стуком в дверь — видимо, халдей принес пирожное.

— Идиот! — крикнул я. — Там табличка не беспокоить!

Софи опять засмеялась. Это был удивительный смех, серебристый, счастливый и беззаботный.

Только все это, к сожалению или счастью, было просто сном. Или чем-то похожим. Ну и что, думал я, зато мы видим этот сон вместе. А это и есть любовь...

— Слушай, — сказал я, — а что будет, если попытаются снять нас на камеру?

— Нас не смогут снять, — ответила она.

— Почему?

— Потому что снять смогут только тебя.

— И что увидят?

— Ничего хорошего. Лучше во время таких встреч висеть в хамлете.

— Это правда, — согласился я. — Но тогда сотрется всякая грань между работой и отдыхом.

Встав с дивана, я занервничал — и два раза обошел библиотеку в поиске скрытых камер. Их, понятно, нигде не было видно. Когда я вернулся к Софи, она уже привела себя в порядок.

— Я все знаю, — сказала она.

— Что?

— Про тебя. И про вашу Иштар...

— Подожди-подожди, — поднял я руку. — Не надо дальше. А то у меня начнется дежа вю. Ты мне уже много раз говорила, что все про нас знаешь. Только это на самом деле была не ты, а она...

— Про это я тоже знаю. Но сейчас перед тобой я, можешь не сомневаться. Скажи, как вы с ней общаетесь? Я не про интимную сторону, а про техническую.

— Обыкновенно, — сказал я. — Как с любой анимогаммой. Я зависаю прямо в ее тронной камере. Гуляем, разговариваем. Иногда она не помнит, что она Иштар. Тогда она такая же, как за неделю до того дня...

— Какого?

— Когда ей отрезали голову. Она думает, что она Гера. Что у нас все только начинается. И впереди целая вечность... Приходится подыгрывать — хотя я все помню. Это тяжело. Но зато она в это время счастлива.

У Софи в глазах задрожало влажное женское понимание, и я поспешил продолжить:

— А бывает, она все про себя помнит. И вот это для меня полный ужас. Потому что тогда все забываю я. Я не помню, что мы в лимбо. Я не знаю, как она это делает — она намного сильнее. Она обшаривает всю мою память. И прикидывается чем-то таким, что мне нравится. Обычно тобой — это у меня самое светлое воспоминание. И тогда мне кажется, что мы встречаемся в той же самой комнате, и все почти как было в тот раз... И я каждый раз говорю тебе, как мне осточертела эта старая жирная мышь, и как я люблю тебя, а потом... Потом она меня будит. Самое страшное, конечно — просыпаться у нее на глазах. Она не говорит ничего. Просто смотрит. С такой нежной насмешечкой. Словно я ее даже не особо обидел — мол, чего еще ждать... И у меня каждый раз такое чувство, что она вытерла об меня ноги. Хотя ног у нее уже давно нет...

— Обычное дело, — сказала Софи. — Все великие undead так делают. Ты же Кавалер Ночи. Не комплексуй. У тебя просто такая работа. Ей это нужно для нормального метаболизма.

— Мне уже объясняли, — вздохнул я. — Только не говорили, что это для метаболизма.

— Если бы ты не был способен на измену сам, не сомневайся — тебе помогли бы.

— Я и не сомневаюсь, — сказал я. — Не представляешь, как они все контролируют. Вампонавигатор заряжает специальная комиссия. Выдают перед самым свиданием, чтобы я чего туда не добавил.

— Не верят? — улыбнулась Софи.

— За все отвечает комитет из трех старперов. Бальдр, Локи и Мардук, если ты кого-то знаешь. Втроем следят, чтобы богиню ничего не напугало. Так что у меня в обойме одни букеты с цветами и приятные сюрпризы. Радостные неожиданности. Я даже при желании ей настроение испортить не могу. А вампотеку в этом навигаторе уже второй год починить не могут. Работает только буква «С». Поэтому у нас с ней все умные разговоры вокруг этой буквы... Но самое ужасное, что она постоянно превращается в

тебя. Постоянно...

— Можешь расслабиться и считать, что это действительно я, — усмехнулась Софи. — Я не возражаю. Наоборот, мне будет приятно.

В дверь постучали. Причем довольно настойчиво.

— Я этого официанта сейчас убью, — сказал я. — И выпью его ДНА...

Встав, я подошел к двери и чуть приоткрыл ее — так, чтобы в библиотеку нельзя было заглянуть. Что было, конечно, глупо, потому что никто не мог увидеть Софи при всем желании. Запоздалое понимание собственной глупости вызвало во мне раздражение, и с моего языка уже готова была слететь не вполне вежливая фраза — но за порогом стоял не официант.

Это был Эз.

— Ты баблос сосать пойдешь? — спросил он. — Тебя одного ждем.

— Еще пять минут, — сказал я умоляюще. — Важный разговор.

И закрыл дверь перед самым его носом.

— Кто это? — спросила Софи.

— Телепузики. Зовут на Красную Церемонию.

— Тебе надо идти?

Я сел рядом и поглядел на часы.

— Еще есть время.

Софи положила ладонь на мою руку, и я понял, что она хочет поговорить о чем-то важном.

— Скажи, ты помнишь второго комара с ДНА Дракулы? Которого ты взял на память?

— Еще бы, — сказал я.

— Он у тебя?

— Нет. Какое там. Отобрали после первого контрольного укуса.

Софи разочарованно вздохнула.

— Зачем же ты отдал?

— А как я мог не отдать? Сказали, ценнейший памятник национальной культуры. Должен находиться в спецхране. Я думал, мне за это хоть баблоса дадут. Щас... Выписали моральное поощрение.

— Какое?

— Какую-то премию Совета Нечестивых. Называется «Сумрак и Блаженство». Или «Блаженство и Сумрак».

— А что это такое?

— Даже не знаю, — сказал я. — Мне намекнули, что хорошим тоном считается не приходить на вручение, ну я и не пошел.

— Вряд ли ты много потерял, мой бедный мальчик...

Она провела пальцами по моим волосам.

— Я не мальчик, — сказал я, — и ты это хорошо знаешь.

Она засмеялась. Но я видел, что известие про комара с ДНА Дракулы ее расстроило.

— А зачем тебе второй комар? — спросил я.

— С этими комарами связано нечто совершенно непостижимое.

— Что именно?

— Эти комары на самом деле из лимбо. Но их каким-то образом можно взять с собой в физическое измерение.

— Как такое может быть?

— Я сама не знаю. Дракула уже давно ушел из этого мира. Но мертвым в человеческом смысле его назвать нельзя. Видимо, его печалит, что большая часть его великих знаний осталась недоступна живым. И он нашел способ посылать из лимбо подобие приглашений. Чтобы его можно было навестить...

— Из своей красной жидкости?

— Из своей ДНА, — поправила Софи.

— Извини. Но как такое может быть, если его тело уже умерло? Откуда он ее берет?

— Я же говорю — это необъяснимо.

— Откуда ты знаешь, что эти комары из лимбо? А не просто со стены в его спальне?

— Ты помнишь его спальню?

— Еще бы.

— Тебя ничего там не удивило?

— Удивило, — сказал я и положил ей руку на бедро.

Софи наморщилась.

— Я не об этом. Подумай. Подземный механизм убирает пол, превращая его в ступени. Заливает все краской. Из стены выдвигается спрятанная картина... Даже если бы в позапрошлом веке действительно могли сделать такие подземные механизмы, в чем лично я сомневаюсь, то сегодня они вряд ли работали бы. Тем более так безотказно. Все это было сном, Рама. Мы были в лимбо.

— Но ведь мы полностью повторили ритуал соблазнения Дракулы. Значит, когда-то все это работало на самом деле?

Софи улыбнулась.

— Дракула был великий undead и мог навести на человека любой морок. Зачем он стал бы строить какие-то гигантские машины, чтобы

убирать с их помощью пол? Ему проще было внушить своей гостье, что комната меняется и ее заливают красной жидкостью. Мы с тобой просто увидели, как это выглядело для его жертвы... Я хотела сказать, для его любимой.

— А почему я увидел то, что видела она? Я даже не пробовал ее ДНА.

— Потому, что мы были в лимбо. Там хранятся переживания и мысли всех людей, живших на земле. Я повторяла слова Дракулы, которые его жер... его любимая слышала в этой комнате. И ты увидел эхо ее памяти. И не просто увидел, ты в него попал. Вместе со мной.

— То есть ты хочешь сказать, что в спальне все было не по-настоящему?

— Все было по-настоящему, — сказала Софи. — Но в лимбо. В замке Дракулы граница между реальностью и лимбо размыта. Это не совсем физическое пространство. Почти как Хартланд. Именно поэтому туда посылают для инициации.

— А другие раньше получали этих комаров?

Софи кивнула.

— Они много раз попадали в мир. Но не обязательно из этой спальни. Возвращающийся из замка вампир иногда привозил оттуда комара с ДНА Дракулы. Он помнил какую-то историю, которая с этим связана — но история была просто сновидением. А вот комар с ДНА был настоящим. И вампир мог встретиться с Дракулой в лимбо.

— То есть нам на самом деле не обязательно было заниматься там любовью?

Софи улыбнулась.

— Может и нет. Но я решила перестраховаться. И это помогло. Мы нашли сразу двух комаров. Такое редко бывает.

— Я бы с удовольствием отдал тебе своего, — сказал я. — Но у меня его нет. Может быть, кто-нибудь привезет?

— Теперь комары перестали появляться.

— Почему?

— Я точно не знаю. Может, потому, что ты отдал своего в чужие руки. Дракула не особо любит такое отношение к его дарам.

— Я не виноват, — сказал я. — Если бы я знал, вообще не брал бы. Оставил бы тебе...

Софи не ответила.

— Слушай, я даже ревную. Чем тебе так интересен этот Дракула?

Она усмехнулась.

— Ты все равно не поймешь.

— Может, пойму.

— Он величайший из всех. The undead...

Я никогда не испытывал доверия к смысловым нюансам, передаваемым с помощью английских артиклей.

— Поэтому Стокер и хотел назвать свой роман «The Undead», — продолжала Софи. — Он, как халдей высокого уровня, все-таки кое-что знал. Дракула — это действительно был исполин... И не был, а есть до сих пор. Мало того, некоторые говорят, что он превзошел состояние undead.

— Ты хочешь сказать, что Дракула до сих пор жив?

— Он до сих пор the undead. Примерно как ваш Ленин. Но я не хочу без конца говорить про Дракулу. Сколько мы тут сидим?

Я поглядел на часы.

— Пятьдесят восемь минут. Как насчет неизбежного-два?

— Уже нет времени. Сейчас часы пробьют полночь, и моя карета превратится...

— В мою тыкву, — сказал я. — Я знаю. Когда мы встретимся?

— Я попытаюсь это устроить, — ответила она. — Обещаю.

Я решил больше не тратить времени на разговоры — и обнял ее. Вернее — хотел обнять. Но не успел.

Она исчезла.

Но это было не так, как если бы она вдруг растворилась в воздухе. Все случилось иначе, гораздо безнадежнее. Это было как мгновенно наступившая за опьянением трезвость.

Я попросту понял, что передо мной ничего нет. И, возможно, не было с самого начала. Единственной реальностью были непристойные следы, оставленные мной на диване.

Я подобрал с пола флакон-сердце и изо всех сил швырнул его в стену. Он разбился — и я тут же обругал себя, потому что теперь у меня не осталось вообще ничего на память о нашей фальшивой встрече...

В дверь опять постучали.

— Рама, — недовольно прокричал Тар, — тебя долго еще ждать?

Первый раз в жизни мне совершенно не хотелось идти на Красную Церемонию. Если бы еще год назад мне сказали, что я настолько потеряю вкус к жизни, я вряд ли поверил бы. Но это было именно так.

У дверей в библиотеку стояли Эз, Тар и Тет — и несколько **прожигателей смерти**, как любили называть себя наши гламурные боги, чтобы отделить себя от человеческой золотой молодежи. В руках у них были фигурные стаканчики с красным «Tomato Virgin» — главным хитом сезона. Из чего следовало, что никто из них на Красную Церемонию не

приглашен — водку перед баблосом не пьют.

Эз спорил с одним из наших гламурных лоботрясов (кажется, его звали Аргус) — а остальные внимательно их слушали, стараясь не проронить ни капли драгоценного французского дискурса. Впрочем, Аргус, кажется, побеждал в споре — у Эза был раздосадованный и смущенный вид.

— Великий Вампир точно не пидарас, — повторил Аргус.

— Ну а как же миф о Ганимеде? — спросил Эз.

— Не пидарас. Я это доказать могу как дважды два.

— Это будет интересно, — сказал Эз. — И как же?

— Я в Лондоне был недавно. У них там религиозные люди хотели дать рекламу на двухэтажных автобусах. Что от гомосексуализма при желании можно вылечить. А мэр запретил. Потому, сказал, что пидарасы обидятся.

— Ну и что?

— А до этого какая-то атеистическая контора пустила на тех же автобусах объяву — «There's probably no God»^[19]. И ничего. Мэр не возражал.

— А какая тут связь? — спросил Эз.

— Прямая. Если бы Великий Вампир был пидарасом, лондонский мэр обосрался бы на автобусах такие вещи про него писать. Что его нету. Неужели непонятно?

Эз углубился в обдумывание аргумента, который показался мне неожиданно глубоким — причем именно на метафизическом уровне. Я буквально ощутил, как изогнулся его легкий французский ум под чудовищным нажимом русского дискурса.

Тар похлопал Эза по плечу.

— Пошли на церемонию, — сказал он. — Просветишь варваров в следующий раз.

Это была удобная возможность прервать дискуссию, и Эз ею воспользовался. Он любезно кивнул нашей красной молодежи, как бы обещая выслушать всех при следующей встрече, и повернулся к церемониймейстеру — халдею в маске комара. Маска была очень старой, из золотой парчи — с глазами-жемчужинами и стержнем-носом.

— Мы готовы, — сказал он.

Церемониймейстер повернулся и повел нас через зал. Мы прошли массивную дверь, по бокам которой стояли на головах два перевернутых черных атланта (посетители почему-то называли их «узбекскими йогами»), и стали подниматься по закручивающемуся вверх спиральному коридору,

освещенному точками спрятанных в стены ламп.

Когда мы дошли до пересекающей пол золотой черты, церемониймейстер встал на одно колено и ударил правым кулаком по своему левому плечу. От этого энергичного движения пришитые к его хламиде прозрачные крылья шумно взлетели и опали, на секунду показавшись живыми.

Дальше могли идти только вампиры.

Мы медленно пошли по последнему витку коридора.

— Кстати, Рама, — сказал Тет, — ты знаешь, что можно заглянуть в свое личное будущее, когда принимаешь баблос?

— Не знаю, — ответил я. — А как?

— Усилим воли. Просто поглядеть туда, и все. Но для этого надо пожертвовать фазой наслаждения. Поэтому никто так не делает.

— А если у вампира много баблоса? — спросил я.

— Те вампиры, у кого много баблоса, и так знают, что с ними будет. Все то же самое, а потом смерть.

С этим трудно было не согласиться.

— Никто не хочет знать, когда она наступит, — продолжал Тет, — поэтому высшие вампиры туда не смотрят.

— А ты? — спросил я.

— Я пробовал один раз.

— И что видел?

— Хочешь узнать, посмотри сам.

— Я ведь все равно не узнаю, что будет с тобой, — сказал я.

— Узнаешь, — ответил Тет. — Потому что я тебя там видел.

— Там что-то страшное?

— Не знаю. Это как посмотреть.

— Во время Красной Церемонии много всего мерещится, — сказал я. — Как узнать, что это именно будущее?

— Гарантий нет, — пожал плечами Тет. — Такое же гадание на менструальных тряпках, как и все остальное в нашей черной судьбе.

Мне пришло в голову, что он специально говорит суггестивными загадками, чтобы испортить мне Красную Церемонию — и, самое главное, ядовитое семя уже посеяно. Попробуйте пять минут не думать о белой обезьяне...

К счастью, мы уже пришли.

Красный Зал «Haute SOS» был совсем маленьким — и походил на рубку звездного корабля, спроектированную дизайнером-геем для мыльной оперы о галактическом мультикультурализме. У стен стояли массивные

электрифицированные кресла со сложной и громоздкой механикой, а на сводчатом потолке было обязательное для этих помещений золотое солнце с волнистыми лучами. У солнца было лицо, и оно улыбалось.

Эти солнечные лики, надо сказать, раздражали меня уже много лет. В большом Красном Зале на даче Ваала Петровича, где обычно собирались рублевские вампиры, солнце походило на Хрущева. Здесь такое сходство отсутствовало — лик солнца был анонимно-условен. Зато сам его диск, зажатый между сводами, напоминал разработанный долгой практикой морщинистый анус. Этот анус, правда, улыбался — но вампира редко радует чужое счастье...

Пока мы рассаживались в креслах, я поделился своим наблюдением с Тетом, чтобы расквитаться за его суггестивную атаку: на солнце приходится смотреть всю Красную Церемонию, и теперь у него был шанс для разнообразия увидеть перед собой нечто иное.

К моему удивлению, Тет яростно закивал головой.

— Я тоже ненавижу гей-дизайн, — сказал он. — Особенно в одежде. Я недавно пытался найти в своем бутике приличные плавки — и у всех была одинаковая огромная шнуровка на гульфике. Которую очень интересно, наверное, развязывать зубами под кристаллическим метамфетамином, порочно глядя на партнера снизу. Но во всем остальном она нефункциональна, и плавки постоянно спадают. Что тоже, наверное, входит в концепцию. И вся одежда, которую делают геи, такая же. Не то чтобы нефункциональная, а функциональная в крайне специфическом диапазоне. Но никого другого в дизайн давно не берут — мафия. Вот за это мы их и не любим. Я имею в виду, дизайнеров одежды...

Тет, видимо, бравировал вольномыслием — или показывал, как бесстрашно умеет заглядывать в бездну новейший европейский дискурс: все знали, что три телепузика голубые как небо апреля (я сообразил наконец, что именно по этой причине Аргус и вступил с ними в спор о половой ориентации Великого Вампира). Правда, в каких именно отношениях они состоят друг с другом, было для меня загадкой. Наверно, какой-нибудь треугольник Эшера. Впрочем, не мое это дело.

— Он пытается испортить тебе Красную Церемонию, Тет, — сказал Эз. — Точно так же, как ты пытаешься испортить ее ему... Ребята, реасе.

Эз был самым умным из всех. Я убеждался в этом при каждой новой встрече.

— Ты ошибаешься, — сказал Тет. — Это правда — насчет будущего. Я пробовал.

— А зачем заглядывать в будущее, если надо отказаться от радости в

настоящем? — спросил Эз. — Чтобы выяснить, будет ли радость потом? Это глупо. Пропадает единственный смысл, который я вижу в процедуре. Все равно что секс без наслаждения... Самые мудрые говорят, что Красная Церемония нам совершенно ни к чему. Она ни к чему даже Великой Мыши — и нужна только Великому Вампиру. Он затягивает в нее через удовольствие. Точно так же, как людей в совокupление. Если бы не было наслаждения, кто бы плодил детей? Вот так и мы — кто бы трясся в этих креслах?

— А зачем Великому Вампиру Красная Церемония? — спросил Тар.

— Мы не знаем, — ответил Эз. — Может быть, мы просто участвуем в его пищеварении...

— Не богохульствуй, — сказал Тар.

— Да, — ответил Эз, — извини. Забыл, что мы в России...

— Хватит острить, — сказал я. — Настройтесь на серьезный и торжественный лад. Вспомните о миллионах безответных тружеников, которые сделали возможным наше сегодняшнее счастье...

Французы захихикали — я понял, что в этот раз мне действительно удалось их развеселить. Но тут раздался нежный звон — словно ветер качнул увешанную серебряными колокольчиками занавеску, — и смех стих.

Церемония началась.

Мягкие пластиковые фиксаторы защелкнулись на моих щиколотках и запястьях. Потом на грудь и живот опустилась выдвинувшаяся из-за спинки кресла пластина — все это должно было защитить меня от травм, если мое тело начнет непроизвольно сокращаться во время приема баблоса.

Кресло медленно отклонилось назад — и теперь я уже не видел французов. Передо мной осталось только сияющее на потолке солнце, и я с ухмылкой подумал, что телепузикам обеспечен однозначный ассоциативный коридор на все время таинства — если кто-нибудь из них решит открыть глаза.

Дальнейшее всегда напоминало мне зубоvрачебную процедуру. Раздалось тихое жужжание, и на мою голову опустилось прозрачное забрало с мягкими прокладками. Два резиновых валика надавили мне на щеки, и, когда мой рот открылся, из черного металлического набалдашника перед ним выдвинулась тонкая трубка и уронила точно в центр моего языка маленькую холодную каплю, которую я тут же рефлекторно прижал к небу...

Помнится, первая Красная Церемония показалась мне чем-то грандиозным и неземным. Но после того, как я пережил этот опыт множество раз, я стал относиться к нему с некоторым скепсисом. Чудо

ушло — осталась лишь жажда, как называют в наших кругах неизбывную тоску вампира. Сперва кажется, что это тоска по баблосу — вот только удовлетворить ее не может никакое его количество.

С годами понимаешь, что Красная Церемония вовсе не утишает жажду. Она ее разжигает.

После того, как капля баблоса попадает на язык, вампир прижимает ее к небу — тому месту, где к ней может прикоснуться магический червь. Между баблосом, языком и магическим червем не должно быть никаких посторонних элементов — это опасно. Именно поэтому первая часть процедуры не претерпела никаких качественных изменений за последние десять тысяч лет.

Нельзя спрятать баблос в желатиновую пилюлю, или еще как-то модернизировать эту фазу. Красная капля падает в рот вампира точно так же, как в древние времена, когда на время церемонии нас привязывали к ложу или креслу веревками. Только раньше вампиру вставляли между зубов специальную деревяшку, как эпилептику. Теперь из-за современных фиксаторов в подобном нет необходимости.

Если вдуматься, уже в первой секунде Красной Церемонии содержится ее эстетическое саморазоблачение: рефлекторное движение ловящего каплю языка слишком уж судорожное и нервное, чтобы иметь отношение к божественному. Больше оно напоминает о наркотическом рабстве.

После этого начинается долгая и не особо приятная галлюцинация, во время которой кажется, что ты со страшной скоростью перемещаешься в пространстве (тело начинает произвольно дергаться, поэтому его приходится фиксировать). Потом происходит самое мучительное — кажется, будтоходишь в соприкосновение с тысячами, или даже с миллионами человеческих умов — и успеваешь на страшной скорости заглянуть в каждый из них.

Как сказал кто-то из простоватых русских вампиров, словно собираешь картошку — а тебя заставляют работать все быстрее и быстрее... Несмотря на сельскохозяйственность, довольно точный образ. Невыносимей всего именно эта нечеловеческая скорость. Такое чувство, что становишься раскаленной сверхзвуковой иглой, которая продевает сквозь чужие головы невидимую нить, соединяет их в гирлянды и уходит в матово-черную непостижимость. Некоторые верят, что эта непостижимость — Иштар, другие думают, что это сам Великий Вампир (лично я равнодушен к этому спору о бирках). Падением в эту бесконечную черноту и кончается первая часть Церемонии.

За годы я изобрел несколько уловок, позволяющих чуть-чуть

облегчить неприятную фазу. Можно сосредоточиться на какой-нибудь мысли или без конца считать про себя от одного до десяти. Но самый действенный и простой метод — это зацепиться за чье-то отдельное сознание и удерживать на нем внимание как можно дольше, позволив процессу развиваться без твоего участия. Надо просто вглядываться во мглу одной-единственной выбранной души, отключаясь от раскаленных волн влетающей в тебя информации. Думаю, это не вполне достойное поведение — все равно что спрятаться в окоп, пока товарищи по Церемонии идут в атаку. Но трусость здесь никому не видна.

Если Эз был прав, и в Красной Церемонии нуждался только Великий Вампир, это, наверное, был мой способ уклониться от труда на его ниве. Но на каждого хитрого кровососа, как известно, есть своя космическая справедливость с винтом. Подозреваю, что я так редко попадал на Красную Церемонию именно из-за своей привычки сачковать во время сакрального ритуала — и Великий Вампир не посылал мне баблоса потому, что я не желал честно его отрабатывать. А все перипетии моей вампирической судьбы были просто объективацией этого обстоятельства — отсюда и ненависть Великой Мыши, и черная зависть собратьев...

Впрочем, так можно скатиться в лютеранство или психоанализ. Нам это ни к чему.

Первая попытка зацепиться за чужой ум не получилась. Я скользко кувыркнулся сквозь гриппозный кошмар какого-то политтехнолога, которому снилось, что он работает на дом Бурбонов («Людовик — это от слова „люди“»!). Но сразу же после этого я удачно зацепился за ум десятилетнего мальчугана, занятого игрой на крохотной ручной консоли — размером чуть больше шоколадки. Я таких раньше не видел: у меня были только стандартные «Playstation» и «Xbox». Ребенок дрался с каким-то ледяным гигантом, управляя воином-меченосцем.

Консолька подловато подыгрывала ледяному гиганту, задерживая мальчика в самые ответственные моменты боя — так, что ему вновь и вновь приходилось умирать в миллиметре от победы — и начинать долгую битву сначала. У мальчика на лбу залегла глубокая недетская морщина — он чувствовал всю несправедливость происходящего, и не мог понять, кто и зачем придумал, чтобы даже этот маленький фальшивый мир, который вообще можно сделать каким угодно, был устроен так подло и нечестно. Чувство это, надо сказать, было хорошо мне знакомо по собственному игровому опыту.

Самое поразительное, что в этом трудном детском деле (которое родители, должно быть, считали приятным времяпровождением)

присутствовал не только азарт. В нем было не меньше смертной тоски, чем в последних минутах идущего в бой солдата — но мальчугана-игрока, в отличие от солдата, убивали вновь и вновь. Потом, правда, он нашел способ одолеть гиганта — но этого я уже не успел увидеть, потому что держаться за чужое сознание стало невозможно. Твердо решив купить себе такую же микроконсоль, я рухнул в черную засасывающую мглу, где от меня не осталось ничего.

Первая фаза Церемонии кончилась.

Если бы в нашей памяти оставалась только она, мы, наверное, не особо стремились бы повторить этот опыт. Но все дело в том, что происходит следом — когда, если верить халдейским ученым, мощнейший нейротрансмиттер, исходящий от магического червя, меняет химию нашего мозга, замыкая в нем контуры неведомого людям наслаждения. Одновременно редактируется память о только что пережитом страдании (многие вампиры верят, что мы вообще забываем большую часть первой фазы — и это кажется мне вполне возможным).

Но как описать то короткое и невыразимое, что случается после? Я даже не могу сказать, сколько оно длится. И в какой именно момент мы замечаем, что это уже происходит...

Я всегда был.

Я всегда буду.

Первая же мысль, пройдя рябью по вечности, которая была мной, доказала это с абсолютной очевидностью.

Это было не просто счастье. Это было нечто большее, совершенно незнакомое человеку. Всемогушество и всеведение. Я мог все — но ни к чему не стремился. Я знал все — и именно поэтому ничего не желал знать. Было вообще непонятно, как можно чего-то хотеть.

Кроме того, чтобы остаться здесь навсегда.

Как только в сознании возникла эта крохотная трещинка, невозможное и невыразимое перестало быть мной и начало отдаляться — и я уже не мог стать им снова. Не мог именно потому, что хотел. Хотел вернуться в ту секунду, где не хотел ничего.

Раньше мне казалось, что в этот момент можно сделать какое-то правильное душевное усилие и изменить ситуацию. Теперь у меня имелся долгий опыт — и я знал, что ничего не смогу поделать до следующей Красной Церемонии, и чем дальше от вечности будет уносить меня ветер

мыслей, тем сильнее окажется моя жажда.

Но это была только часть того вихря переживаний, которым завершается каждая Красная Церемония. Есть много другого, что довольно трудно объяснить не имеющим подобного опыта людям.

Дело в том трюке, который совершает память. Она подсказывает — миг назад кончилось нечто невыразимо прекрасное, дивное. И хоть ты знаешь, что ничего особенного на самом деле не произошло и все оставалось именно тем, чем было всегда (и в этом самое главное), память утверждает, что чудо случилось. И ты поддаешься ее сладкому обману, понимая на один озаренный неземной иронией миг, как ограничен человек, какое засахаренное надувательство есть весь его внутренний мир и все, что можно думать или помнить.

Божественность этой секунды в том, что замечаешь, как на твоих глазах вершится нехитрый обман, который люди принимают за реальность... Такое действительно может видеть только бог — через дырку оставленного в человеческом сознании служебного люка.

Ради этого мига вампиры и претерпевают все муки первой фазы. Иногда он растягивается, и возвращение к обычной реальности оказывается долгим и плавным, иногда все происходит быстро — но разница не играет роли. Возможность попасть на эту вершину снова — единственное, что имеет значение. С крючка невозможно соскочить.

Но в этот раз произошла странная вещь. Как только в моей вечности появилась первая трещина страдания, я вспомнил слова Тета — о том, что можно заглянуть в будущее вместо того, чтобы пытаться продлить этот миг. И я неожиданно для себя попытался это сделать — используя для этого остатки своего ускользящего всемогущества.

Я увидел что-то похожее на обрывок сна.

Передо мной было штормовое море, мглу над которым прорезали косые зиги молний. В море плыл корабль. Такой огромный, что волны ничего не могли ему сделать — он был слишком велик, чтобы качаться от их ударов. Этот корабль был совершенно черным, с гладкой верхней палубой, на которой не было ни надстроек, ни людей. И больше всего он походил на огромный черный гроб (я понимаю, что это уже становится немного смешным — но говорю чистую правду).

Затем я вдруг понял, что я уже на корабле. Передо мной было длинное полутемное помещение, похожее на нутро огромного шкафа. Такое сравнение пришло мне в голову потому, что там в несколько рядов висели какие-то темные костюмы...

Потом я понял, что это не костюмы. Это были люди. Верней, вампиры.

Я видел нечто вроде огромного коммунального хамлета. Мне говорили, что после революции семнадцатого года подобное действительно существовало, пока не выросло новое поколение халдеев. Но здесь было что-то другое.

Вампиры висели на узких треугольных штангах, похожих на костюмные вешалки — потому мне и показалось сперва, что это развешенная одежда. Их полная неподвижность пугала. Кажется, все они спали. Но не так, как дремлют в хамлете, где тело все-таки совершает произвольные движения, а очень глубоким сном. Или вообще были мертвы.

Потом я увидел, что многие из них необычно одеты. На них были рясы, камзолы, какой-то древний slim fit с кружевами — и вперемежку с этим сюртуки, френчи, фраки. Все это было в основном черного цвета, поэтому странности такого соседства делались заметны постепенно.

Женщин было мало. Их вообще немного среди вампиров, потому что каждая женщина — это потенциальный конкурент Великой Мыши, но здесь их было даже меньше, чем обычно. Их ноги были целомудренно завернуты в длинные платья, и они казались подвешенными мумиями в бинтах.

Другой странностью были длинные бороды у большинства вампиров-мужчин. Чем длинней борода, тем старомоднее был наряд. Самая длинная, несколько раз перекрученная вокруг пояса, принадлежала мелкому лысому мужичку, завернутому, как мне сперва показалось, в одеяло (потом по золотой пряжке на плече я понял, что это черная тога).

Затем я увидел Эза.

Его глаза были чуть приоткрыты, а на подбородке и щеках отросла длинная редкая щетина.

Рядом висел Тет. Через двух толстых вампиров — Тар. А дальше...

Дальше был я.

Я не видел своего лица. Но мне достаточно было один раз увидеть свою перевернутую спину и знакомую прядь волос, чтобы испытать холодную дрожь узнавания. На мне была обычная немудрящая черная пара, снятая с манекена в бутике.

Ошибиться я не мог.

Испуг был таким, что я перестал видеть длинные ряды висящих в полутьме вампиров. Передо мной мелькнули другие помещения черного корабля — в одних рокотали какие-то сумрачные машины, в других, словно в запаснике музея, стояли древние статуи и саркофаги, в третьих грозно блестело оружие... Комнаты были безлюдны. Бодрствующих людей (или

вампинов — все были только в черном) я видел всего два раза. Они проезжали мимо кладовок по трубообразным коридорам — в коробках, похожих на горизонтально движущиеся лифты.

Потом я ощутил нечто вроде центра тяжести этой огромной ладьи. Там находилось живое существо. Вызываемое им чувство напоминало о Великой Мыши — но существо было неизмеримо старше и могущественней (раньше я не представлял, что такое возможно). А затем я его увидел...

Это было что-то вроде огромного крылатого осьминога (именно так), щупальца которого проходили сквозь борта и плавали в море вокруг корабля, как проросшие в воду корни. Существо знало, что я его вижу. Оно само показывало мне себя. Вернее, не показывало — а лишь давало понять, что оно есть. Но вообще-то ему ничего от меня не было нужно.

Или оно хотело, чтобы я так думал.

А в самую последнюю секунду я понял еще одну вещь. Софи была рядом. Но не в трюме с оцепенелыми вампирами, а где-то еще на этом корабле.

Она посылала мне привет. Она хотела меня видеть.

Это было так странно... Словно в крохотном потаенном уголке циклопического корабля зеленел нежнейший росток. И этот росток меня почти любил...

Я и забыл, когда на моих глазах последний раз выступали слезы.

— Рама! Ты живой?

Я открыл глаза. Телепузики уже встали с кресел. Красная Церемония была завершена.

— Живой, живой, — сказал я, поднялся с места и поплелся к выходу вслед за ними.

Когда мы оказались в коридоре, я поймал взгляд Тета. В нем был вопрос. Я кивнул. Тогда он подошел ко мне и взял меня под руку.

— Ты видел?

Я снова кивнул.

— Корабль?

— Да, — сказал я. — И еще видел нас всех. Что это?

— Будущее. И довольно близкое.

— Мы на самом деле там? Как в «Матрице»?

— Нет, — сказал Тет. — Мы здесь. Но мы там будем. А потом, может быть, вернемся в мир. Я ничего больше не знаю, Рама. Ты видел бэтмана?

— Нет, — ответил я. — Я видел какого-то Ктулху.

Тет засмеялся.

— Бэтман и Ктулху — это одно и то же, — сказал он. — Просто покрывающие легенды. Его маскировочные мифы.

— Его — это кого? — спросил я.

Тет посмотрел на меня с недоумением.

— Нашего господина, — ответил он.

— Какого господина?

— Если ты не знаешь, подожди, пока тебе объяснят.

— Не говори загадками, — попросил я.

— Давай сменим тему, — сказал Тет и убрал руку.

Мы дошли до арки с перевернутыми атлантами, где ждал комариный церемониймейстер. Эз повернулся ко мне.

— Было здорово тебя увидеть, — сказал он.

— Куда вы теперь? — спросил я.

— Завтра улетаем в Рио. А сейчас нас везут развлекаться. Охота на медведя в мешке, какая-то древняя русская забава. Потом из его мозгов сделают культовую кашу с луком.

— А кто в мешке? — спросил я. — Вы или медведь?

Эз наморщился.

— Не грузи. Как будто тебе всего этого, — он кивнул на арку, за которой остался Красный Зал, — мало. До встречи, Рама.

Я попрощался с телепузиками (Тет теперь избегал моего взгляда) и сел за ближайший пустой стол.

Мысли вихрем крутились в моей голове. Софи была на этом корабле. Что она там делала? Или ощущение ее присутствия было просто эхом нашей встречи? Ведь я ее там так и не увидел... Она обещала устроить нашу встречу. Но как? Когда? Где?

Что-то тяжелое приземлилось на стол рядом, и я вздрогнул.

Передо мной стояла сильно уменьшенная копия старого советского холодильника — эдакий «ЗиЛ»-бонсай в сорок сантиметров. На нем был даже карликовый магнитик в виде божьей коровки, прижимавший к дверце исписанную микроскопическим почерком бумажку размером с ноготь.

Сзади сверкнула мертвой улыбкой маска халдейского официанта.

— Что это? — нахмурился я.

— Тирамису, ваша низость, — ответил официант, ставя рядом чайный набор. — Тирамису и чай.



Dionysus the Oracular

Табуретки были старые, советские — грубые и прочные, сделанные в середине прошлого века. Сохранились они идеально — на древней коричневой краске не было ни одной царапины. Казалось, что они пропитаны космической болью — и космической мечтой, которая была просто отражением этой боли, миражом, отзеркаленным в другую сторону...

Табуретки оказались в Хартланде чудом — много десятилетий назад их занесли в одну из мемориальных камер по какой-то технической надобности да и забыли.

А теперь их хранили рядом с комнатой Великой Мыши, и мы с Энлилем Маратовичем регулярно сидели на этих уникальных артефактах во время разносов. Я избегал в таких случаях поднимать глаза на Иштар — и изучил ножки табуреток до последнего сучка и потека краски. Неизвестный зэк, сделавший их когда-то, вряд ли предполагал, что его нехитрый продукт нырнет так низко. Иначе он, наверное, работал бы хуже.

Сегодня мне особенно не хотелось поднимать глаза. Но я не мог ничего с собой поделать и временами поглядывал на мерцающий экран во всю стену тронной камеры.

На экране была библиотека клуба «Haute SOS». А если точно, мои голые ноги. Елозящие на пустом диване. Хорошо еще, что камера была установлена так, что я попадал в кадр не весь. А то был бы совсем позор.

Самым отвратительным было то, что на соседней табуретке сидел Энлиль Маратович. Иштар почему-то полюбила вызывать нас на ковер вдвоем.

— Ладно, — не выдержал Энлиль Маратович. — Хватит. Возмутительно. Рама Второй, надо же знать меру в распутстве!

Мой взгляд ввинтился в ножку табуретки — словно пытаюсь отыскать там щель, в которую могла бы спрятаться душа.

— Милый, — нежно прошептала Иштар, — в твоих изменах есть что-то настолько трогательное... Это так свежо...

— Сам не ведает, что творит, — сказал Энлиль Маратович.

— Я в курсе, — ответила Иштар. — Рама, ты чего глаза прячешь? Чего ж ты жалуешься, что я тебя всего высосала? А сам налево ходишь? Значит, силенки еще есть.

— Я не жалуюсь, — буркнул я.

— Он правда не жалуется, — сказал Энлиль Маратович. — Парень держится молодцом. Я бы так не смог. Может, простим на... Какой это раз?

— Пятидесятый, наверно, — ответила Иштар. — Простить мы простим. Мне другое интересно. Зачем нашим партнерам комар из лимбо?

— Не знаю, — сказал Энлиль Маратович. — Наверно, для общей информационной вооруженности. Но вообще-то у них уже были комары от Дракулы. И много.

— А у нас не было, — сказала Иштар.

— Да, — согласился Энлиль Маратович. — Рама молодец, привез. Не зря мы ему такую престижную премию дали.

— Правда, что их посылает сам Дракула? — спросила Иштар.

Энлиль Маратович кивнул.

— Это пригласительный билет. Его обычно получают потенциальные отщепенцы. Те, кто может клюнуть на его удочку. Персонажи вроде Озириса. Который и клюнул.

— И что там происходит?

— Обычно Дракула читает визитерам длинную и нудную лекцию о своих мистических открытиях. Нормальный вампир засыпает через три минуты.

— Я хочу знать, чему он учит, — сказала Иштар.

— Ничего интересного, правда, — ответил Энлиль Маратович. — Обычная лузерская болтовня.

Голова Иштар мотнулась сначала вверх, а потом вниз. Из-за длинной шеи амплитуда этого движения была такой, что означать оно могло что угодно, от полного согласия до абсолютного неприятия.

— Тогда почему им так интересуются наши партнеры?

Энлиль Маратович молчал.

— Так я и думала, — сказала Иштар. — Никто ничего не знает. Придется выяснить самой.

Она покрутила головой. Это выглядело, словно она стряхивает с шеи воду, но я знал, что она передает приказы через свой гироскопический ошейник.

Прошло несколько секунд, и дверь открылась. В комнату вошла одна из ее прислужниц, похожая на черную вдову из-за закрытого платом лица. В ее руках было большое блюдо, на котором лежал мой служебный вампонавигатор, опечатанный старомодной свинцовой пломбой. Рядом стоял флакон в виде золотой шахматной пешки (еще одно милое напоминание о моем месте в иерархии). Рядом белела тонкая прозрачная змея свернутого контрольного шланга.

— Комар уже переработан в препарат, — сказала Иштар. — Мы приняли решение встретиться с Дракулой лично.

— Ничего не выйдет, — ответил Энлиль Маратович. — Дракула не станет говорить с Великой Мышью.

— Я отправлюсь к нему инкогнито, — сказала Иштар. — В качестве Геры. В сопровождении Кавалера Ночи. Заодно мы выведем во тьму нашу новую прическу...

Великая Мышь каждый раз придумывала свежий дизайн своей анимогаммы лично. Она разрабатывала его тщательно и вдумчиво — и я никогда не знал, в каком именно наряде она появится передо мной. Это было известно только моему вампонавигатору, с которого прислужница как раз срезала пломбу. Никто не должен был вмешиваться в труд медиумов-чистильщиков, воплощавших художественные фантазии Иштар в препарате (полностью этой технологии я не понимал — да и не стремился).

— Такое возможно, — сказал Энлиль Маратович. — Но тогда богиня не будет себя помнить.

— Она все вспомнит потом, — ответила Иштар. — А о безопасности путешествия позаботится Кавалер Ночи.

— Я был не стал...

— А я бы стала, — сказала Иштар. — Рама, на жердочку.

— Богиня желает отправиться прямо сейчас? — спросил я.

Она даже не поглядела на меня, ограничившись экономным кивком. В ее манере было столько пренебрежения, столько... Было件нятно, что я для нее не больше попугая.

Впрочем, надо было радоваться — относись она ко мне серьезней, вряд ли я пережил бы уже первую свою измену. А с домашнего животного какой спрос?

Энлиль Маратович встал, поклонился и вышел в коридор. При интимных отправлениях Великой Мыши полагалось присутствовать лишь ее прислужницам.

Я поглядел вверх. С потолка спускалась золоченая жердь. Нет, не зря мне пришло в голову сравнение с попугаем.

Через минуту я уже висел напротив Великой Мыши вниз головой. Ее служанка (я не знал ни одной из них по имени) с проворством опытной медсестры воткнула иглку контрольного шланга мне в руку. Такое делалось редко — только в самых ответственных случаях, когда требовалось поддерживать высочайшую надежность контакта. Потом она надела вампонавигатор на мои верхние (теперь уже нижние) зубы. И, перед тем как закрыть мне рот, сделала самое неприятное — капнула туда из

золотого флакона-пешки Большой Красной Печатью — препаратом из ДНА Великой Мыши. Крайне сильным препаратом. Это была почти чистая красная жидкость. Она оглушала сразу.

Я всегда ненавидел форсированное погружение. Оно больше похоже не на спуск в лимбо, а на прием цианистого калия. Я говорю так не в фигуральном смысле — по одному из коллекционных препаратов из библиотеки Браммы я знал, что цианид вызывает как бы космическую тошноту, очень быстро нарастающее омерзение ко всему физическому миру, которое кончается его полным отторжением. Действие Красной Печати было практически таким же — за исключением того, что после закрытия одного мира открывался другой.

Дальнейшее зависело от настроения Иштар. Чаще всего я терял контроль и оказывался в подобии сна, где она пряталась за какой-нибудь маской. Поскольку я не понимал, что происходит, я никогда не мог выяснить, за какой именно. Я даже не знал, что вокруг меня маски — и верил во все так же чистосердечно, как в жизни. Тем неприятней бывало пробуждение.

Но сегодня я нужен был ей в качестве провожатого. Спала сама Иштар — и ей снилось, что она просто Гера. А я сохранял ясность ума и знал, кто передо мной — хотя это знание не было, конечно, окончательным: я не пытался установить, где в ней кончается Гера и начинается Великая Мышь. Энлиль Маратович был прав. Такого не стоит делать даже с обычной бодрствующей женщиной. А уж тем более со спящей богиней.

Когда шок от удара Большой Печати прошел, я увидел, что мы лежим на кровати в спальне Дракулы.

На той самой кровати.

Мы как бы проснулись одновременно. Мы оба были совершенно голыми. Наша одежда была беспорядочно разбросана на полу. Видимо, Гера собиралась к Дракуле не сразу.

Ее волосы были покрашены в цвет выгоревшего сена и стянуты в несколько несимметричных хвостов смешными разноцветными заколками, изображающими ползущих по ее голове гусениц. Мило и вполне в ее стиле — но не слишком оригинально.

Она огляделась по сторонам, повернулась ко мне и растерянно улыбнулась.

— Где мы? — спросила она. — Я ничего не помню. Мы что, пили? Или что-то приняли?

— Сюрприз! — бодро отозвался я, сунул руку себе за спину и извлек оттуда букет.

Не слишком большой, в основном из полевых цветов. Такой, словно его собрала девочка из Подмосковья. Я и сам мог бы так подумать, если бы не знал, что его составляли два выписанных из Японии спеца по икебанае.

Она улыбнулась и взяла цветы.

— Где ты их каждый раз прячешь? Я никогда не замечаю, что ты с букетом.

— Никогда не стремитесь проникнуть в тайны волшебства, — сказал я. — Изнанка многих фокусов может испортить полученное от них удовольствие.

Она подняла букет и утопила в нем лицо.

— Не пахнут.

— А чем они должны пахнуть? — спросил я.

— Изнанкой фокуса, — сказала она. — Спасибо, милый. Но я сколько раз тебе говорила, не приноси мне букетов. Потом таскать весь день.

— А ты не таскай, — ответил я. — Брось на пол. Я тебе новый подарю.

— Ты не обидишься?

— Ничуть.

Гера бросила букет на пол. Я посмотрел на часы. Прошло уже три минуты с начала сеанса. Можно считать, взлетели.

— Иди сюда, — сказала она и счастливо улыбнулась.

Женщины вообще не особо любопытные существа, подумал я, выполняя распоряжение. Вот Гера — спросила, где мы, получила букет и все забыла. Им неважно, как устроен космос. Им важно знать, что пещера достаточно безопасна для того, чтобы завести потомство. Это древнее.

Я знал, что думать так рискованно — поскольку Иштар при желании сможет увидеть все, что приходило мне в голову, и мне достанется за каждую гендерно несбалансированную мысль: после того, как ей отрезали тело, феминистическое начало в ней стало очень сильным. Но ничего поделать с собой я не мог.

Впрочем, Гера была красивой девушкой, и происходящее вовсе не казалось мне испытанием. Совсем наоборот. Я, как всегда, забыл все страхи и опасения — и свои измены тоже. Мне хотелось верить, что это происходит на самом деле. И это действительно начинало происходить на самом деле. Во всяком случае, на некоторое время...

Гера положила ладони на мою голову и легонько толкнула ее к своему животу. Я подчинился. И опять без всякого внутреннего усилия — хоть и предполагал, что пристрастие Геры к этой процедуре является чем-то вроде реакции на неосознанную фантомную боль. Впрочем, загробный

психоанализ никогда не был моим коньком.

Мне вообще приходило в голову куда больше мыслей, чем следовало бы. А одна из них рассмешила меня до такой степени, что пришлось прервать упражнение.

— Что? — томно вздохнула Гера. — Что ты смеешься?

— Я вспомнил, — сказал я. — Как один московский сексолог отвечал на церковную критику куннингу.

— Как?

— «Вылизывая самке наружные половые органы, самец хочет показать ей, что будет заботиться о яйцах, которые она отложит. Этой традиции много миллионов, если не миллиардов лет, и не мракобесам в рясах...»

— Фу, — с выражением сказала Гера. — Дурак. Все испортил. А про сексолога врешь, ты сам это только что придумал. Вот всегда ты так. Всегда.

— За это ты меня и любишь, — сказал я.

— Нет. За это я тебя как раз не люблю, — ответила Гера, встала с кровати и начала одеваться.

К счастью, она быстро засмотрелась на себя в зеркале — и забыла свою обиду.

Сегодня она была во всем сером и протертом — как бы в сильно вылинявшем черном. Даже ее трикотажная кофточка, кажется, была много раз постирана вместе с десятком булыжников.

Мой наряд был стандартным для таких встреч — легкий черный костюм и черная рубашка с красной пуговицей на горле. Возможно, под кроватью нашелся бы и галстук — но я за ним не полез.

Я покосился на стену спальни — не появилась ли на ней картина с красным цветком. Но ее не было. Неизбежное в этот раз обошлось без свидетелей.

Мы вышли в коридор.

Я плохо представлял, куда надо идти — и почему-то был уверен, что это выяснится само.

В коридоре было светло от знакомых витражей со всадниками и всадницами. Все было таким же, как я помнил, только цветы в нишах оказались другими — и, кажется, вазы тоже. Может быть, их меняли вместе.

Мы миновали малахитовую арку с бронзовыми сатирами и оказались на лестничной площадке, выложенной разноцветными ромбами. Пожарная дверца в стене исчезла — словно тут успели сделать ремонт и спрятать ее под штукатуркой. Зато массивная дверь, к которой спускалась лестница,

оказалась приоткрытой.

— Что там? — спросила Гера.

— Большой зал приемов, — сказал я. — Но я там не был.

За дверью действительно оказался большой темный зал. В нем горела одинокая свеча на тонком высоком подсвечнике — но желтого огонька хватало лишь на то, чтобы осветить несколько плит пола. Зал был таким большим, что мы не видели его границ — только смутно ощущали их.

Мы подошли к свече. Огонек дрогнул, словно где-то неподалеку открылась дверь, и я увидел в дальнем конце зала второе пятно света.

В нем стояло чрезвычайно странное существо.

Это был высокий и худой юноша журавлиных пропорций. На его голове поблескивал сложный головной убор — что-то среднее между золотой митрой и высоким шлемом. В руке он держал тонкий золотой посох. На его запястьях и предплечьях мерцали разноцветными камнями тонкие браслеты, а на груди висела гирлянда желтых цветов. Из одежды на нем была только оранжевая набедренная повязка. Но самым странным был цвет его кожи.

Небесно-синий.

В его внешнем облике совершенно точно не было ничего общего с бородатым господином, которого я видел на портретах.

— Харе Кришна, — прошептала Гера.

Она была права. Дракула (если это был он) больше всего походил на Кришну с обложки одной из тех книг, которые раздают в переходах адепты Бхагавад-Гиты.

Я подумал, что Бальдр с Локи, заряжавшие мой вампонавигатор, все перепутали — или просто украли моего комара, заменив его чем-то непонятным.

Но синий незнакомец приветливо кивнул нам и пошел в нашу сторону, через каждые несколько шагов останавливаясь, чтобы зажечь от своего золотого посоха невидимую свечу.

Он просто касался им какой-нибудь точки в темноте, и там появлялся огонек. Потом становился виден подсвечник, и из мрака появлялся небольшой сегмент освещенного пространства.

Чем больше свечей он зажигал, тем светлей делалось вокруг. Но в этом было какое-то фокусничество. Дракула касался невидимых свечей с такой точностью, что мне стало казаться, будто он создает их на пустом месте — мало того, их желто-синие огоньки не освещают скрытое в темноте, а, словно крохотные проекторы, рисуют его сами.

Я вспомнил про свет сознания, оживляющий анимогаммы.

Теоретически его источником в этом опыте был я, а все остальное являлось просто моими тенями. Но граф Дракула был необычным вампиром. Неясно было даже, покойник он или нет. Я не мог с уверенностью сказать, кто здесь анимограмма, а кто ныряльщик. Следовало быть начеку.

В зале стало почти светло — теперь я видел глубокие кожаные кресла, камин, два массивных письменных стола, ковры на полу, диваны и книжные шкафы вдоль стен. Это была обстановка английского manor house. Собранные здесь вещи были разделены такими объемами пространства, что зал казался почти пустым. И — по этой самой причине — невероятно роскошным: ведь о преуспевании в наши дни свидетельствуют не столько собранные в человеческом жилище материальные объекты, сколько расстояния между ними. Даже в обычных бетонных сотах пустое место стоит куда дороже того, чем его заполняют, включая людей...

Но волнение не дало мне додумать эту мысль — граф подошел совсем близко. Вблизи он выглядел очень юным — у него еще не росли усы. Его тело казалось вылепленным из синей глины.

Оказавшись возле нас, он остановился и разжал руку, в которой держал посох. Вместо того, чтобы упасть на пол, посох сложился в воздухе и превратился в язычок голубого огня, который ярко сверкнул перед его ладонью и исчез.

Дракула опустил руку и сказал:

— Здравствуйте, господа. Меня вы, вероятно, знаете, раз пожелали увидеть. А как ваши имена?

— Рама Второй, — ответил я.

— Гера Восьмая, — сказала Гера.

Коротко глянув на меня, Дракула уставился на Геру.

— Вы, кажется, не просто Гера Восьмая...

— Я отвечаю за то, что ее путешествие будет безопасным, — торопливо вмешался я. — Мы осмелились навязаться к вам в гости, зная о вашем гостеприимстве и великодушии...

— Вы — Кавалер Ночи? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство.

Мне показалось, что в его глазах мелькнуло понимание и грусть. Он улыбнулся.

— Не называйте меня «сиятельством», — сказал он. — Это было очень давно. Теперь я не граф, а бог.

— Как тогда к вам обращаться?

— Саду, — сказал он.

— Саду? — переспросила Гера. — Это, кажется, обращение к

индийскому аскету?

— И самое подходящее обращение к богам, поверьте.

Дракула указал на два стоящих рядом кресла.

— Садитесь, прошу вас.

Мы с Герой опустились в кресла. Дракула сел на ближайший письменный стол и сложил ноги в безупречный лотос.

— Вы бог в каком смысле, саду? — спросил я. — Вампиры ведь тоже считают себя богами.

— Вампиры носят имена богов, — сказал Дракула. — Но это придуманные людьми имена. Настоящие боги совсем другие. Я действительно стал одним из них. Хотя и по довольно неожиданной причине.

— Не будет нахальством спросить, по какой? — спросил я. — Если мы, конечно, поймем.

— Поймете, — улыбнулся Дракула. — У тебя ведь есть привычка висеть в хамлете?

— Конечно.

— И сколько ты проводишь там каждый день?

— Прилично, — сказал я. — Наверно, часа два. Иногда больше, когда дел нет. В общем, как могу... Кстати сказать, саду, если я зависаю в хамлете слишком надолго, меня приводят в себя ваши слова. Это от прежнего хозяина осталось. Я столько раз их слышал, что запомнил наизусть... «Ни о чем я так не жалею в свои последние дни, как о долгих годах, которые я бессмысленно и бездарно провисел вниз головой во мраке безмыслия. Час и минута одинаково исчезают в этом сероватом ничто; глупцам кажется, будто они обретают гармонию, но они лишь приближают смерть... Граф Дракула, воспоминания и размышления...»

— Ложная цитата, — сказал Дракула. — Я никогда не жалел ни об одной минуте, проведенной в хамлете. Но вампиры не афишируют мою подлинную историю. Это не в их интересах.

— А почему вашу историю скрывают? — спросила Гера.

— Потому, что она не похожа на миф о Дракуле. Который состоит из бесконечных цитат, где изложена, если угодно, идеология вампиризма. Иные из этих выражений действительно принадлежат мне, но большинство просто выдуманы. Этот миф — важнейшая опора вампирического уклада, фундамент вампоидентичности. Для вампиров Дракула — примерно то же самое, что Джеймс Бонд для англосаксов. Вампир-победитель, собравший в себе лучшие национальные черты, символический чемпион, безупречный образ. Правда не нужна никому.

— А что в вашей жизни нужно скрывать?

— Дело не в событиях моей жизни, — сказал Дракула. — Дело в тех выводах, к которым я пришел. В том, что я понял про природу людей и вампиров.

— И что же это?

— Вампир — вовсе не тайный владыка планеты и бенефициар всех существующих пищевых цепочек. Вампир — это жалкое существо, целиком погруженное в страдание. И от людей его отличает лишь то, что его страдание интенсивней и глубже. Люди и вампиры — не скот и его хозяева. Это просто братья по несчастью. Рабы-гребцы и рабы-надсмотрщики на одной и той же галере.

— Как вы пришли к такому выводу? — спросила Гера.

— Постепенно, — ответил Дракула. — Началось, конечно, с зависаний в хамлете. Мы все этим грешим, но я зависал в нем не просто на несколько часов. Я мог провести там несколько недель, месяц... Странное безмыслие, где полностью исчезают время, тело и ощущение себя, было самым отрадным в моей жизни. Из-за этого я даже не всегда находил время, чтобы грешить с женщинами. И я задумался — что же происходит в хамлете? Я стал исследовать этот вопрос.

— Каким образом?

— Перво-наперво я попытался понять, с чем связано состояние безмыслия, которого достигает вампир. Я решил выяснить, вампирическое это переживание или человеческое.

— Конечно, вампирическое, — сказала Гера. — Человек может висеть вниз головой сколько угодно — но ничего кроме головной боли из этого не выйдет.

— Правильно, — согласился Дракула. — Поэтому я попытался войти в то же состояние не как вампир, а как человек. То есть не свисая с жерди вниз головой, а сидя на земле головой вверх. И после многолетних опытов с медитативными практиками разных религий мне это удалось. Людям уже много тысяч лет известно то состояние, в которое вампир приходит в хамлете. Они называют его «джаной».

Поддержать разговор на букву «Д» я не был готов.

— Джана? — спросила Гера. — Никогда не слышала.

— Это состояние крайней сосредоточенности, или поглощенности, которого достигает созерцатель. Его, например, практиковал исторический Будда — как до своего просветления, так и после. И это одна из немногих вещей, которые про него известны. Вы хорошо знаете, что это. Происходящее с нами в хамлете — это нечто среднее между третьей и

четвертой джаной. Но вампиры и люди входят в поглощенность по-разному. Нам для этого достаточно просто повиснуть вниз головой, и магический червь, контролирующий мозг, сам приводит вампира в абсорбцию. Мы перестаем ощущать тело уже через несколько минут после того, как повисаем на перекладине. А человеку нужно долго, иногда не один десяток лет, тренироваться в концентрации. И то не факт, что он научится достигать джан. Но итог примерно один и тот же — и человек, и вампир приходят в состояние тончайшего блаженства, потому что личность со своим клубком мыслей и проблем куда-то исчезает...

Это было похоже на правду.

— Мало того, — продолжал Дракула, — я понял, что и во время второго нашего таинства — Красной Церемонии — происходит то же самое. Когда вампир переживает действие баблоса, полностью исчезает тот, с кем это происходит. Все остается, а вас в этом нет, и это прекрасно... То, что мы считали собой и другими — лишь легкая рябь на создавшем нас океане бытия...

Слова Дракулы идеально передавали мой собственный опыт.

— Из всего перечисленного следовал странный вывод. Оказывается, высшую радость вампиру приносит не его скрытая власть над людьми и их миром, а возможность на некоторое время исчезнуть. Избавиться от самого себя. То же самое в полном объеме относится к людям. Причем не только к впадающим в джану медитаторам, но и к самым простым обывателям, ложащимся вечером спать...

Он опять был прав. Мне и самому это приходило в голову. Свешиваться с перекладины в хамлете было почти так же приятно, как укладываться спать после тяжелого дня. Расслабляло и радовало предвкушение, что вот прямо сейчас, через минуту или две, все проблемы исчезнут и на их месте не появится никаких новых...

— Это меня поразило, — продолжал Дракула. — Я задал себе вопрос — что же такое мое «я», если избавление от него даже на короткий срок ведет к такому блаженству? И я узнал ответ. Но на это ушла почти вся моя жизнь. Мне было очень, очень сложно...

— Почему? — спросила Гера.

— Дело в том, что у нас, вампиров, есть ложное чувство всемогущества. Мол, достаточно щелкнуть языком, и любое человеческое переживание будет нашим.

— А разве это не так?

— Нет, не так, — сказал Дракула. — Это касается только тех переживаний, которые мы регистрируем как нечто новое, острое и

интересное. А самые глубокие из человеческих переживаний связаны как раз с отказом от погони за стимуляцией чувств. Они для нас практически невидимы.

— Вы говорили, что все выяснили про «я», — напомнил я. — Что же именно?

— Это я сама знаю, — сказала Гера. — И не надо объяснять. «Я» — это то, что я чувствую прямо сейчас...

Дракула поглядел на нее с интересом.

— Если вы думаете, что я совсем дурочка, то зря, — продолжала Гера. — Вы Раману Махарши читали, саду? Есть истинное «я» и ложное «я». Ложное «я» — это эго. А истинное «я» — это сознание. Оно вечно.

Дракула закрыл глаза — и мне вдруг показалось, что он глядит на нас другой парой глаз — выпуклых и синих, без зрачков. Это был страшноватый взгляд.

— Девочка, — сказал он, — во-первых, запомни, что никакого «сознания» не бывает. Во всяком случае, самого по себе. Бывает регистрация различных феноменов нервной системой. Это процесс, в котором каждый раз участвует много элементов. Нечто вроде костра, для которого обязательно нужны дрова и воздух. Костер определенное время горит и потом гаснет. От одной головешки можно зажечь другую. Но нет никакой «огненной стихии» или «элемента огня». Есть только конкретные, как сказал бы пожарный, случаи временного возгорания. И это относится как к Вечному огню у вас на Красной площади, так и к абстрактной идее огня в твоей голове. Все имеет причину, начало и конец. Понятно?

Гера сделала странное движение плечами — то ли соглашаясь, то ли просто стряхивая с себя слова Дракулы.

— А во-вторых, то «я», которое ты чувствуешь прямо сейчас, возникает лишь на тот самый миг, который ты называешь «прямо сейчас». Но в течение своего краткого существования это «я» уверено, что именно оно было и будет всегда. Исчезает оно незаметно для самого себя. И после его исчезновения не остается никого, кто мог бы заметить случившееся.

— «Я» никуда не исчезает, — сказала Гера. — Оно есть всегда.

— Большую часть времени, — ответил Дракула, — никакого «я» вообще нет. Его нет ни во сне, ни когда вы ведете машину по трассе, ни когда вы занимаетесь размножением. Оно возникает только в ответ на специфические запросы ума «Б» — что «я» по этому поводу думаю? Как «я» к этому отношусь? Как «я» должен поступить? И каждое новое «я», возникающее таким образом на долю минуты, уверено, что именно оно было всегда и всегда будет. Потом оно тихо исчезает. По следующему

запросу возникает другое «я», и так до бесконечности. Все, что случается с нами в жизни — происходит на самом деле не с нами, а с настоящим моментом времени. Наши «я» — это просто его фотографии.

— Но мы же помним себя, — не сдавалась Гера. — Вот эта память и есть наше «я». Мы помним, какими мы были.

— Сказать, какими были прежние «я», невозможно, — сказал Дракула. — Память о них отредактирована. Человек является только своим мгновенным «я». И в его существовании есть большие интервалы, когда это «я» просто отсутствует, потому что в нем нет необходимости для выживания физического тела. Эти паузы ничем качественно не отличаются от смерти. Именно поэтому поэты говорят, что смерти нет. Когда человек думает — «я кончусь», «я умру» — кончится только эта мысль. Потом будет другая, потом третья. Или не будет. Вот и все.

— Почему тогда никто этого не понимает? — спросил я.

— Потому что понимать некому. Как мгновенное «я» может понять свою зыбкость, если в его распоряжении каждый раз оказывается вся телесная память? Оно решает, что все запечатленные там события происходили именно с ним. На первый взгляд, это логично — раз оно помнит, значит, оно было всегда. Но на самом деле...

Дракула задумался.

— Что? — спросил я.

— Это как если бы голем, созданный для визита в библиотеку, считал, будто ходил в поход с Александром Македонским, потому что ему на полчаса выдали книгу Арриана «Поход Александра». С этим големом просто нет смысла спорить — спор выйдет длиннее, чем вся его жизнь. У множества хаотично возникающих «я» есть только одна общая черта — каждое имеет уверенность в своей длительности, непрерывности и, так сказать, фундаментальности. Любое моментальное существо убеждено, что именно оно было вчера и будет завтра, хотя на деле его не было секунду назад — и через секунду не будет опять.

— Вы хотите сказать, что наши «я» вообще друг с другом не связаны?

— Почему. Можно сказать, эти «я» наследуют друг другу. Как бы передают отцовский дом сыну. А иногда и случайному прохожему. Но каждому жильцу кажется, что он жил в этом доме всегда, потому что он действительно жил в нем все свое короткое «всегда». И таких Иванов Денисовичей, Рама, в каждом твоём дне больше, чем дней в году...

Кажется, фраза про Ивана Денисовича была цитатой из Чехова. Но особого смысла в ней не было — Дракула скорее всего приводил пример из нашей локальной культуры просто из галантной вежливости.

— Но ведь у всех людей есть устойчивые повторяющиеся состояния, — сказал я. — То, что мы называем «маршрут личности»! Это знает любой вампир, который заглядывал в чужую душу.

— Правильно, — согласился Дракула. — Возникающие в одном и том же доме бесконечные личности просто в силу его архитектуры постоянно ходят по одному и тому же маршруту. Все машины, которые едут по Оксфорд стрит, едут именно по Оксфорд стрит, а не по Тверской улице. И за окнами у них одинаковый вид. Но это разные машины, Рама. Хотя ты прав в том, что разница между ними невелика. Наши «я» цикличны и зависят от пейзажа. Они так же мало отличаются друг от друга, как бесконечные поколения амазонских индейцев или тамбовских крестьян. Массовые убийцы рождаются в человеческих умах достаточно редко. Но зато их долго помнят. Хотя, конечно, полицейские ловят и отдают под суд уже кого-то совсем другого.

— Значит, мы заняты самообманом? — спросила Гера. — И люди, и вампиры?

— Я не стал бы называть это самообманом, потому что здесь нет обманутого. Но на этом механизме основано большинство свойственных человеку заблуждений насчет «себя» и «мира». Попытка пробудиться от такого состояния и есть суть древних духовных практик. Но сделать пробуждение устойчивым сложно по довольно комичной причине. Надолго понять, что в человеке нет настоящего «я», некому. Любое «я», которое это понимает, через миг сменяется другим, которое об этом уже не помнит. Или, еще смешнее, уверено, что помнит — и считает себя просветленным «я», которое теперь может преподавать на курсах «познай себя».

— Так можно проснуться или нет? — спросил я.

— Просыпаться некому. Это и есть то единственное, что понимаешь при пробуждении.

— А потом? — спросила Гера.

— Как правило, засыпаешь снова. В мирской жизни есть только зомбический транс, бесконечная череда ложных самоотождествлений и смерть...

Гера угрюмо молчала.

Я давно заметил, что женщины терпеть не могут болтовни о нереальности человека. Может, в силу своей биологической функции? Они ведь рожают детей, а это тяжелое болезненное занятие делается еще и довольно глупым, если вокруг одна иллюзия. Но раньше я не знал, что эта женская черта характера сохраняется даже в лимбо.

Я почувствовал, что мне пора вмешаться в разговор.

— Вы говорили, что решили исследовать природу и назначение «я», — напомнил я. — С природой, допустим, ясно. А в чем тогда его назначение?

Дракула повернулся ко мне.

— Я задал себе этот же вопрос, — сказал он. — Зачем возникают все эти бесчисленные мгновенные «я»? Чем они заняты?

— И что же вы выяснили?

Дракула вздохнул.

— Они заняты тем, Рама, что страдают, испытывая ту или иную форму неудовлетворенности. И стремятся ликвидировать эту неудовлетворенность. «Я» никогда не находится в покое. Оно всегда борется за свое счастье. Именно для этой борьбы оно и появляется каждый раз на свет.

— Правильно, — согласилась Гера. — Все классики-гуманисты утверждали, что природа человека заключена в постоянном поиске счастья.

— Но есть закон Гаутамы, — сказал Дракула, — открытый двадцать пять веков назад. Когда никаких классиков-гуманистов еще в проекте не было. Он гласит: «любое движение ума, занятого поиском счастья, является страданием или становится его причиной».

— Это неправда, — сказала Гера. — Радость жизни как раз в движении к счастью. От плохого к хорошему. Если бы мы не хотели хорошего, его бы просто не было в жизни. А оно есть. Разве нет?

Дракула усмехнулся.

— Хорошее, плохое. Кто назначает одни вещи плохими, а другие хорошими?

— Ум «Б», — сказал я.

— Именно. А зачем, по-вашему, он это делает?

Я пожал плечами.

— Объясните.

— Объясняю, — ответил Дракула. — Фигурально выражаясь, мы можем использовать свой ум двумя способами. В качестве молотка — и в качестве компаса.

— В качестве молотка? — спросил я. — Это что, головой гвозди забивать?

— Зачем головой. Если человек хочет забить в стену гвоздь, он представляет себе это действие в уме, а затем осуществляет его на практике. При этом он использует ум просто как рабочий инструмент — примерно как молоток...

Дракула перевел глаза на Геру.

— А вот если человек «ищет счастья», — продолжал он, — то он

использует ум как компас. Стрелки которого показывают «плохое» и «хорошее», «счастье» и «несчастье». Именно в этом заключена причина всех проблем. Вы Боба Дилана слушаете? Он совершенно гениально сформулировал: «Every man's conscience is wild and depraved — you cannot depend on it to be your guide, when it's you who must keep it satisfied»...^[20] Понимаете? Это сумасшедший компас, который вы должны постоянно питать своей кровью. Ум устроен так, что страдание возникает в нем неизбежно.

При слове «кровь» Гера поморщилась.

— Почему? — спросила она.

— Потому что он занят поиском счастья. А ум, гонящийся за счастьем, может двигаться только в сторону сотворенного им самим миража, который постоянно меняется. Никакого «счастья» во внешнем мире нет, там одни материальные объекты. Страдание и есть столкновение с невозможностью схватить руками созданный воображением фантом. Что бы ни показывал этот компас, он на самом деле всегда указывает сам на себя. А поскольку компас в силу своего устройства не может указать на себя, его стрелка все время будет крутиться как пропеллер. Зыбкие образы счастья созданы умом — а ум, гонящийся за собственной тенью, обязательно испытает боль от неспособности поймать то, чего нет... И даже если он ухитрится поймать свое отражение, через секунду оно уже не будет ему нужно.

— Мы как-то скачем с одного на другое, — сказал я. — Скажите, «я» и ум — это одно и то же?

— Да, — ответил Дракула, — конечно. «Я» возникает в уме. Или можно сказать, что ум становится этим «я». Ум «Б», как ты правильно заметил. Ум, опирающийся на язык и создающий человеческие смыслы и цели.

— Но если никакого «я» нет, выходит, никакого ума тоже нет?

К моему удивлению, Дракула кивнул.

— Именно. Никакого ума, отдельного от этой погони за счастьем, не существует. Сам ум и есть эта погоня. Нечто, возникающее на миг лишь для того, чтобы погнаться за собственной тенью, испытать страдание от невозможности ее догнать, а затем незаметно для себя исчезнуть навсегда. Следующий ум будет гнаться уже за другой тенью — и страдать по-другому. Но исчезнет он точно так же незаметно, как бесчисленные умы, возникавшие до него.

— У вас получается, — нарушила молчание Гера, — что ничего на самом деле нет, но все невыразимо страдает.

— Так оно и есть, — согласился Дракула с безмятежной улыбкой. —

Лучше не скажешь.

— Никто из вампиров с этим не согласится, — сказала Гера. — Даже люди, которые чего-то достигли, не согласятся. И скажут, что они еще как есть и при этом вполне счастливы.

— Ну, мало ли кто что скажет, — махнул рукой Дракула. — Вампиры закомплексованы настолько, что уже много веков не позволяют себе свободно думать. А люди этого вообще никогда не умели. Мало того, сегодняшний рыночный этикет требует от продавца рабочей силы все время улыбаться под угрозой увольнения. Люди не понимают, что постоянно кричат от боли. А если кто-то и поймет, он даже самому себе не решится признаться в таком глубоком лузерстве.

— Как это люди не понимают, что кричат от боли?

— А как они могут понимать? Люди не помнят, что с ними в действительности происходит минута за минутой, потому что у них нет привычки наблюдать за собой. И каждая новая личность не помнит ту, которая страдала на ее месте три минуты назад. Люди настолько глубоко погружены в страдание, что научились считать «счастьем» тот его уровень, когда они еще способны растянуть лицо в требуемую приличиями улыбку. Человек вынужден ломать этот идиотский спектакль даже в одиночестве, поскольку в его внутреннем измерении нет вообще ничего кроме контролирующих его мысли и эмоции социальных имплантов, которые он с детства принимает за себя...

Я чувствовал, что Дракула начинает не на шутку злить Геру, словно он постоянно оскорблял самый сокровенный слой ее сознания — уже не женское, а нечто еще более глубинное, великомышное. Следовало повернуть разговор в более спокойное русло.

— Многие религии считают, что в людях есть нечто глубинное и неизменное, — сказал я. — Душа. Которая переживает разные настроения и состояния, но в целом предназначена для вечности.

Дракула кивнул.

— Ага. Вот, например, у нас есть устройство, которое мы называем «воздушный шар». Мы предполагаем, что его задача — полететь к небу. Но вместо этого оно год за годом исправно стрижет газон. А остальное получается не очень. В таком случае резонно предположить, что перед нами на самом деле газонокосилка, разве нет?

— Хорошо, — сказал я. — Но зачем существует эта газонокосилка? Зачем нужна эта постоянно сочащаяся страданием иллюзия в самом центре человеческого бытия?

Дракула поглядел на меня с некоторым, как мне показалось,

недоверием.

— Ты разве еще не понял? — спросил он.

Я отрицательно покачал головой.

— Я знаю, куда он клонит, — сказала Гера. — Он хочет сказать...

— Стдание, сочащееся из иллюзии, и есть наша пища, — сказал Дракула. — Вернее, теперь уже ваша пища. Вампиры питаются не неким абстрактным «агрегатом М5», как вы это политкорректно называете. Они питаются болью. По своей природе агрегат «М5» является страданием, которым кончается практически любой мыслительный акт ума «Б».

— Но нас учат, что агрегат «М5» — это то же самое, что деньги, — сказал я растерянно.

— Правильно, — согласился Дракула. — А деньги — это то же самое, что боль. Они имеют одну и ту же природу. Люди всю жизнь корчатся от боли в погоне за деньгами. А иногда могут ненадолго откупиться от страдания с их помощью. Что же это тогда еще?

— Я не могу поверить... — начала Гера.

Дракула поднял ладонь, словно прося ее не трудиться.

— Вампиры никогда не любили говорить о том, что они питаются человеческим страданием. Но в наши дни они дошли до того, что даже запрещают себе это понимать. Они уверяют себя, что питаются просто неким специфическим продуктом ума «Б», который называют то агрегатом «М5», то «баблосом». Но разве содержимое коробки зависит от ярлыка? Баблос и есть концентрированное человеческое страдание. Вся гламуродискурсная вампоэкономика, которой учат молодых вампиров, существует только для того, чтобы не называть лопату лопатой. Это просто фиговый листок, скрывающий неприглядную истину.

— Это звучит почти как blood libel, — сказала Гера. — Не знай я, что передо мной сам Дракула...

— Я называю вещи своими именами, — ответил Дракула. — И рассказываю о своей духовной эволюции так, как она происходила. Если вам не интересно, я могу замолчать.

— Нам интересно, — сказал я. — Продолжайте, пожалуйста.

— Когда я понял, что человек — это просто фабрика боли, я задумался, приходил ли кто-то до меня к такому же выводу. И сразу же выяснил, что такой человек — именно человек, а не вампир — уже жил на земле. Это был Сиддхартха Гаутама, известный как Будда. Я решил исследовать его учение и обратился к древним текстам. Однако здесь меня ждало разочарование. Слова Будды были впервые записаны только через пятьсот лет после того, как были произнесены. До этого они передавались

устно. Очень трудно было отделить его подлинное учение от позднейших наслоений. Однако я заметил одну странную вещь. Будда никогда не отвечал на вопрос, почему существует сочащийся страданием мир, хотя такие вопросы ему задавали не раз. Он говорил, что для раненного стрелой неважно, кто ее выпустил — важно ее вынуть. Это меня поразило. Тут, извиняюсь, нарушена элементарная логика — как же неважно? Пока мы будем вынимать одну стрелу, он другую выпустит... Я сразу подумал, что у Будды был какой-то договор с вампирами древности. И скоро нашел доказательства. Но не в человеческих документах, разумеется, а в сохранившихся препаратах из старых вампотек.

— А где они сохранились? — спросил я.

— Теперь ничего уже не осталось, — сказал Дракула. — Вампиры умеют заметать следы. Но я обнаружил на Шри-Ланке следы древней ДНА, которые позволили мне заглянуть в историю Будды. И я узнал, что именно произошло две с половиной тысячи лет назад...

Дракула замолчал, словно раздумывая, говорить ли дальше.

— Пожалуйста, продолжайте, — попросил я.

— Будда мыслил почти так же, как я — только с человеческих позиций. Он рано постиг, что жизнь полна страдания. Одновременно он увидел, что единственным источником этого страдания является человеческий ум. Логика Будды была простой. Если ум — это орган, вырабатывающий страдание, следовало установить, какие именно движения ума его вызывают. Будда исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что страданием являются все движения ума «Б» без исключения.

— А удовольствие? — спросила Гера.

— Редкие моменты удовольствия есть просто фаза страдания. Удовольствие, как червяк на рыболовном крючке, служит для того, чтобы глубже вовлечь ум в боль... Это был очень смелый для того гедонистического времени вывод. Смелый и дерзкий. У этого вывода не было никакого разумного объяснения, потому что Будда тогда еще не знал о существовании вампиров, создавших ум «Б» в своих целях. Поэтому он решился на то, чего не делал прежде никто из людей. Он остановил все возникавшие в уме «Б» процессы. Не просто подавил их, а отвернулся от всех эмоциональных и смысловых потоков, протекавших через него — вышел, как бы сказали сегодня, в полный офф-лайн. Вампиры пытались остановить его, но не смогли.

— А как они вообще узнали, что он этим занимается?

— В те времена вампиры не были сегодняшними гламурными червями. Они обладали реальными магическими способностями. Нашим

координатором по Индии был вампир по имени Мара. Он обладал всеми мыслимыми и немыслимыми магическими умениями, которые приобрел главным образом с помощью хамлет-йоги...

— Это что такое? — спросил я.

— Меняя позу, в которой ты висишь вниз головой, можно развивать такие свойства как ясновидение, способность проникать в чужой ум на любом расстоянии и так далее.

— Только не проси показать, Рама, — сказала Гера как раз в тот момент, когда я собирался об этом попросить. — Продолжайте, саду.

— Многие не понимают, как древнеиндийский аскет смог победить продвинутого вампира, обладавшего магическими силами. Дело в том, что любой маг способен действовать на чужое сознание только через проявляющиеся там интенции и мысли. Мара мог победить любого соперника, но требовалось, чтобы этот соперник был. А Будда вовсе не пытался взять ум под контроль. Он просто полностью ушел из области «Б». И Маре негде было проявить свои магические силы — ибо вампиры властны только над умом «Б».

— Что случилось дальше? — спросил я.

— После того, как ум «Б» полностью остановился, Будда увидел то, что было за его пределами, и постиг находящееся вне слов... — Дракула поглядел вдаль и еле заметно улыбнулся. — К сожалению, у меня нет возможности рассказать, что это было...

— Я почему-то не верю, — сказала Гера, — когда говорят про находящееся вне слов. Мне кажется, что меня просто дурят.

— Это не так, — ответил Дракула. — Многие вещи невыразимы просто потому, что не связаны с работой ума «Б». Их нельзя описать, поскольку они не представлены во второй сигнальной системе с заложенным в ней делением на «я» и «не-я». Если разобраться, наши переживания становятся неопишуемыми уже с того момента, когда перестают быть нанизанными на слова. А Будда пошел неизмеримо дальше. Он увидел бесконечное поле невербальных реальностей, скрытых до этого за водопадом мыслей. Он увидел то, что находится до сознания и после него. Он увидел тех, кто создал людей — то есть вампиров. Мало того, он увидел того, кто создал вампиров. И многое, многое другое. А вампиры увидели его...

— Кто создал вампиров? — спросила Гера.

Дракула развел руками.

— Как вы знаете, вампиры обычно употребляют выражение «Великий Вампир». Но эти слова только дезориентируют.

— Его что, можно увидеть?

Дракула кивнул.

— Но это будет совсем не то, что ты ожидаешь, — сказал он. — И в любом случае об этом бесполезно говорить.

— Что случилось дальше? — спросил я.

— Будда заключил с вампирами тайный договор. Договор заключался в следующем — Будда обещал не разглашать правду про цель существования человека и его подлинных хозяев. А вампиры, в свою очередь, обещали не препятствовать тем из людей, кто захочет пойти вслед за Буддой.

— Вы хотите сказать, что вампиры отпустили на свободу всех желающих?

— Человека невозможно отпустить на свободу, — сказал Дракула. — Вам должны были объяснить это во время учебы. «Свобода» — просто одна из блесен ума «Б». Вампирами двигал элементарный расчет. Они поняли, что за Буддой пойдут немногие, поскольку предлагаемый им путь противоречит фундаментальной природе человека. Они решили оставить эту дверь открытой, чтобы управляемый ими мир формально не мог считаться космическим концлагерем... Ибо во Вселенной есть много внимательных глаз, которые следят за происходящим в пространстве и времени.

— И чем все кончилось?

— Будда выполнил свою часть уговора. Он никогда не отвечал на вопросы о том, зачем существует мир и кто создал человека. Хозяева человечества оказались не столь честны. Дело в том, что предложенные Буддой практики работы с умом «Б» были настолько эффективными, что вслед за ним просветления достигло огромное число людей. Некоторые достигали его, послушав всего одну проповедь Будды. Поэтому после смерти Будды его учение было искажено, а ум «Б» был модифицирован таким образом, чтобы сделать освобождение значительно более сложным...

— А что сделали с умом «Б»? — спросил я.

— Вампиры ввели своего рода «ремни безопасности» — психосоматические механизмы, намертво пристегивающие сознание ко внутреннему диалогу, — ответил Дракула. — Но в принципе повторить путь Будды можно и сегодня, хотя и с гораздо большими усилиями. Из горизонтальной дороги он превратился в отвесную стену, так что теперь это ближе к альпинизму. Формально уговор действует до сих пор, но в наше время достичь освобождения неизмеримо сложнее.

— А в чем оно заключается, освобождение? — спросила Гера. — Вы

же только что сказали, что его некому достигать.

— Суть освобождения проста, — сказал Дракула, — и совершенно неприемлема для вампиров. Человеку следует перестать вырабатывать агрегат «М5» — или, как говорил Будда, **дукху**. Для этого он должен постепенно заглушить генератор страдания, который он считает самым собой. Затихая, ум «Б» становится прозрачным, и сквозь него становится виден тот строительный материал, из которого построена вся фабрика боли. Этот исходный материал есть бесконечный покой, блаженство и абсолютно не нуждающаяся ни в каких действиях свобода.

— Рай? — спросил я.

Дракула отрицательно покачал головой.

— Схоласт мог бы сказать, что это рай, из которого человек был когда-то изгнан. Но в такой постановке вопроса заключен смысловой подлог, ибо человек не может быть изгнан из рая или взят туда. Человек по своей природе является процессом. Этот процесс и есть непрерывное изгнание из рая. Само изгнание как раз и заключается в существовании человека. Причем никаких сущностей, живших до этого в раю и ставших людьми, нет. Человек появляется как бы в результате выворачивания рая наизнанку, его депортации из самого себя. Люди больше всего похожи на безличные предложения, в которых нет подлежащего, а только сказуемые из разных форм глагола «страдать»...

— А что такое рай? — спросил я.

— «Рай» является блаженством, свободой и покоем, — ответил Дракула. — Но только по сравнению с обычным человеческим состоянием непрерывного страдания. Сам по себе он полностью лишен свойств и качеств.

— Что же это тогда такое? — хмуро поинтересовалась Гера. — Небытие?

— Смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово. Небытие — самый светлый проблеск в человеческой жизни. Что происходит, когда человек просыпается ночью и испуганно думает, что пора на работу — а потом смотрит на часы и видит, что до утра еще далеко? Он испытывает счастье. Можно спать еще три часа! Почему он с таким облегчением валится на подушки? Да просто потому, что у него есть возможность исчезнуть еще на несколько часов. Перестать быть последовательностью этих истекающих болью «я». Но даже сон без сновидений не является свободой — это просто завод пружины перед новым рабочим днем на фабрике страдания.

— Ну а вы, — спросила Гера, — вы-то пробудились в конце концов?

Дракула или не заметил иронии в ее словах, или сделал вид, что не заметил.

— Я много раз переживал так называемое пробуждение, то есть понимание, что никакого реального субъекта за психосоматическим процессом, известным как внутренняя жизнь человека, не стоит. Много раз я забывал это и постигал снова. В конце концов я почти повторил то, что удавалось в древности многим ученикам Будды. Я приблизился к точке, где такое понимание становится непрерывным.

— Но кто тогда понимает? — спросила Гера.

— В этом все и дело, — улыбнулся Дракула. — Непрерывное понимание — точка, где никаких «я» не возникает.

— А как вы приблизились к этой точке? — спросил я.

— Исследуя фабрику боли. Я посвятил этому много времени и освоил методы избавления от «я» — в том самом виде, в каком они преподавались в древности.

— Их что, было несколько?

— Их было довольно много, — сказал Дракула, — но я пользовался двумя основными. Во времена Будды они назывались «сжатие» и «разрыв». Их следы до сих пор можно различить в горах писанины, в которой погребено его учение, но для этого надо быть хорошим археологом.

— И что это такое? — спросил я.

— Техники борьбы с возникновением новых «я». Речь идет о чем-то вроде контрацепции или дезинфекции. Как и все остальное в мире, «я» — это процесс. Пусть очень быстрый — но процесс. Он похож на практически мгновенное зачатие и роды. Тем не менее для «я» всегда необходим некоторый интервал времени, в котором оно пускает корни. «Я» существует только в этом интервале. Если ум сжимается в точку, где времени нет, «я» не может возникнуть. Это и есть «сжатие».

— А что такое «разрыв»? — спросил я.

Дракула сделал такое движение, словно рвал руками веревку.

— Процесс зарождения «я» состоит из нескольких фаз, возникающих друг после друга. Их видно на замедленной съемке ума, которую умеют делать некоторые аскеты. Будда насчитал двенадцать таких последовательных ступеней. Это своего рода цепная реакция. С практической точки зрения не особо важно, как называются эти этапы и сколько длятся. Достаточно выделить одну фазу в возникновении «я» и не дать ей развиться. Например, ту, когда стрелка вашего компаса пытается показать «хорошее» и «плохое», «приятное» и «неприятное». Вы каждый раз останавливаете процесс зарождения «я» в этой точке — и вся цепь

рвется, потому что ни одна цепь не бывает прочнее самого слабого звена. Но это не теория, а практический навык. Которому, кстати, до сих пор учат в некоторых азиатских монастырях.

— И что остается? — спросила Гера.

— Ничего, — сказал Дракула. — И в этом блаженство.

— Вы, значит, сейчас спокойно блаженствуете?

Дракула развел руками.

— Я не смог пройти так далеко, как Будда и его ученики. Я видел только проблески изначального покоя. Отчасти потому, что для современного ума этот путь стал намного сложнее. А отчасти потому, что мне не хватило жизненного срока. Но я успел разработать учение, наиболее подходящее для вампиров — чтобы они не повторяли моих ошибок и двигались к цели напрямую. Оно называется «Тайный Черный Путь». Кто-то из моих учеников может встретиться и вам.

— И что случилось дальше?

— Дальше я умер, — ответил Дракула.

— Вам предоставили Золотой Парашют?

— Он не был мне нужен, — сказал Дракула. — Мне некуда было падать. Для меня к этому времени уже не осталось верха и низа.

— А потом? — спросила Гера.

Дракула пожал плечами.

— Поскольку моя практика была недостаточно длительной, я родился снова. Но уже не вампиром.

Гера засмеялась, и ее смех был холодным и злым.

— Как так? — спросила она. — Вы нам только что целый час объясняли, что никакого «я» на самом деле нет. А потом говорите, что родились снова. Кто тогда родился?

— Ты ведь учила в школе физику, Гера, — сказал Дракула. — Когда волна распространяется в пространстве, каждая ее точка становится источником новой волны. В волне нет ничего постоянного, это просто колебания частиц воды, каждую секунду разных. Но когда волна доходит до преграды, она отражается и движется в другую сторону. Смерть — граница жизни. Волна не расшибается о нее. Волна отражается и движется дальше. Нет никого, кто перерождается в аду или раю. Просто угол падения равен углу отражения.

— Большинство анимограмм никуда не движется, — сказал я. — Чтобы они пришли в движение, нужен наблюдатель.

— Анимограммы — это костюмы, сброшенные улетевшим светом, — ответил Дракула. — Гильзы мертвых ос. Они годятся для того, чтобы

рыться в прошлом или душить людей. Но они не имеют отношения к тому, что когда-то носило этот костюм... Загробный мир — мир тьмы. Но это не значит, что свет, отпечатки которого ты исследуешь, умер. Он носит другие наряды и знать ничего не хочет о том, что было с ним прежде. Потому что это было уже не с ним. У него нет «я». Вампиры над ним не властны. И это самая прекрасная вещь на свете. Понял?

Я неуверенно кивнул.

— Так, значит, вы стали богом? — спросила Гера.

— Так это называется у вас, — сказал Дракула. — На самом деле ничего особо хорошего в этом нет. Обычная судьба тех, кто потерпел неудачу в духовной практике.

— Многие всю жизнь молятся о такой неудаче, — сказал я.

— Стать богом не так уж сложно, — отозвался Дракула. — Человеку для этого достаточно перестать кормить собой вампиров. Включая самого главного. Это и есть секрет, который вампиры охраняют от людей. Кто-нибудь из моих учеников, Рама, обязательно расскажет тебе остальное... При первой возможности.

Гера вдруг взялась за голову, словно у нее начался приступ мигрени. Я шагнул к ней и обнял ее за плечи. Ее тело дрожало — и эта дрожь с каждой секундой становилась сильнее.

— Дорогая, не волнуйся, — заговорил я. — Просто...

Она оттолкнула меня — с такой силой, что я отлетел на несколько метров и ударился об одно из кресел.

— Я все сейчас пойму, — сказала она. — Я все пойму и вспомню, и вам будет плохо... Очень плохо...

Застывшая на ее лице боль постепенно превращалась в гримасу ярости. Она взмахнула руками, словно набрасывая что-то на Дракулу. Потом еще раз. Это было красивое движение — она как будто пыталась доплыть до него стилем «баттерфляй». Но я заметил, что ее руки начинают меняться.

Сперва они сделались серыми. Потом они начали быстро толстеть, а их уродливо удлиняющиеся пальцы, соединенные темными перепонками, стали превращаться в огромные мшистые крылья, каждый взмах которых посылал вперед волну ветра.

Этот ветер быстро достиг силы урагана. Стоящая в зале мебель пришла в движение — ковры взлетели, кресла и диваны поехали по полу. Только стол, на котором сидел Дракула, оставался неподвижным.

На месте Геры было уже что-то неопределимое — серая туша, машущая крыльями все сильнее и быстрее. Стол с Дракулой покачнулся —

и тогда он поднял руку.

В ней вспыхнул золотисто-голубой огонек. Он растянулся вверх и вниз, превратившись в тонкий золотой посох, которым Дракула стукнул в пол. Ослепительно сверкнуло, и на несколько секунд я перестал видеть. А когда ко мне вернулось зрение...

Стол с сидящим на нем Дракулой исчез. Вместо него я увидел огромный цветок с красными лепестками, поднявшийся из пола. В его центре стояла тонкая синяя фигурка Дракулы. Он делал странные движения руками.

Его ладони были пусты. Но он непонятным образом так перемещал их в пространстве, что в некоторых местах они оставляли свой отпечаток, или тень. Каждая из этих теневых рук держала какой-то предмет. Один был отдаленно похож на колокол, другой на трезубец, третий на веер. Три остальных предмета не были похожи ни на что из мне известного. Все это тут же начинало тускнеть и расплываться, но руки Дракулы снова оказывались в тех же местах, и их воздушные отпечатки опять становились плотными и материальными. Потом его руки начали двигаться с такой скоростью, что перестали быть различимы. И тогда я отчетливо увидел существо с шестью руками, каждая из которых сжимала атрибут неземного могущества.

— Предатель! — хрипло крикнула Гера.

Это была уже не Гера, а с каждой секундой разрастающаяся Иштар. Она махала крыльями все яростнее, и все, что попадало в фокус создаваемого ими ветра, срывалось с места, катилось по полу и расшибалось о дальнюю стену зала. Потом рухнула и сама эта стена, за которой открылось черное ночное небо.

Тогда стоящий в огромном цветке Дракула взмахнул одновременно всеми шестью руками, и между ним и Иштар появилась прозрачная голубоватая стена, похожая на заледеневшее стекло. Крылья Иштар несколько раз ударили по преграде, не причинив ей никакого вреда, а затем одно крыло разрослось настолько, что зацепило меня и швырнуло на прозрачную стену.

Я пришел в себя оттого, что кто-то плеснул мне в лицо очень холодной водой. Кажется, даже с льдинками — одна из которых больно уколола меня в закрытое веко. Я открыл глаза. Передо мной стояла одна из прислужниц Иштар. В ее руках было серебряное ведерко для шампанского.

В первый момент мне показалось, что прислужница свисает с потолка. А потом я понял, что она как раз стоит на земле — это я сам свисал с золоченой жерди.

Увидев, что я пришел в себя, прислужница тут же исчезла за дверь. Я поймал рукой витой шелковый шнур, потянул за него, и похожая на огромное резное стремя конструкция опустила меня к полу. Все еще избегая смотреть на голову Геры в ее перламутровой раковине, я слез с жерди, поднялся на ноги (они прилично затекли, чего никогда не бывало со мной в собственном хамлете) и взялся руками за голову. Голова болела так, словно я ударился об эту стену на самом деле.

Вдруг я услышал тихий голос Геры и вздрогнул от неожиданности. Она пела.

— Затянуло бурой тиной гладь усталого пруда.
Ах, была, как Буратино, я когда-то молода...

Этого я не ожидал.

Я поднял на нее взгляд. Гера смотрела в угол. На ее глазах блестели слезы. Я заметил тонкую вертикальную морщинку между ее бровями — раньше ее не было.

Только что я думал о тысяче разных вещей — и главным моим чувством был страх. Но все это сразу исчезло, и осталась одна жалость. Я шагнул к ней, обнял ее голову и принялся гладить ее волосы, бормоча слова невинного и, главное, очевидно лживого утешения:

— Ну что ты, милая, что ты. Не надо... Все будет хорошо...

Но Гера плакала все сильнее, так, что скоро на моей рубашке образовалось большое мокрое пятно. Потом она поглядела мне в глаза и тихо спросила:

— Рама, скажи. Только честно. Ты меня хоть чуть-чуть еще любишь?

— Не знаю, мышка, — сказал я. — Наверно, немного да. Просто ты меня неудачно кусаешь. Когда я в депрессии.

— Спасибо, — прошептала она. — Даже если врешь. А теперь иди сюда... Нет, ближе. Еще ближе... Не бойся. Не проглочу.



Щит Родины

Я сильно опоздал на встречу в Зале Приемов. Когда я вошел, Энлиль Маратович вовсю распекал сжавшихся халдеев:

— У мусульман пророк! У евреев богоизбранность! У американцев свобода! У китайцев пять тысяч лет истории! А у нас ничего нет. Ничего вообще, за что нормально оскорбиться можно. Пятьдесят миллионов положили — и не считается. Наоборот! Нам еще и говорят — а ну повинились по-бырому перед английской разведкой! Вот как западные халдеи работают! А вы... Сколько лет уже ничего в ответ выдать не можете! Даже в тактических вопросах тонем. Просрали все дискурса. Россия не в состоянии изготовить ни одного ударного симулякра, способного конкурировать на информационном поле боя с зарубежными образцами... Ни од-но-го! Позор! Мне вам что, горло порвать и кровь выпить, чтоб вы поняли, как все серьезно?

— Работаем, — еле слышно сказал Калдавашкин.

— Я результаты хочу видеть, понял? Результаты!

Энлиль Маратович наконец заметил меня и недовольно кивнул.

— Ладно, — сказал он, успокаиваясь. — Все в сборе. Можно начинать.

Калдавашкин положил свой дипломат на пол, открыл его и привел в боеготовность находящийся внутри проектор. Видимо, предполагалась демонстрация.

— Здесь нет экрана? — спросил он.

Энлиль Маратович указал на потолок.

— Давайте вон туда. А что показать хотите?

— Конечную фазу, как вы велели. Через восемь циклов и шесть ветвлений.

— Вы что, уже просчитали все? — удивился Энлиль Маратович.

— Угу, — сказал Калдавашкин. — Дело-то ответственное. Ночами не спали.

— Ну давайте.

В зале было полутемно, поэтому свет гасить не пришлось. На потолке зажегся бледный прямоугольник света. Я увидел заполненный людьми зал и длинный подиум с надписью «Гражд@нка ГламурЪ».

По подиуму шла модель в сложно устроенных женских тряпках, которые напоминали несколько разноцветных шарфов, прикрывающих ее грудь и бедра. Дойдя до края подиума, она охватила себя руками за плечи и

запрокинула голову, изобразив эдакую свечу, тающую под огнем страсти. Выждав пару секунд в этой позе, она призывно глянула в объектив и сказала:

— Карго-либерализм как состояние души возникает, когда человек, живущий в несправедливом и лживом обществе, видит, что рядом есть группа людей, по неясной причине обладающая серьезными социальными преференциями...

Она качнула руками, и верхняя часть ее наряда упала на пол, обнажив бледно-лиловый бюстгальтер, плотно заполненный силиконовой грудью.

— Наблюдая за элитой, — продолжала она, изгибаясь, — человек перенимает характерный для нее набор ритуальных восклицаний, получая таким образом символическое право на социальные преференции — обычно лишь в своих собственных глазах.

На пол упало еще несколько разноцветных шарфов, и модель осталась только в нижнем белье лилового шелка — и туфлях на высоком каблуке.

— Большинство людей думает, что встать в эту воображаемую очередь за бесплатным черепаховым супом и означает «разделить идеологию», — сказала она. — Классический либерализм — одно из высших гуманитарных достижений человечества. Ухитриться даже из него сделать грязную советскую неправду — это уникальное ноу-хау российского окол властного интеллигента, уже четверть века работающего подручным у воров. Превратить слово «либерализм» в самое грязное национальное ругательство — означает, по сути, маргинализировать целую нацию, отбросив народ на обочину мирового прогресса. Однако российских мафиозных консольери называют «либеральной интеллигенцией» по чистому недоразумению. Для этого существует не больше оснований, чем именовать каких-нибудь приторговывающих своим народцем африканских колдунов «европейцами» на основании того, что они в ритуальных целях носят голландские кружева. Такое возможно только в обществе, которое восемьдесят — а сейчас уже и все сто лет — жило строго по лжи, полностью ею пропитавшись...

Закрутившись на несколько секунд юлой, она резко затормозила, со стуком вонзив в пол каблук, а затем вдруг потеряла к камере интерес и пошла по подиуму назад.

По дороге она разминулась с темно-оливковой девушкой, наряженной в какие-то веселые перья, с боевой раскраской на лице — и самым настоящим копьем в руке.

Девушка с копьем походила на ухоженную валькирию, умеренно одичавшую на пятизвездочном пляже от рэйвов и детокса. Ее наряд

предполагал более экспрессивную презентацию. Так и оказалось — подойдя к краю подиума, она взмахнула копьем и закричала в камеру:

— Ты вдохнул воздух свободы! Ты заявляешь — я не буду сосать грязный уд туземных чекистских царьков! Я стану феллировать только сертифицированным международным корпорациям на глобальном уровне! Потому что этого требует мое достоинство! Улулу! Ты еще не понял, бедняга, что ближайший к тебе чекистский царек и есть наведенный на тебя сертифицированный уд международных корпораций, потому что силы добра всегда найдут между собой общий язык, а кроме них в мире уже давно ничего нет! Улулу!

С этим «улулу» она швырнула копье в зал, повернулась и гордо пошла прочь.

Навстречу ей шла другая девушка — в чем-то вроде пестрого длинного пиджака, из-под которого свисали редкие полоски прозрачной ткани, украшенные мохнатыми красными звездами.

— Главная задача российского либерального истеблишмента, — начала она, развернувшись на триста шестьдесят градусов, — не допустить, чтобы власть ушла от крышующей его чекистской хунты. Именно поэтому все телевизионно транслируемые столпы либеральной мысли вызывают у зрителей такое отвращение, страх и неполиткорректные чувства, в которых редкий интеллигентный человек сумеет признаться даже себе самому. Это и есть их основная функция...

Она расстегнула пиджак, сбросила его с плеч, и тот плавно стек на пол. Теперь на ней остались только еле скрепленные друг с другом прозрачные полоски с красными звездами из ворсистого материала. Это выглядело и красиво, и страшно — звезды походили на что-то среднее между цветами и язвами.

— Как только под чекистской хунтой начинает качаться земля, — продолжала девушка, делая такие движения бедрами, словно на них крутился невидимый обруч, — карголиберальная интеллигенция формирует очередной «комитет за свободную Россию», который так омерзительно напоминает о семнадцатом и девяносто третьем годах, что у зрителей возникает рвотный рефлекс пополам с приступом стокгольмского синдрома, и чекистская хунта получает семьдесят процентов голосов, после чего карголибералы несколько лет плюются по поводу доставшегося им народа, а народ виновато отводит глаза...

Теперь она вращала бедрами с такой скоростью, что прикрывающие ее тело полоски ткани практически ничего уже не прятали.

— Потом цикл повторяется, — продолжала она, с трудом удерживая

дыхание. — Карголиберальное и чекистское подразделения этого механизма суть элементы одной и той же воровской схемы, ее силовой и культурный аспекты, инь и ян, которые так же немыслимы друг без друга, как Высшая школа экономики и кооператив «Озеро»...

Она сделала заключительное движение бедрами — очень быстрое, словно сбрасывая невидимый обруч, — развернулась и пошла прочь.

— Понятно, — сказал Энлиль Маратович. — Будут носить все светлое и левое. Дальше не надо.

Прямоугольник света на потолке замер.

— Почему у вас в слове «гламур» твердый знак, а в слове «гражданка» — этот значок?

— Ну это такие ололо из молодежной культуры, — ответил Самарцев. — Мы их называем мемокодами.

— Мемокод? — переспросил Энлиль Маратович. — Что это?

— Такой... Ну как сказать... Такой спецтэг, который указывает, что данная информация исходит от молодых, светлых и модных сил. Из самых недр креативного класса.

— А для чего это надо?

— С помощью таких тэгов можно повышать уровень доверия к своей информации, — сказал Самарцев. — Или понижать уровень доверия к чужой. Если вас в чем-то обвинят не владеющие культурной кодировкой граждане, вам достаточно будет предъявить пару правильных мемокодов, и любое обвинение в ваш адрес покажется абсурдным. Если, конечно, на вас будет правильная майка и вы в нужный момент скажете «какбе» или «хороший, годный».

— Рама, ты понимаешь, что он говорит? — спросил Энлиль Маратович.

Я кивнул.

— Креативный класс — это вообще кто?

— Это которые качают в торрентах и срут в комментах, — ответил я.

— А что еще они делают?

— Еще апдейтят твиттер.

— А живут на что?

— Как все, — сказал Калдавашкин. — На нефтяную ренту. Что-то ведь дотекает.

— Они и в Америке сейчас поднялись, — добавил Самарцев. — Типа римский народ. Требуют велфэра и контента, как раньше хлеба и зрелищ. У них вся демократия теперь вокруг этого.

— Понятно, — сказал Энлиль Маратович. — Вот так всегда и говорите

— коротко, ясно и самую суть. А то слышу со всех сторон про этих интернетсексуалов, а кусать лень. Рама, ты здесь самый креативный. Скажи — убедили тебя эти ололо-мемокоды?

Я почувствовал, что следует поставить заигравшихся халдеев на место.

— Неплохо, — сказал я. — Но есть недоработки. Протест со стороны гламура раскрыт. А вот гламур со стороны протеста — нет. Например, пламенный революционер, на котором не просто пиджак, а правильный пиджак. Акцент. Понимаете?

— Разумеется, — сказал Щепкин-Куперник.

— Согласитесь, — продолжал я, — что это уже намного больше, чем просто пламенный революционер.

— Беру на карандаш.

— Правильный революционер, на котором пламенный пиджак, — сострил Самарцев. — Можно устроить. Где-нибудь в Казани.

— А вам, — продолжал я, поворачиваясь к нему, — надо бы над названием поработать. «Гражданка Гламур». Звучит замшело. Пособковому. Как будто сериал о деле врачей-убийц. И потом, заменять в словах русскую букву «а» на **сучку** из электронного адреса — это уже прошлый век практически. Мемокоды быстро протухают. Пользоваться ими надо с осторожностью. Особенно если вы не очень молоды и из вашей души заметно смердит.

Самарцев только хохотнул и попытался ткнуть меня пальцем в живот. Пронять его, видимо, было невозможно в принципе.

— Учтем, — сказал Калдавашкин. — **Акеллу** и правда лучше убрать. А то как-то вторично.

— Кстати, — проговорил Щепкин-Куперник небрежно, — насчет ололо. Обратите внимание, насколько быстро мейнстрим утилизирует антимейнстримный контент, который вырабатывается интернет-сообществом для того, чтобы максимально от него дистанцироваться! Это просто какой-то ад и Израиль...

Он выговорил «ад» как «адык», чтобы обозначить подразумеваемый твердый знак. Самарцев собирался сказать что-то еще, но Энлиль Маратович, видимо, сообразил, что если халдеи начнут по очереди предъявлять все известные им мемокоды, чтобы показать, как они еще молоды, это может затянуться надолго.

— Ладно, — махнул он рукой, — теперь дайте тот же фрактал по дискурсу.

— По дискурсу дальше прошли, — сказал Калдавашкин. — На три

цикла. Хотите посмотреть дальний край? Где полное затухание? Только материал пока сырой — в основном для ориентировки.

— Ну давай.

Калдавашкин склонился над проектором.

На потолке появилась опушка вечернего леса. Горело несколько костров, у которых сидела молодежь немного гопнического, как мне показалось, вида. Между кострами и лесом высилась шеренга знамен с узкими полотнищами во все древко — совсем как в фильмах Куросавы. Знамена были белые, с красным серпом и молотом. На их фоне грозно чернела современная тачанка — пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом на штанге.

Рядом с пулеметом в машине стоял бритоголовый мужчина в черных очках. На нем была тесная кожаная куртка немного гейского извода и белая лента с красным серпом и молотом на лбу. По возрасту он был немногим старше слушающих его гопов.

— Проблема не в том, — загромыхал он, — что в девяностые и нулевые несколько проходимцев украли много денег. Проблема в том, что новейшая история России растлила народ окончательно и навсегда, без всякой надежды на излечение. Как учить детей честному труду, если вся их вселенная возникла в результате вспышки ослепительного воровства? И честному труду — на кого? На того, кто успел украсть до приказа быть честным? Как сказал один офицер ГАИ, и эти люди запрещают нам ковырять полосатой палочкой в носу... Господа! Вы что, серьезно собираетесь поднять общественную мораль, запретив ругаться матом? Не стоит талдычить из телевизора о нравственности, пока последнего коха не удавят кишкой последнего чубайса, пока продолжает существовать так называемая «элита» — то есть организованная группа лиц, которая по предварительному сговору просрала одну шестую часть суши, выписала себе за это астрономический бонус и уехала в Лондон, оставив здесь смотрящих с мигалками и телевышками. Но эти люди со своим вечнозеленым гешефтом намерены сохраниться при любой власти, что как-то обесцвечивает романтический горизонт грядущей революции. Начинаешь понимать, что в сегодняшней России слово «революция» означает только одно — кроме ржавых челюстей Гулага, которые они уже распилили и продали, они хотят переписать на себя всю землю, воду и воздух — подготовив нас к этому, как и в прошлый раз, каскадом остроумных куплетов. *Vive la liberte!*

В мозгу кого-то из гопников, видимо, сработал случайный триггер, и он несколько раз хлопнул в ладоши. Разразились аплодисменты, за время

которых оратор успел перевести дух.

— Но будем реалистами, — продолжал он, — то есть, если перевести на современный русский, будем постмодернистами. Стоит посмотреть на другую сторону баррикады, и становится непонятно, почему она другая. Она та же самая. Коррупция, конечно, отвратительна. Но самая омерзительная из форм коррупции — это борьба с коррупцией по отмашке. Вероятно, новая Россия снова вберет в себя все худшее, созданное историей, и соединит власть пожилых пацанов с элементами африканского опыта в рамках новой, еще неизведанной криптоколониальной модели, осененной кадением Святого Духа. И если есть еще какая-то гадость, которую я забыл упомянуть в своем коротком обзоре, не сомневайтесь, друзья — в либерально-джамахирической пацанерии грядущего она тоже будет...

— Что за Дантон? — спросил Энлиль Маратович, когда прямоугольник на потолке замер. — На кого баллоны катим?

Самарцев прокашлялся.

— Сами же всегда просите поотвязнее.

— Да нет, ничего, — сказал Энлиль Маратович. — Я ведь не ругаю. Я хвалю. Но надо подшлифовать. Впрямь, так сказать, и другие дискурса. Для баланса. И без этой коммуняцкой левоты, надоело. Лучше уж... Не знаю. Как-нибудь народно и пасхально. Отметь. И подумай.

Самарцев кивнул.

— Давай следующее.

Картинка на потолке мигнула. Пикап с пулеметом исчез, и я увидел переключающиеся телевизионные каналы. Пошел кусок из сумрачного сериала, снятого, в соответствии с канонами новой искренности, ручной камерой, подрагивающей от правды жизни. Но я не успел толком понять, что происходит — по экрану поплыла рябь, и сериал перекрыла другая картинка с пятнами помех. Что, видимо, должно было изображать несанкционированное подключение к эфиру.

Я увидел типичный скайп-сеттинг: два скрещенных мачете на стене и человека в маске Гая Фокса (в первый момент я принял его за халдея, но потом сообразил, что маска сделана из белого пластика). Человек, похоже, не знал, что трансляция началась — он косился на свое отражение в зеркале.

Поняв наконец, что он уже на экране, Гай Фокс вздрогнул — и тотчас заговорил в очень быстром темпе, словно пытаясь втиснуть как можно больше информации в вырванные у цензуры секунды:

— В условиях захвата нефтегазовой ренты группой пожилых альфа-

самцов единственная доступная технология размножения, оставленная молодому поколению — отделить себя от социума непроницаемой культурной тайной, чтобы увлечь в ее мглу не востребуемых бета-самок. Революционная работа здесь вне конкуренции. Поэтому современный революционер сражается не за народное счастье, а за плацдарм в информационном поле, который нужен ему для того, чтобы начать оттуда борьбу за распространение своего генома — а затем уже и за народное счастье... Когда же время подвига наконец приходит, в информационном потоке такого революционера уже нет. Он исчез, потому что все его силы заняты борьбой за успех личного биологического проекта...

Пока он говорил, я успел заметить странные слова «DER NEUNUCH» и «НЕОСКОП» над скрещенными мачете и свисающий со стены свиток с крупной цитатой: «Блажен, кто сам оскотил себя для царствия Небѣснаго».

— Какой вывод должен сделать из этого подлинный, а не паркетно-фейсбучный революционер?

Гай Фокс озабоченно посмотрел на часы — и вдруг, в полном соответствии со своим учением, исчез из информационного потока.

Картинка опять поменялась.

Теперь я видел митинг перед храмом Христа Спасителя — над морем радужных хоругвей возвышалась сцена, где у микрофона стоял взволнованный молодой человек в белой вязаной шапочке с зеленым конопляным пятилистником. Людское море перед ним угрожающе рокотало.

— Права гомосексуалистов, — выкрикивал молодой человек, стараясь переорать толпу, — связаны с рекреационным сексом — то есть сексом для удовольствия, а не деторождения. Разумеется, такое право должно быть у всех. Но эти проблемы логично рассматривать в одном контексте с правом на рекреационное использование субстанций. А с этой точки зрения совершенно непонятно, почему содомия и лесбийский грех легализованы, а кокаин и каннабис — еще нет. Да, мы согласны, что каждый гражданин вправе сам распоряжаться частями своего тела. И это в полном объеме относится не только к гениталиям, но и к усталым слизистой оболочкой органам двойного назначения. Но такой же подход должен быть к легким, венам и головному мозгу — применительно к фармакологическим веществам! Считайте эти препараты набором химических страпонов, господа депутаты, если так вам легче будет понять! А на сегодняшний день в обществе возникла опасная асимметрия...

Молодой человек ловко увернулся от пущенного в него розового презерватива с водой и продолжал:

— Гомосексуалистам разрешено мужеложество per se, но они требуют права называться семьей — и даже венчаться в церкви. В контексте лигалайза это было бы аналогично борьбе за право причащаться во время религиозных таинств не кагором, а гашишем и кетаминном. Вот где должен находиться сегодня фронт борьбы! Мы отстаем на целую эпоху. Нас душит косность и мракобесие в важнейших вопросах, связанных с современным укладом жизни — а все внимание общества почему-то до сих пор притянута к этим жопникам и ковырялкам...

— Достаточно, — сказал Энлиль Маратович.

Митинг на потолке погас.

Самарцев шагнул к Энлилю Маратовичу и протянул ему пухлый скоросшиватель. Я даже не понял, откуда он его вытащил.

— Вот тут все направления изложены. На машинке, как вы любите.

— А зачем мне читать, — сказал Энлиль Маратович. — Дай-кося я нашему...

Он дернул головой, и Самарцев испуганно попятился. На его шее появилось крохотное пятнышко крови.

Энлиль Маратович покачал головой и поглядел на Самарцева исподлобья. Тот вдруг густо покраснел. Я даже представить себе не мог, что этот человек умеет краснеть. Энлиль Маратович погрозил ему пальцем.

— Ай да сукин сын, — сказал он. — Как не стыдно?

— Извините, — ответил Самарцев и покраснел еще сильнее.

— Великий Вампир тебя извинит, — сказал Энлиль Маратович. — Не мое это дело. А тебе с этим жить.

Самарцев угрюмо кивнул.

— Ладно, — смиловился Энлиль Маратович и закрыл глаза. — Вопросов к тебе больше нет. Давай по проекту... Так... Так... Подожди. «Самопрезентация как двигатель политического протеста...» Может, правильнее наоборот?

— Нет, — сказал Самарцев твердо. — Политический протест как двигатель самопрезентации — это уже много раз было. В прошлом веке. А вот самопрезентация как двигатель политического протеста — реально новое слово. Под мою ответственность.

— Ну хорошо, — согласился Энлиль Маратович. — Хоть и не очень тебя понимаю...

Мне стало жалко Энлиля Маратовича, наверняка испортившего себе день этим укусом. Но он выглядел величественно и непроницаемо, как и полагалось вампиру его ранга.

Повернувшись, он подошел к черному базальтовому трону, сел на него

— и, как и в прошлый раз, слился с ним. Теперь он казался черной прямоугольной глыбой с бледным пятном лица. Потом от глыбы отделилась рука — Энлиль Маратович пошарил сбоку от трона и взял прислоненную к нему балалайку, которой я раньше не замечал из-за ее черного цвета.

Балалайку покрывал палехский лак, на котором виднелось несколько тонких желтых завитков, складывающихся в контур чего-то крылато-двуглавого. Черный резонатор угрожающе поблескивал — словно сталинское голенище с полотна художника Налбандяна.

Припав к инструменту, Энлиль Маратович извлек из него серию тревожных звуков — которые как бы вопрошали о чем-то тишину. Мы не слышали ответа. Но Энлиль Маратович, похоже, услышал.

— Ну что, Самарцев, — сказал он, — убедил. Бери моих лучших халдеев — и делай мне русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но только чтобы все было цивилизованно и мягко. И не дольше трех месяцев. Не хочу краснеть за вас перед миром. А теперь идите, друзья. У нас с Кавалером Ночи дела.

Калдавашкин быстро сложил свой походный проектор. Надев маски, халдеи раскланялись и гуськом двинулись к выходу.

— Погодите, — сказал Энлиль Маратович.

Он говорил совсем тихо, но халдеи слышали его издалека — и замерли на месте.

— Некоторые названия в проекте мне не нравятся. Что это за «Sabertoothed Cunts»? ^[21] У нас тут что, африканская саванна? Миллион лет до нашей эры? Ведь по мировым новостям пойдет. Скольких старух инфаркт хватит...

Я вспомнил отрывок из Ацтланского Календаря — и догадался, о чем речь. У меня по спине прошла дрожь: без всяких шуток мне показалось, что я слышу кошачью поступь истории. Я уже открыл рот для подсказки, но Энлиль Маратович знаком велел мне молчать.

— Может, перевести на русский? — спросил Калдавашкин.

— Не, — сказал Энлиль Маратович. — Оставьте английский. Так для контрпропаганды удобнее. Чтоб сразу ясно было, откуда уши растут. Только назовите как-нибудь деликатнее. Провокативно — это я не против. Но чтоб было... — он пошевелил пальцами в воздухе, — семейно и ласково... Пушисто как-нибудь... Подумайте. И без самодеятельности — прислать на утверждение...

— Есть, — хрипло выдохнул Самарцев.

Халдеи ждали дальнейших указаний, но Энлиль Маратович сидел молча, с закрытыми глазами — и только изредка трогал струны.

Халдеи возобновили движение к выходу. Как и в прошлый раз, большую часть пути они пятились, повернувшись к нам лицами — словно ожидая, что Энлиль Маратович передумает и попросит их остаться. Но он не передумал, и дверь за ними закрылась.

— Вы даже не сказали ничего, — прошептал я восхищенно. — Только чуть-чуть подтолкнули... Они ведь будут уверены, что они сами! И, самое смешное, будут правы...

— Вот так и управляют миром. Учись.

— Хорошо вы с ними умеете, — сказал я. — Выглядите таким генералом-дурачком.

— Дурачком, который умнее, потому что он начальник. В России другого ума не понимают. А как тебе балалайка?

— Круто, — сказал я. — Правда круто.

— Мне тоже нравится. Это Мардук изобрел. Позволяет взять музыкальную паузу. Специально такие тембры подобрали, чтобы у халдеев в животе плохо делалось. Целая научная группа думала...

— А против чего конкретно протест? — спросил я. — Они не сказали. Энлиль Маратович наморщился.

— Какая разница. Я туда не смотрел.

— Вам что, не интересно?

— Я и так знаю. Вернее, не знаю, но все равно знаю.

— Не понимаю, — сказал я растерянно.

Энлиль Маратович посмотрел на меня с грустью.

— Как ты еще молод, Рама. Вампир должен уметь не только прикидываться дураком — что, кстати, выходит у тебя замечательно. Он должен быть умнее любого из прислуживающих ему халдеев. Ты знаешь, откуда берется протест?

Я пожал плечами.

Энлиль Маратович легонько провел пальцем по струнам. Балалайка откликнулась — тревожно и зло.

— Дракула объяснил тебе, что этот мир — мир страдания, — сказал он. — Любая радость в нем мимолетна. Она берет начало в боли и растворяется в ней. Но люди находятся в постоянном окружении образов счастья. Ритуал потребления учит человека изображать восторг от того, что по сути является навязанной ему суетой и мукой. Все массовое искусство обрывается хэппи-эндом, который обманчиво продлевает счастье в вечность. Все другие шаблоны запрещены. Вроде и дураку понятно, что за следующим поворотом дороги — старость и смерть. Но дураку не дают задуматься, потому что образы радости и успеха бомбардируют его со всех

сторон.

— Я помню, — сказал я. — Это как помидоры, которые лучше растут под мажорную музыку.

— Именно, — кивнул Энлиль Маратович. — При такой обработке человек дает больше баблоса. Но на самом деле счастье — лишь блесна. Анимация на экране, свисающем с прибитого к голове кронштейна. К этому экрану приблизиться невозможно, потому что куда бы ты ни шел, экран будет перемещаться вместе с тобой.

— Вы хотите сказать, счастливых людей вообще нет?

— Есть временно счастливые. Ни один человек в мире не может быть счастливее собственного тела. А человеческое тело несчастно по природе. Оно занято тем, что медленно умирает. У человека, даже здорового, почти всегда что-нибудь болит. Это, так сказать, верхняя граница счастья. Но можно быть значительно несчастнее своего тела — и это уникальное человеческое ноу-хау.

— А какая тут связь с протестом?

— Самая прямая. В повседневной действительности человек испытывает вовсе не тот перманентный оргазм, образы которого окружают его со всех сторон. Он испытывает постоянно нарастающие с возрастом муки, кончающиеся смертью. Такова естественная природа вещей. Но из-за бомбардировки образами счастья и удачи человек приходит к убеждению, что его кто-то обманул и ограбил. Потому что его жизнь совсем не похожа на рай из промывающего его голову информационного потока.

— Это точно, — вздохнул я.

— Протест и есть попытка прорваться от ежедневного мучения к блаженству, обещанному всей суммой человеческой культуры. Удивительно подлой культуры, между нами говоря — потому что она гипнотизирует и лжет даже тогда, когда делает вид, что обличает и срывает маски.

— Но разве не важно, против кого протест?

— Протест всегда направлен против свойственного жизни страдания, Рама. А повернуть его можно на любого, кого мы назначим это страдание олицетворять. В России удобно переводить все стрелки на власть, потому что она отвечает за все. Даже за смену времен года. Но можно на кого угодно. Можно на кавказцев. Можно на евреев. Можно на чекистов. Можно на олигархов. Можно на гастарбайтеров. Можно на масонов. Или на каких-нибудь еще глупых и несчастных терпил. Потому что никого другого среди людей нет вообще.

— А под каким лозунгом начнутся события?

— Это пусть Самарцев вникает. Важно дать людям чувство, что они

что-то могут. Без эмоциональной вовлеченности в драму жизни ни гламур, ни дискурс не работают. Здесь халдеи совершенно правы. Пусть люди поверят в свою силу. Дайте офисному пролетарию закричать «yes we can!» в промежутке между поносом и гриппом. И все будет хорошо. Люфт в головах уйдет. Народ опять начнет смотреть сериалы, искать моральных авторитетов в сфере шоу-бизнеса и строгать для нас по ночам новых буратин. А мы надолго скроемся в самую плотную тень...

— Но зачем же по яйцам бить? — спросил я совсем тихо.

— Затем, — сказал Энлиль Маратович, — что в идеале все действия властей должны вызывать тягостное недоумение и душевную скорбь, терзая людские сердца необъяснимой злобой и тупостью... Главная задача российского государства вовсе не в том, чтобы обогатить чиновника. Она в том, чтобы сделать человеческую жизнь невыносимой.

— И тогда, — продолжил я язвительно, — ум «Б» выделит еще больше страдания, и мы, хозяева жизни, всосем его в виде баблоса?

Энлиль Маратович посмотрел на меня долгим взглядом.

— Нет, Рама, совсем нет. Свой баблос мы отобьем и так. Мы это делаем из сострадания к людям. То, о чем я говорю — это уникальная особенность российской культуры. Мы называем ее «Щит Родины».

— От чего же он защищает людей?

— От них самих, Рама. Людьми надо управлять очень тонко. Если слишком их угнетать, они восстанут от невозможности это вытерпеть. Но если слишком ослабить гнет, они провалятся в куда большее страдание, ибо столкнутся с ужасающей бессмысленностью жизни... Такое бывало на древнем Востоке с представителями царских фамилий. И с некоторыми великими вампирами тоже — ты, я думаю, в курсе. Следует избегать обеих крайностей.

Он дернул струну, издав протяжный звук.

— Был у нас однажды лимбо-мост с американскими вампирами. Они и говорят — мол, слишком у вас в России ум «Б» страдает. А Локи к тому времени уже напился — и как брякнет: «И пусть себе страдает, сука, мы его для того миллион лет назад и вывели...» Прямо при бэтмане, хе-хе...

— При ком?

— Неважно. Сказано грубо, но верно. Дракула говорит правду, Рама. Главная функция ума «Б» — излучать боль. Во всех национальных укладах происходит именно это — только с разной культурной кодировкой...

Энлиль Маратович снова тронул струну и грустно посмотрел вдаль.

— Но человек не может просто излучать страдание, — продолжал он. — Он не может жить с ясным пониманием своей судьбы, к которой его

каждый день приближает распад тела. Чтобы существование стало возможным, он должен находиться под анестезией — и видеть сны. В каждой стране применяют свои методы, чтобы ввести человека в транс. Можно выстроить культуру так, что люди превратятся в перепуганных актеров, изображающих жизненный успех друг перед другом. Можно утопить их в потреблении маленьких блестящих коробочек, истекающих никчемной информацией. Можно заставить биться лбом в пол перед иконой. Но подобные методы ненадежны и дают сбои. А российская технология гуманнее всего, потому что срабатывает всегда и безотказно.

— А в чем она? — спросил я.

— Она в том, Рама, что здесь выводится предельно рафинированный и утонченный, все понимающий тип ума. Вспомни Блока: «Нам внятно все — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» А потом он ставится в абсолютно дикие, невозможные и невыносимые условия существования. Русский ум — это европейский ум, затерянный между выгребных ям и полицейских будок без всякой надежды на спасение. Если хочешь, мы уникальные и единственные наследники всего ценного и великого, созданного человечеством. Не только, так сказать, пятый Карфаген, но еще и шестой Метрополис и седьмой Корусант. Опущенный в бездонную и беспросветную ледяную жопу.

Я чувствовал, что не в силах спорить со старым мудрым вампиром — мои вопросы отлетали от него, как горох от танка.

— Но зачем надо было опускаться в эту жопу? Зачем эти выгребные ямы и полицейские будки? Разве не лучше было бы без них?

Энлиль Маратович посмотрел на меня прищурившись, словно не в силах поверить, что на свете бывает такая наивность.

— Нет, Рама. Не лучше. Именно эти ямы и будки делают свойственное нашей культуре страдание таким интенсивным и острым.

— Но для чего?

— Такова географическая неизбежность. Посмотри на наш огромный простор. Только очень сильная боль способна дойти из находящегося во Владивостоке ума «Б» до московской Великой Мыши.

— Не слишком ли большая плата...

— Нет, не слишком. Русский ум именно в силу этой своей особенности породил величайшую в мире художественную культуру, которая по сути и есть реакция души на это крайне сильное и ни с чем не сравнимое по своей бессмысленности страдание. О чем вся великая русская классика? Об абсолютной невыносимости российской жизни в любом ее аспекте. И все. Ничего больше там нет. А мир хакает. И просит

еще.

— Для чего им? — спросил я.

— Для них это короткая инъекция счастья. Они на пять минут верят, что ад не у них, а у нас. Но ад везде, где бьется человеческая мысль. Страдает не одна Россия, Рама. Страдает все бытие. У нас просто меньше лицемерия и пиара.

— Но ведь в России все думают, что эта жуть только у нас, — сказал я.

— Да, — согласился Энлиль Маратович. — Для российского сознания характерно ощущение неполноценности и омраченности всего происходящего в России по сравнению с происходящим где-то там. Но это, Рама, просто одна из черт русского ума, делающих его судьбу особенно невыносимой. И в этой невыносимости залог трудного русского счастья.

— Почему?

— Потому что русский человек почти всегда живет в надежде, что он вот-вот порвет цепи, свергнет тиранию, победит коррупцию и холод — и тогда начнется новая жизнь, полная света и радости. Эта извечная мечта, эти, как сказал поэт Вертинский, бесконечные пропасти к недоступной весне — и придают жизни смысл, создавая надежду и цель. Но если тирания случайно сворачивает себе шею сама и цепи рвутся, подвешенный в пустоте русский ум начинает выть от подлости происходящего вокруг и внутри, ибо становится ясно, что страдал он не из-за гнета палачей, а из-за своей собственной природы. И тогда он быстро и незаметно выстраивает вокруг себя новую тюрьму, на которую можно остроумно жаловаться человечеству шестистопным ямбом. Он прячется от холода в знакомую жопу, где провел столько времени, что это для него уже не жопа, а уютная нора с кормящим его огородом, на котором растут злодеи и угнетатели, светлые борцы, скромный революционный гламур и немудрящий честный дискурс. Где есть далекая заря грядущего счастья и морщинистый иллюминатор с видом на Европу. Появляется смысловое поле, силовые линии которого придают русскому уму привычную позу. В таком положении он и выведен жить...

Я хотел что-то вставить, но он поднял ладонь, как бы закрывая мне рот. А потом вдруг ударил по струнам черной балалайки, произведя резкий диссонирующий звук, который отозвался в моем животе болезненным спазмом.

— То, что кажется бессмысленно-подлым страданием русской жизни — и есть созданный усилиями множества поколений Щит Родины, не дающий русскому уму понять, что человеческая жизнь сама по себе есть страдание, полностью лишенное смысла. Пусть это озарение останется

уделом восточных царевичей, уставших гулять по дворцовому саду. А нам, Рама, нужен справедливый суд и честные выборы — и постепенно, очень постепенно у нас это появится. Но криво, позорно и с мутными косяками. Так, что весь креативный класс будет много лет блевать карамельным капучино из «Старбакса». И чем больше поколений успеет состариться и умереть в борьбе, тем лучше для них. Русский человек просто не понимает, как он счастлив за этой невидимой броней. Гордись, Рама, что ты русский. Русский вампир...

— Скучно жить в этой тьме, — прошептал я. — И страшно.

— Мы избранные, Рама, — отозвался Энлиль Маратович. — С великой властью приходит и великая печаль... Людям проще — их единственная обязанность вовремя умереть. Никаких других требований к ним нет...

Он опустил глаза и заиграл «Светит месяц».

Он играл с удивительным искусством, просто поразительным — так, что я заслушался. И на миг мне действительно показалось, что я вижу ночное небо, редкие палехские облака и сияющий между ними желтый яичный месяц, даже особо и не скрывающий, что свет его — обман и лишь отражение настоящего света, спрятанного от людей по причине ночи. Ночи, в которую им выпало жить.

— Скажите, Энлиль Маратович, — спросил я, — а что вы увидели про Самарцева?

— Да он детские стихи пишет, — ответил Энлиль Маратович. — На сетевом диалекте. А потом вешает на подростковых сайтах. «Звери спят и только йожег продолжает аццкий отжиг...»

Поставив балалайку на место, он посмотрел на свои часы — сложный хронометр, показывающий движение множества светил.

— Про Озириса знаешь?

— Нет, — сказал я, — а что я должен знать?

— Умер.

Я вздрогнул.

— Жалко старика.

— Все там будем, — вздохнул Энлиль Маратович. — Одни раньше, другие позже. А ты совсем скоро. Правда, пока по службе. Для тебя это сверхответственное погружение. Провожаешь вампира первый раз. Это тебе не с халдеями дурака валять.

Я кивнул.

— Наблюдать за тобой будем в прямом времени. Я, Мардук и Ваал. Стартуешь из моего хамлета.

Я снова кивнул. Хорошо хоть не из Хартланда.

— Вампонавигатор со спецсредством получишь перед сеансом. У нас напряженка, на Озириса дали всего одну чушку. Но больше ему и не надо. Он практически святой.

— А что за спецсредство? Как его применять?

— Инструкция в вампонавигаторе. Проблем не будет.

— А почему чушка?

Энлиль Маратович посмотрел на меня недовольно.

— Озирис все расскажет, Рама.

— Он же умер?

— Об этом говорят только в лимбо. И только с мертвецом.



Великий вампир

Комната Озириса была захлавленной — и полутемной из-за плотно зашторенных окон. Больше никто из известных мне вампиров, да и людей тоже, не жил в старой обветшалой коммуналке.

На самом деле это была, конечно, его собственная квартира, с помощью лучших историков и декораторов превращенная в копию типичного жилья середины прошлого века — и облагороженная кое-где точечным евроремонтом.

Это был своего рода эстетический вызов режиму. Озирис был толстовцем и славился скандальными практиками опрощения — он отказывался принимать баблос и пил красную жидкость живших у него гастарбайтеров. Ходили слухи, что он болел гепатитом «С», которым заразился через кровь, но правда это или нет, никто не знал. Я подозревал, что сплетни распускала верхушка вампиров, чтобы у Озириса не нашлось последователей.

Один из его бывших гастарбайтеров, кишиневский профессор теологии Григорий, теперь работал у меня шофером.

Язык Озириса уже переселился в преемника, который понемногу приходил в себя и готовился к обучению — словом, повторял мою недавнюю судьбу. В строгом научном смысле от вампира Озириса осталось только мертвое человеческое тело — замороженное и ожидающее кремации.

Но в лимбо все было по-прежнему.

Я нашел Озириса в его комнате, на любимом месте — в глубокой нише для кровати, очень похожей на альковы в доме Дракулы. Он лежал на матрасе, поверх которого было наброшено стеганое одеяло. Его голова, как всегда, походила на плохо выбритый кактус. Даже его поза осталась прежней — он лежал на боку, неудобно заложив одну ногу за другую, как делают йоги, старающиеся использовать для тренировки каждую минуту.

— Присаживайся...

Он указал на стоящее рядом кресло.

Я вспомнил, как при первом визите сюда оглядывал пол под креслом, опасаясь какого-нибудь подвоха — и в точности повторил процедуру. Как я и ожидал, Озирис засмеялся.

— Я немного растерян, — признался я, садясь. — Одно дело этих халдеев провожать, а другое... По сравнению с вами я в лимбо новичок. Я

даже не знаю, чем могу быть полезен. И могу ли вообще...

— Можешь, — сказал Озирис. — Не сомневайся. Но сначала несколько слов. Я очень виноват перед тобой, Рама.

— Виноваты? — изумился я. — Чем же?

— Когда мы познакомились, тебя никто не принимал всерьез. Все думали, что тебя пустят на... Как бы сказать, мистериальные запчасти. Поэтому никто не относился к твоему образованию серьезно. В том числе и я. И когда ты пришел ко мне со своими глупыми вопросами о Боге и смысле жизни, я отвечал тебе формально и бессердечно.

— Ничего подобного, — сказал я горячо. — Вы очень мне помогли.

Озирис остановил меня жестом.

— Я был с тобой не до конца честен. Я старался не развивать твой ум, а сэкономить собственное время. К счастью, ошибку можно исправить. Я все еще могу ответить на твои вопросы. Сегодня последняя возможность это сделать. И перед началом нашей прогулки я кое-что тебе покажу. Ты готов?

Я сглотнул набежавшую в рот слюну (это было в точности как наяву) и кивнул.

— Тогда поехали.

Перед альковым Озириса стояло что-то вроде журнального столика (бывший обеденный с перепиленными посередине ножками). Он был завален техническим и бытовым хламом советской и досоветской эпох — таким любопытным и редким, что его вполне можно было сдать в какой-нибудь музей. Из-под хлама торчали углы клеенки — тоже очень древней, чуть ли не довоенной, в поблекших фиолетовых цветах.

Озирис взял двумя пальцами угол этой клеенки и сильно ее дернул.

Я ожидал чего угодно. Например, того, что клеенка каким-то образом высвободится из-под хлама. Но не того, что случилось.

Совершенно непонятным образом оказалось, что клеенка и пол, на котором стояло мое кресло — это одно и то же. словно мы на секунду попали на картину Эшера, где странные оптические эффекты становятся реальностью. И этой секунды хватило для того, чтобы разрушить мир. Пол исчез, и я понял, что падаю в пустоту. А потом падение остановилось, заморозив меня в моменте, как муху в кубике льда.

Я, однако, не особо испугался.

В сущности, вся жизнь вампира — это история падений, и я давно уже привык низвергаться в разнообразные пропасти, еле удерживаясь при этом от зевоты. Рушиться в бездну для нас так же обычно, как для московского клерка ехать в офис на метро. Мало того, с возрастом начинаешь понимать, что и разницы между этими путешествиями особой нет — а все

социальные преференции, которыми тешит себя прикованное к телу сознание, сводятся, по сути, к выбору стойла для мешка нечистот... Но не буду отвлекаться на очевидное.

Я замер в пустоте вместе со своим креслом. Напротив повис матрас с застывшим над ним Озирисом. Озирис держался за что-то вроде чемоданной ручки, которая была у матраса сбоку. Пальцы другой его руки все еще сжимали угол скатерти. Стола и рассыпавшегося по полу мусора, однако, видно уже не было.

Исчез не только пол. Исчезла вся комната.

Вокруг была очень широкая шахта с серовато-желтыми стенами — но они находились так далеко, что рассмотреть подробности было невозможно. Да и сама шахта могла быть просто оптическим эффектом в окружавшем нас густом тумане.

А потом я ощутил нечто невообразимое.

Я заметил центр тяжести вселенной. Ту точку, падение к которой началось с фокуса Озириса.

Трудно описать, каким образом я ее почувствовал. Это было похоже на способ, которым летучая мышь воспринимает физический мир — когда множество размазанных, мимолетных и противоречивых эхо-версий реальности накладываются друг на друга, создавая однозначную картину в точке своего пересечения.

Но здесь все было наоборот. Однозначность была заключена именно в этой точке, к которой как бы сходилась невероятно широкими спиралями вся реальность. А остальное, в том числе я и Озирис, как раз и было мимолетными и противоречивыми версиями бытия, которые ничего не значили и возникали на ничтожный миг.

Сперва я понял, что размазан по множеству траекторий, начинающихся и кончающихся в этом центре всего. Мое «бытие» означало, что я постоянно совершаю огромное число очень быстрых путешествий — в результате которых и возникаю. Поэтому существовать я мог только во времени — то есть, другими словами, не было ни одного конкретного момента, когда я действительно существовал. Я появлялся только как воспоминание об отрезке времени, который уже кончился.

А потом я понял еще одну вещь, самую ужасную.

Это воспоминание не было моим.

Наоборот, я сам был этим воспоминанием. Просто бухгалтерским отчетом, который все время подчищали и подправляли. И больше никакого меня не было. Отчет никто не читал — и не собирался. Он нигде не существовал весь одновременно. Но в любой момент по запросу из

внешнего мира из него можно было получить любую выписку.

И все.

Ни один из составлявших меня процессов не был мной.

Ни один из них не был мне нужен.

Прекращение любого из них ничего для меня не значило. А все они вместе соединялись в меня — необходимого самому себе и очень боящегося смерти, хотя смерть происходила постоянно, секунда за секундой — пока отчет подчищали и правили. Это было непостижимо. Но не потому, что это невозможно было понять. А потому, что понимать это было некому.

Я никогда не был собой. Я даже не знал, кто показывает это кино — и кому. И вся моя жизнь прошла в эпицентре этого грандиозного обмана. Она сама была этим обманом. С самой первой минуты.

Но обманом кого?

Я вдруг понял, что этот вопрос безмерен, абсолютно безграничен, что он и есть та пропасть, в которую мы падаем по нескончаемой спирали — и куда я низвергался перед этим всю жизнь. Вопрос был началом и концом всего. Все сущее было попыткой ответа.

Но кто отвечал?

Мне показалось, что я сейчас пойму что-то важное, самое главное — но вместо этого я сообразил, что это просто тот же самый вопрос, пойманный в другой фазе.

Но кто его задавал?

И кому?

Я отшатнулся от открывшегося мне водоворота, от этой головокружительной бесконечности, догоняющей саму себя — и засмеялся. Потому что ничего другого сделать было нельзя. Кроме того, это и правда было очень смешно.

И мой смех сорвал остановившуюся секунду с тормозов.

Я услышал звон разбившегося стекла — и понял, что мы никуда на самом деле не падаем. Мы по-прежнему сидели в комнате Озириса. Мы даже не сходили с места.

По полу катились какие-то железяки из кучи хлама, сброшенной им на пол вместе со скатертью. Разбилась колба старой керосиновой лампы с двумя отражающими друг друга зеркалами, на которой Озирис когда-то объяснял мне работу ума «Б».

— Что это было? — спросил я.

— Ты только что видел Великого Вампира, — ответил Озирис.

— Водоворот? Чудовищный бесконечный водоворот?

— Можно сказать и так. Но если смотреть на него внимательно, видно, что его центр совершенно неподвижен.

— Я не успел, — сказал я. — А почему люди этого не видят?

— Они видят. Просто отфильтровывают.

— В каком смысле?

— В прямом. Человек похож на телевизор, где все программы имеют маркировку «live», но идут в записи. Через небольшую задерживающую петлю. Феномены осознаются только после нее. У сидящих в монтажной комнате достаточно времени, чтобы вырезать что угодно. И что угодно вставить.

— А кто сидит у человека в монтажной комнате?

— Мы, — усмехнулся Озирис. — Кто же еще.

— Но как это можно вырезать в монтажной комнате, если кроме этого вообще ничего нет?

— Вот и видно, Рама, что ты никогда не работал в СМИ.

— А зачем это скрыто от людей? — спросил я. — Ведь если бы они видели все сами, у них не осталось бы ни одного вопроса.

— Именно затем и скрыто, — сказал Озирис. — Чтобы вопросы были. Чтобы их было много. И чтобы человек постоянно производил из них агрегат «М5». Истина скрыта не только от людей, Рама. Она скрыта и от вампиров. Даже от большинства undead. Когда-то давно undead были учениками Великого Вампира. Они погружались в его таинственные глубины в поисках мудрости и выныривали оттуда с ужасом и благоговением. А потом их превратили в загробных кидал, помогающих хозяевам баблоса контролировать халдеев.

— Почему кидал?

— Скоро узнаешь, — вздохнул Озирис.

— А животные? — спросил я. — Они это видят?

— Ни одно из животных никогда не теряло связи с Богом. Любое животное и есть Бог. Один только человек не может про себя этого сказать. Человек — это ум «Б». Абсолют, спрятанный за плотиной из слов. Эта электростанция стоит в каждой человеческой голове. И она очень интересно устроена, Рама. Даже когда люди догадываются, что они просто батарейки матрицы, единственное, что они могут поделать с этой догадкой, это впарить ее самим себе в виде блокбастера...

И Озарис тихонько засмеялся.

— Но ведь это жестоко, — сказал я. — Скрыть от человека главное...

— Не так уж жестоко, как кажется, — ответил Озирис. — Люди уверяют друг друга, что счастливы. Некоторые даже в это верят. Знаешь, на

дне океана живут страшные слепые рыбы, которых никто никогда не видел — и которые никогда не видели сами себя? Вот это и есть мы. Единственное из повернутых к нам лиц Великого Вампира сделано из слов.

— Да, — ответил я, — я понял. Но почему тогда я смог его увидеть?

— Его увидел не ты, — сказал Озирис. — Его увидел я во время смерти. Ты при этом только присутствовал. Ты здесь просто, так сказать, свидетель неизбежного, хе-хе.

Информированность Озириса меня не удивила. Но мрачное напоминание о том, почему я сижу в этой комнате, подействовало на меня отрезвляюще.

— Спасибо, — сказал я. — Очень поучительный опыт. Я не понимаю, зачем вам вообще нужен провожатый? Особенно такой, как я. Вы что, не можете сами?

— Сами — это как?

Я вспомнил только что пережитое и горько вздохнул.

— Ну да... Я просто в том смысле говорю, что вы сами кого угодно проводите.

— Это не так, — ответил Озирис. — Я теперь тень. И нуждаюсь в помощи точно так же, как все остальные.

— В какой именно помощи?

— Идем, — сказал Озирис. — Я расскажу по дороге.

Мы встали. Я заметил, что Озирис как-то странно одет. Он был похож на пожилого ретро-плейбоя. На нем были узенькие джинсы и белая вязаная кофта — длинная и с большим капюшоном. Она походила на саван. Мне показалось, что раньше на нем было что-то другое.

— Как вы были одеты, когда я пришел? — спросил я.

— Ты уже не помнишь?

Я отрицательно покачал головой.

— Значит, — сказал Озирис, — я не был одет никак. Вопрос не имеет смысла. То, что ты видишь в лимбо — это лишь эхо твоего любопытства. Говоря по-мышинному, отражение твоего локационного крика. Если ты не задал вопроса, откуда взяться ответу? Вас что, этому не учили?

— Учили, учили, — пробормотал я. — Наверно, это и в жизни так?

— Не совсем, — ответил Озирис. — В жизни мы все время видим ответы на вопросы, заданные кем-то другим. Жизнь — коллективное мероприятие. А в лимбо мы одни... Вернее, ты один.

— Меня здесь вообще ни одного, — отозвался я. — Здесь просто никого нет. Никого и ничего.

— Точно, — сказал Озирис и шагнул к двери. — Но это не повод

расслабляться...

— Вообще по правилам дверь следует открывать мне, — сказал я. — Что там?

— Кладбище вампиров, — ответил он и подмигнул. — Ты готов?

Я кивнул — хотя уверен в этом не был.

Озирис потянул дверь на себя.

Хлопнул удар ветра, и мы вдруг оказались в том же самом тумане, сквозь который только что падали. Сквозь него просвечивало что-то похожее на стены огромной шахты. Озирис сразу пошел вперед, и мне пришлось поспешить за ним.

Вскоре туман стал таким густым, что я вообще перестал понимать, где мы. У меня, впрочем, и не было времени глядеть по сторонам — мне все время приходилось следить за Озирисом. Стоило мне отстать на несколько шагов, и я начинал терять его из виду. А подойдя слишком близко, я рисковал налететь на него.

Мы шли довольно долго — может быть, четверть часа или больше. Постепенно становилось светлее — словно сквозь туман пробивалось далекое солнце. Но где оно точно, я сказать не мог — туман был слишком плотным. У земли он вообще сгущался до такой степени, что мне не было видно, куда я ставлю ногу.

Потом под ногами захлюпали невидимые лужи, и мне стало совсем трудно успевать за Озирисом. Он шел все быстрее, и мне приходилось практически бежать вслепую.

— Можно чуть медленнее? — спросил я.

— Нет, — ответил Озирис. — Надо, наоборот, быстрее.

— Я не могу, — сказал я.

— Тогда подожми ноги.

Я вдруг понял, что не слышу его шагов — и вижу впереди только плечи и голову, которые ровно плывут вперед. Я попробовал поджать ноги — и оказалось, что совершенно не нужно было переставлять их по земле.

Теперь я плыл вперед, сжавшись в позе зародыша. Мне стало непонятно, на что опирается мое тело — и я сразу же почувствовал под собой скамью. Я опустил ноги — и они уперлись в доски пола. Пол был так близко, что я смог различить детали.

Это было дно лодки.

Как только я понял это, лодка сразу стала видна — она была темно-серой и ветхой. Озирис сидел через две лавки от меня и смотрел вперед.

Я заметил на дне лодки два ободранных весла.

— Куда мы плывем? — спросил я. — Нам не надо грести?

— Грести здесь бесполезно, — сказал Озирис. — Разве если хочешь согреться.

— Сколько нам плыть?

— Пока не выйдет карма.

— А это долго?

— Надеюсь, что нет. Смотри по сторонам...

Теперь вокруг лодки был виден довольно большой круг воды. Дальше по-прежнему был только туман. Казалось, мы плывем в центре луча какого-то огромного софита.

— Тебе сколько чушек дали? — спросил Озирис.

— Одну, — сказал я.

Озирис обернулся ко мне — и я заметил на его лице изумление.

— Ты шутишь?

— Нет. Сказали, что вы святую жизнь прожили. Вам, мол, и одна не нужна.

— Ну да, — ответил Озирис. — Много они про меня знают. Святую... Вот сволочи, а? Даже тут обкроили. Себе, все себе...

Голос Озириса звучал так печально, что я испугался.

— Что, у нас проблемы?

Озирис кивнул.

— Одна свинка — это нереально, — сказал он. — Было бы хоть две-три...

— А что это за свинки? — спросил я. — Мне никто не объяснил.

— Ничего удивительного. Про это говорят только в лимбо. Когда молодой ныряльщик провожает старого. Считается, что только так можно сохранить секрет от халдеев.

— А телепузики с самого начала знали, — сказал я. — Они об этом Улла спрашивали.

— Да про это все знают, — усмехнулся Озирис. — Кроме самих ныряльщиков. Которым надо знать по работе. Такие уж у нас традиции...

— Если хотите, чтобы от меня была польза, — сказал я, — самое время все мне объяснить.

— Верно, — ответил Озирис, взглядываясь в туман. — Скажи мне, как ты думаешь, почему возможен «Золотой Парашют»?

Я пожал плечами.

— Я при своем обучении задавал этот вопрос без конца, — сказал Озирис. — А вот меня ни разу не спросил никто из учеников. Куда катится мир... В мое время молодые вампиры все время интересовались — а как же загробная справедливость? Кто мы такие, чтобы спасти грешников от

кары? Разве высшие силы мира позволяют подобное?

— Я хотел об этом спросить, — сказал я тихо. — Но постеснялся. В мире вообще много странного. Ведь говорят — как внизу, так и вверху... Может, в высшие миры тоже можно купить пропуск.

— У кого?

— У высших сил.

— Высшие силы, низшие силы — это разные аспекты Великого Вампира, Рама. Мы — и вампиры, и люди, и все остальное — существуем в одном и том же божественном уме. Мы просто его мысли.

— Угу, — сказал я.

— У каждой мысли своя судьба. Если мысль была плохая, то и кончается она плохо. Если хорошая, то хорошо. А если совсем хорошая, то Великий Вампир может вспомнить ее снова после того, как она кончится — и думать ее опять и опять. Это понятно?

— Да, — ответил я.

— Но мысли, — продолжал Озирис, оборачиваясь ко мне, — не бывают хорошими или плохими сами по себе. Они становятся такими только в сравнении друг с другом. И вампиры научились штамповать... Как это сказать... Такие мысли, которые очень раздражают Великого Вампира. До такой степени раздражают, что мы по соседству с ними кажемся ему скорее хорошими мыслями. В результате он про нас забывает, и мы тихо уходим в его полное блаженства подсознание. А потом он вспоминает нас снова — как что-то сравнительно приемлемое. И мы рождаемся опять, чтобы стать вампирами.

— То есть мы обманываем Великого Вампира?

— Кто «мы»? Ты только что сам все видел. Великого Вампира невозможно обмануть — кроме него никого нет. Если все происходит таким образом, то исключительно потому, что он хочет этого сам...

Вдруг из воды за спиной глядящего на меня Озириса появилось что-то темное.

Это была похожая на колонну шея, которая кончалась почти человеческой головой с черными точками яростных глаз. Она раскрыла красный, словно обведенный губной помадой, рот и стала изгибаться в нашу сторону.

Я ничего не успел сказать Озирису — но он, видимо, увидел испуг в моих глазах. Он быстро обернулся, схватил со дна лодки весло и взмахнул им. А дальше произошло что-то странное.

Шея поднялась из воды далеко от нас. Она была огромной, в несколько метров высотой. А весло в руке Озириса было совсем коротким. Оно не

удлинялось и не увеличивалось в размерах. Тем не менее Озирис каким-то образом ударил этим веслом по шее — и срубил с нее голову, словно шишку репейника.

Я, конечно, тоже мог бы справиться с этой головой — но фокусов такой изысканной простоты в моем арсенале не имелось. Мало того, у Озириса вообще не было никакого вампонавигатора. Ему не на что было его надеть.

— Как это? — выдохнул я.

— Достигается упражнением. На чем мы остановились?

— На том, что все происходит по воле Великого Вампира.

— Да, — сказал Озирис. — Но что это значит — по его воле? Даже в человеческом уме много конфликтующих мыслей. Насколько же больше в божественном! Этот ум изначально не находится ни на чьей стороне. Он смотрит, какая из мыслей окажется сильнее или красивее — и вся реальность склоняется к ней. В божественном уме действуют простые и ясные законы, которые известны нам всем. Но эти законы можно использовать весьма хитрым способом...

Озирис приподнялся в лодке и снова махнул веслом. Я увидел еще одну шею, исчезающую в воде далеко позади нас. Она была похожа на первую — только со множеством похожих на ветви отростков, каждый из которых кончался такой же отвратительной головой. Я видел это черно-красное дерево лишь долю секунды, но мне показалось, что удар Озириса каким-то образом пришелся по всем головам сразу.

— Великий Вампир никому не мстит, никого не наказывает. На самом деле никаких демонов возмездия нет, есть своего рода антитела, поддерживающие гигиену Единого Ума. Но для нас проще считать их силами тьмы, для которых грешное сознание служит подобием пищи.

Озирис еще раз взмахнул веслом. Что-то огромное с плеском обрушилось в воду за моей спиной. В этот раз я даже не обернулся.

— Так вот, — продолжал Озирис, — у вампиров есть древний договор с силами тьмы. Что неудивительно, ибо мы тоже в некотором роде к ним относимся. Суть договора в том, что духи возмездия не препятствуют носителям магического червя перерождаться в благоприятных обстоятельствах. А вампиры за это выплачивают им дань. Единственной валютой, которую там принимают.

— Мы что, приносим жертвы? — спросил я.

— Не совсем так, — сказал Озирис. — Мы никого сами не убиваем. Мы... Мы, скажем так, выращиваем определенную форму еды. Обитатели темных адов больше всего любят разрывать на части изнеженное и

утонченное сознание богатых грешников. Они умеют делать эту процедуру почти вечной, возобновляя процесс до тех пор, пока он им не наскучит. Мы выводим таких богатых грешников. Мы помогаем им чудовищно разбогатеть специально для того, чтобы принести их в дар силам ада. Кандидатов отбирают в раннем возрасте из склонных к гедонизму людей. И превращают их жизнь в сказку, где они идут от одной невероятной удачи к другой — чаще всего даже не понимая, за что им такое счастье. По пути к успеху им приходится сокрушать много чужих жизней, и их карма довольно страшна.

— А если они просто получают наследство?

— Разницы нет. Деньги — это алхимизированное человеческое страдание. Если у тебя его слишком много, ты просто сидишь всю жизнь на огромной горе человеческой боли. Поистине, лучше быть свиньей, откормленной для папуасского пиршества...

— Понятно, — сказал я. — А кто эти мирские свинки? Я их видел?

— Много раз, Рама, — ответил Озирис. — Это те, кто купил у нас «Золотой Парашют».

Вампирическая логика такого ответа была простой и безупречной.

— А что именно делает их мирскими свинками? — спросил я. — Грехи? Размер личного богатства?

— Нет, — сказал Озирис. — Именно то, что они покупают у нас «Золотой Парашют».

Вот теперь ясность стала полной. В моей голове словно зажглась осветившая все лампочка.

— Мирская свинка, — продолжал Озирис, — это особым образом упакованный грешный ум. «Золотой Парашют» — не просто фальшивое кино для обмана родственников. Это еще и особая загробная оболочка. Продолжать надо?

— Не надо, — ответил я.

Все прежние загадки исчезли, сложившись в простую, четкую и экономную картину реальности. И, как это уже бывало со мной не раз, я испытал досаду, что не смог сам додуматься до такой простой вещи. Ведь все было очевидно. Прозрачно с самого начала...

— Мы не вергилии, Рама, — сказал Озирис грустно. — Мы...

— Кидалы, — договорил я мрачно. — Правильно вы выразились. Кидалы и есть.

— Возьми-ка весло...

Я вдруг заметил, что недалеко от нас плывет еще одна лодка. В ней сидели две хорошенькие голые девушки и глядели на нас с Озирисом.

Когда они заметили, что я смотрю на них, они помахали мне руками.

Девушки были просто прелесть. Им было, наверно, лет по двадцать, не больше. На их лицах ясно читалось смущение от того, что им пришлось раздеться, но они прятали его под показной бравадой, преувеличенно жестикулируя и хохоча.

— Попробуй теперь ты, — хрипло сказал Озирис. — Может, переймешь навывк.

— Да за что ж их, — прошептал я, — таких кисок?

Озирис недоверчиво покачал головой.

— Какое «за что»? Ты что, «Солярис» не смотрел? Бей, пока не загрызли.

«Солярис» я не смотрел и не читал — мне были непонятны все эти шестидесятнические культурные закидоны. Судя по контексту, это был ужасник про чудовищ, прикидывающихся невинными маргаритками.

Озирис мог быть прав — я заметил, что лодка с девушками по непонятной причине быстро приближается к нашей — хотя девушки и не думали грести, а в основном прикрывались и хихикали. Это было странно.

— Как бить? — спросил я.

— Так не объяснишь, — ответил Озирис. — Пробуй.

Я поднял весло. Будь оно в десять раз длиннее, я и тогда бы не достал до приближающейся лодки. Но Озирис только что продел этот фокус на моих глазах. Значит, он был возможен. Я предположил, что надо ударить по тому месту, где я вижу лодку — так, чтобы весло и лодка совпали на линии моего взгляда, — и попытался это сделать.

Ничего не произошло — если не считать того, что я чуть не свалился в воду. Девушки весело заулюкали.

— Не рассчитывай, — сказал Озирис. — Просто бей.

Я наконец понял, что он имеет в виду. Мне не надо было решать геометрическую задачу прицеливания. Мне надо было потопить преследовательниц. И я, конечно, мог это сделать. Я взмахнул веслом и ударил им по лодке. Не думая, что весло короткое и лодке ничего не будет, даже если я каким-то чудом дотянусь — просто ударил, и все.

Визг девушек чуть не заложил мне уши — но длился он, к счастью, недолго. Лодка сразу пошла ко дну.

— Тоже мне Гамлет, — сказал Озирис недовольно. — Бить или не бить. Ты их не жалеешь. Они нас никогда не жалеют...

Он, конечно, был прав. Что бы он ни имел в виду.

В следующий час к нам попыталось приблизиться еще несколько лодок с приветливыми гражданками, на которых я окончательно отработал

трансцендентный удар веслом. А потом появилась розовая плоскодонка, полная неприличных мальчишек с шестами в руках — ее покрасневший Озирис разбил в щепы лично.

— Как я позабыл, — пробормотал он.

— А что это было?

— Чистил, чистил — да всего ведь не упомнишь...

Озирис приложил руку козырьком ко лбу и напряженно уставился в туман.

— Готовься, — сказал он. — Начинается вампокарма.

Я увидел плывущих к лодке людей.

Их было много. И выглядели они совершенно жутко. Не потому, что на них были раны, кровь или какие-нибудь трупные спецэффекты вроде тех, которыми в кино украшают зомбическую массовку.

Совсем наоборот. Их лица — и мужские, и женские — были тщательнейшим образом ухожены. Причем в одинаковой манере. Словно сначала каждое из них загрунтовали белой глиной, а потом нарисовали на нем штрихами и черточками простейшее мультипликационное лицо — счастливое, наивное и невыносимо юное. О возрасте приближающихся к нам пловцов можно было догадаться только по случайным деталям — складкам кожи на шее или пятнам старческой пигментации.

Потом я услышал что-то похожее на плач — многие из них выли, но без слез, одним горлом. И плыли они странно...

Я понял, в чем дело — они старались, чтобы вода не попала на их лица и не размыла грим. Но избежать этого было практически невозможно — и каждый раз, когда волна попадала на чье-то юное лицо и смывала его часть, обнажая морщины и складки, пловец издавал полный боли стон и исчезал под водой.

— Что с ними делать, когда доплывут? — спросил я.

— Они не доплывут, — ответил Озирис.

Так и оказалось. Несмотря на то, что плывущих было много, они тонули прежде, чем успевали до нас добраться. Даже самые быстрые и решительные все-таки исчезали под водой в нескольких метрах от лодки.

Так продолжалось довольно долго. Я стал замечать, что маски на самом деле были разными — и различались выражением нарисованных лиц. Были задумчивые, мечтательные, веселые. Но все совершенно одинаково шли ко дну.

— Кто это? — спросил я.

— Жертвы ума «Б», — ответил Озирис. — Поскольку мы вампиры, они плывут к нам как к своему источнику. Мы заставили их надеть эти

маски. Теперь они хотят знать почему. Это очень древняя мистерия, Рама.

— Мы виновны перед ними?

— Конечно, — сказал Озирис. — Поэтому нам свиньи и нужны.

— Но ведь они не могут доплыть, — сказал я.

— Я давно перестал пить баблос. Нормальный вампир уже на третьей свинье бы ехал... Сейчас будет surge^[22]. А потом спад...

Озирис, видимо, хорошо знал, что и в какой последовательности должно происходить. Все случилось как он говорил: сначала белых лиц вокруг стало так много, что поверхность воды сделалась почти не видна, словно перед нами было густо заросшее капустой поле. Но головы уходили на дно, так и не коснувшись нашей лодки. Их появлялось все меньше и меньше, и вскоре вокруг осталась только чистая вода.

— Что теперь? — спросил я.

— Теперь красный грех, — ответил Озирис. — Mea culpa^[23]. Но это быстро.

Я услышал низкое жужжание. Сперва я подумал, что нам навстречу едет моторная лодка. Но из тумана вылетел огромный комар, набухший темной кровью. Когда он приблизился, я увидел, что у него лицо моего водителя Григория — синее и недовольное, с закрытыми глазами. Он стал кружить возле нашей лодки, то удаляясь, то подлетая совсем близко.

— Давай, — сказал Озирис, — чего ждешь...

Я шлепнул его веслом — и комар лопнул, превратившись в облако красных брызг. Только потом я сообразил, что до него в этот момент было не меньше двадцати метров.

Наступила тишина. Ни лодок, ни голов, ни летающих профессоров теологии вокруг не осталось. Казалось, мы просто плывем сквозь туман по утренней реке.

— Освоил, — сказал Озирис. — Молодец.

— Скажите, — спросил я, — а зачем вы у Григория красную жидкость пили?

— Да это он меня подсадил, — вздохнул Озирис. — Долго приставал. Может, говорит, вы крови моей хотите? Вы не стесняйтесь, скажите... Я подумал сначала, что он пидор латентный. Хотел уволить. Но прежде решил укусить, чтоб зря не обидеть. Оказалось, тут в другом дело.

— В чем?

— Понимаешь, — сказал Озирис, — Гриша очень хороший человек. Чистый. Добрый. Но не совсем нормальный. Он в душе решил отдать за семью и детей всю красную жидкость до капли. А как это сделать? У него

ведь только сердце золотое, а профессии настоящей нет. Работу найти не может. А детей кормить надо. Вот он и придумал выход. Вы же, говорит, вампир. Сосите кровь и дайте денег, а то мне семью кормить нечем. А мне по интеллигентности отказать было неловко. У него знаешь какой натиск — молдаванин!

— Знаю, — сказал я. — Каждый день убеждаюсь.

— Я ему говорю, — продолжал Озирис, — как ты можешь, Гриша? Это же blood libel! Мы с тобой под одной крышей живем. Как ты такое про меня... Хочешь, я тебе просто денег дам? А он уперся и ни в какую. Мне, говорит, подачки не нужны, мне работа нужна. Ну и пришлось вот... Хотя противно, конечно, было. Хорошо, ты его шофером взял.

— Так вы что, на самом деле красную жидкость не пили?

— Только у него, — сказал Озирис. — Но слухи распускал.

— Зачем?

— Если ты занимаешься серьезной духовной практикой, лучше, чтобы окружающие этого не знали. И имели о тебе какую-нибудь дикую идею. Тогда они будут меньше тебя беспокоить, поскольку им с тобой все будет понятно. Так удобнее... До тех пор, конечно, пока какой-нибудь Григорий не вынырнет...

И Озирис снова тяжело вздохнул. Воспоминание, похоже, было для него не из приятных.

— А зачем тогда у вас гастарбайтеры жили? И сам Григорий?

— Отчасти для маскировки, — сказал Озирис. — Чтоб все думали, будто я их красную жидкость пью. А отчасти... Они мне были нужны для практики.

— Какой?

— Я ученик Дракулы, — ответил Озирис. — И всю жизнь шел по одному из начертанных им путей.

Он высоко задрал рукав своей кофты, и я увидел над его локтевым сгибом знакомую татуировку — красное сердце с черной звездой в центре.

— Вы тоже? — спросил я изумленно.

Озирис кивнул.

— Дракула оставил после себя много разных учений. Одно из них, самое странное и революционное, было о том, как сделаться счастливым с помощью самого корня человеческого страдания — ума «Б».

— Разве это возможно?

— Теоретически невозможно. Но Дракула нашел выход. Он назвал этот метод «позитивным вампиризмом».

— Что это?

Озирис уставился в туман — туда, куда неспешное течение уносило нашу лодку.

— Это настолько просто, Рама, что ты, я боюсь, не поймешь. Ты слишком уж дитя нашего времени. Решишь, что я сошел с ума.

— Вы попробуйте, — сказал я.

— Хорошо. Как ты знаешь, проблемы человека связаны с тем, что он постоянно хочет сделать себя счастливым, не понимая, что в нем нет никакого субъекта, никакого «я», которое можно было бы осчастливить. Как говорил Дракула, это как с компасом, который тцится указать сам на себя и крутится как пропеллер.

— Я помню, — ответил я.

— Однако, — сказал Озирис, — эта проблема решается, если вместо того, чтобы делать счастливым себя, ты попытаешься сделать счастливым другого. Совершенно не задаваясь вопросом, есть ли в другом какое-то «я», которое будет счастливо. Это возможно, потому что другой человек всегда остается для тебя тем же самым внешним объектом. Постоянным. Меняется только твое отношение к нему. Но компасу есть куда указывать. Понимаешь?

— Допустим, — сказал я.

— Дальше просто. Ты отождествляешься не с собой, а с ним. Для вампира это особенно легко — достаточно одного укуса. Ты понимаешь, что другому еще хуже, чем тебе. Все плохое, что есть в твоей жизни, есть в его тоже. А вот хорошее — не все. И ты стараешься сделать так, чтобы он стал хоть на минуту счастлив. И часто это удается, потому что большинство людей, Рама, мучается проблемами, которые для нас совсем несложно решить.

— И что дальше?

— Дальше тебе становится хорошо.

— Но почему? — спросил я.

— Потому что ты отождествился не с собой, а с ним. Другой человек, чем бы он ни был на самом деле — куда более долговечная иллюзия, чем все твои внутренние фантомы. Поэтому твое счастье будет длиться дольше. Оно в этом случае прочное.

— Но...

— Звучит дико и неправдоподобно, — перебил Озирис. — Я знаю. Но это работает, Рама. Дракула назвал это «позитивным вампиризмом», потому что мы как бы питаемся чужим счастьем, делая его своим собственным. Для большинства вампиров, как ты понимаешь, такое неприемлемо.

— Почему?

— Потому что это путь к счастью, который проходит в стороне от баблоса и всего, что с ним связано. Почти святотатство.

— И что, — спросил я, — можно любого человека сделать объектом такого вампиризма?

— Практически да.

— А в чем техника?

— Я ведь уже сказал. Ты смотришь на другого человека и понимаешь, что он сражается с жизнью из последних сил, и совсем скоро его не станет. И это касается десятилетнего так же, как и семидесятилетнего. И ты просто приходишь ему на помощь и делаешь так, чтобы из-за тебя его жизнь хоть ненадолго стала лучше... Вот и все. Представляешь, если бы так жили все?

Тень невозможного мира на секунду встала перед моим мысленным взором, просияла щемящим закатом — и исчезла.

— Звучит красиво, — сказал я. — Но не верится, что так можно...

— Это надо испытать, — ответил Озирис. — Иначе не поймешь. Только здесь есть одно важное правило.

— Какое?

— Нельзя отвращаться. Врубить заднего. Мол, этот хороший, я ему помогу, а этот нет — пусть подыхает. Если ты помогаешь тем, кто тебе нравится, ты просто расчесываешь свое эго. Когда твой компас начинает крутиться как сумасшедший, ты не обращаешь на него внимания. Потому что ты делаешь это не для себя. В этом все дело. Понимаешь?

Я кивнул.

— В идеале помогать надо первым встречным. Поэтому я, чтоб они всегда были под рукой, просто нанял бригаду молдаван, не глядя, кто и что. И поселил в своей квартире... А чтоб вампиры хорошего не думали, пустил слух, что красную жидкость на кишку кидаю... Ну и молдаван подучил подыгрывать. Ты не представляешь, Рама, как этим ребятам мало надо было для счастья. Послать деньги семье, бухнуть да в карты поиграть. Ну еще, понятно, телевизор. И о политике поговорить. Как я с ними со всеми был счастлив... Просто невероятно...

— Григорий тоже в этой бригаде был? — спросил я.

— Мое последнее искушение, — ответил Озирис. — Боялся, что не вынесу, отвергну человека. Но устоял.

— Угу, — сказал я. — Теперь вот меня искушает.

— Для тебя это слишком большой вес, Рама. Григорий даже мне нелегко дался. Ты смотри, чтоб он на краснуху тебя не посадил. Он может. Молдаванин. У них в Трансильвании такое реально бывает. Я сам сначала

не верил... А потом...

— Не, — сказал я, — он же теперь шофер. Получает прилично. Красной жидкостью торговать не надо, можно просто деньги домой послать.

— Хорошо, если так...

Мы замолчали. На лице Озириса были написаны умиление и грусть. Казалось, он сейчас всплакнет. Я решил сменить тему — тем более что уже несколько минут у меня вертелся на языке один вопрос.

— Я где-то слышал, — сказал я, — что увидевший Великого Вампира обретает бессмертие. Это правда? Я что, теперь бессмертный?

Озирис улыбнулся.

— Бессмертие, — ответил он, — заключается просто в понимании, что в тебе нет никого, кто живет. Поэтому и умирать тоже некому. Когда я говорил об этом с Дракулой, он вспоминал Боба Дилана. «People don't live or die, people just float...»^[24] Бессмертный ты или нет, Рама, я не знаю. Спроси себя сам...



Тайный Черный Путь

Поверхность воды во все стороны была тихой и ровной — и уже долгое время из тумана навстречу нам не выплывало ничего, если не считать разного мелкого мусора — исписанных листов бумаги, пустых бутылок и сигаретных пачек. Но даже их было совсем мало.

— Чисто, — сказал я. — Первый раз вижу такую карму.

— Я всю свою жизнь три раза вспоминал и чистил, — ответил Озирис. — Целиком, прямо с детства. Скелетов в шкафу не будет.

— Слушайте, а откуда у вас это тату? Сердце и звезда?

— Сделал у друзей.

— А что за друзья?

— Американские вампиры. Близких взглядов.

— Я одну девушку знал с такой же татуировкой, — сказал я. — Которая все время Дракулой интересовалась.

— Софи? — спросил Озирис.

Я кивнул.

— Знаю-знаю, — сказал Озирис и ухмыльнулся. — Вы с ней что, в ссоре?

— Да нет...

— А чего ты с ней не здороваешься?

Я сначала не понял, что он имеет в виду. Потом понял, но не поверил. А затем оглянулся — и увидел сидящую на корме Софи.

Она выглядела точно так же, как во время нашего давнего ночного визита в спальню Дракулы. На ней было что-то вроде черного спортивного костюма. Рядом с ней лежал букет бело-желтых цветов. Щетинка волос на ее черепе была чуть длиннее, чем в прошлый раз. И еще куда-то делся загар — она была совсем бледной. Но это ей тоже шло.

— Здравствуй, дружок, — сказала она и улыбнулась.

Я был ошеломлен.

— Здравствуй... Ты тут давно?

— С самого начала, — ответила она. — Озирис — друг семьи.

— А почему я тебя не видел?

— Потому что не ждал. Это же лимбо, Рама.

— Могла бы поздороваться.

— Не хотела тебя отвлекать. Ты здесь на работе. Так что занимайся, пожалуйста, делом. Охраняй клиента.

Я отвернулся. Она была права — отвлекаться не следовало. Но мысль о том, что она сидит совсем рядом, конечно, трудно было выдавить из головы... Впрочем, что значит «сидит совсем рядом»? Где это рядом? Я мог бы вообще ее не увидеть, думал я, поэтому не надо волноваться. Надо сосредоточиться на работе...

Работы у меня, однако, практически не было.

Память Озириса уже перемоталась. Сквозь туман стали заметны высокие скалистые берега. Мы вплывали в длинное ущелье — как бы гигантскую улицу, вырубленную в скале.

В ее отвесных каменных стенах были прямоугольные углубления, похожие на окна. Стоило остановиться на таком окне взгляд, и оно делалось прозрачным. За одним была ночная улица, горящая разноцветным неонов. За другим — дом у реки, лес и вечернее небо. За третьим — разноцветные домики на сваях возле утреннего моря. Все выглядело совершенно настоящим. Вот только области пространства, которые я таким образом обнаруживал, никак не могли соседствовать друг с другом...

— Если ты будешь открывать все двери, — сказал Озирис, — мы застрянем здесь надолго.

Дверями он назвал то, что показалось мне окнами.

— Что мне надо делать? — спросил я.

— Смотри вперед.

Как только я повернулся, стало видно место, к которому приближалась наша лодка. Это было такое же прямоугольное углубление в камне. Только перед ним была отмель и заросший кустами пригорок с песчаной тропинкой. На берегу была маленькая дощатая пристань — и лодка плыла к ней сама.

Я уставился в темный прямоугольник — и через несколько секунд увидел Москву.

— Там Москва, — сказал я. — Это хорошо?

— Мне никак, — ответил Озирис. — Я туда не собираюсь. Прыгай!

Лодка прошла мимо пристани, и мы перепрыгнули на серые доски. Лодка поплыла дальше в туман. Софи теперь нигде не было видно. Я старался не думать о ней, но был почему-то уверен, что она до сих пор рядом.

— А куда вы собираетесь? — спросил я. — Если не в Москву?

— Подожди, — сказал Озирис. — До двери еще дойти надо.

К этому, как мне казалось, не было никаких препятствий — аккуратная песчаная тропинка поднималась от пристани прямо к прямоугольнику входа.

Но случилась странная вещь.

Когда Озирис, шедший впереди меня, добрался до середины пригорка, раздался смачный щелчок, похожий на компьютерный спецзвук, сообщающий о чем-то неприятном.

Озириса отбросило назад — он потерял равновесие и скатился вниз, чуть не сбив меня с ног. В воздухе мелькнули разноцветные цифры, похожие на рой танцующих бабочек, промерцали загадочно — и растаяли без следа.

Озирис встал, знаком велел мне не вмешиваться и снова пошел вверх.

Когда он добрался до того же места, все повторилось. Теперь я на секунду увидел большой светящийся кулак, возникший в пустоте прямо перед ним — и сбивший его с ног. Опять замелькали веселые цифры, а потом раздался похожий на крик попугая голос:

— Кей-о!

— Так я и думал, — сказал Озирис, поднимаясь. — Так и знал.

Быстро обрастая бутафорским мультипликационным доспехом (рогатый шлем, квадратный щит и огромная палица с блестящей бриллиантовой звездой), он пошел вверх по тропинке. Удар повторился, но на этот раз пришелся в щит, а Озирис успел взмахнуть своей булавой и ответить. Кулак позеленел, и из него на землю посыпались разноцветные звездочки, пирамидки и кубики. Потом кулак исчез.

Озирис прошел еще несколько метров вверх, и вдруг его сбил с ног тот же самый кулак, возникший в этот раз сбоку. Опять замелькали цифры, и раздался залиvistый электронный хохот.

Поднявшись на ноги, Озирис озадаченно посмотрел на меня.

— Что это? — спросил я.

— Консольную карму не почистил, — сказал он. — Как-то вылетело из головы. А играл я много. И часто под травой...

— Могу помочь?

Озирис покачал головой.

— Это только самому можно, — сказал он.

— Опасно? — спросил я.

— Нет. Но долго. Вергилий тут не нужен. Можешь пока пообщаться с Софи, только далеко не уходи. Как закончу, позову...

Мне даже не верилось, что все складывается таким сказочным образом. Я обернулся — и опять увидел Софи.

— Эксбокс? — спросила она.

— Тут все вместе, — отозвался Озирис, почти не видный под латами. — Я постараюсь быстрее... Идите, не отвлекайте.

Софи взяла меня за руку и повела прочь.

— Надо же, — пробормотал я. — Отправился провожать на тот свет старого кровососа, и вдруг...

— Красивая девушка ведет тебя в кусты, — сказала Софи.

Самым прекрасным в ее словах было то, что они были правдой. Мы отошли от места, где сражался Озирис, совсем недалеко — но нас полностью скрыла стена зеленых листьев.

Я абсолютно не удивился, увидев на крохотной поляне среди кустов кровать из спальни Дракулы — ту самую. Возможно, ее создал я сам. Скорее всего, так и было, потому что Софи при ее виде нахмурилась (если, конечно, это не было простым женским кокетством). Но затем она, видимо, поняла, что неизбежное неизбежно.

— Сними этот чертов костюм, — сказал я в короткой паузе между поцелуями. — Я хочу увидеть твою татуировку. И сделать себе такую же.

Я был уверен, что причина покажется ей убедительной.

Было слышно, как Озирис за кустами кряхтит и вскрикивает. Кажется, его постоянно сбивали с ног — но он вставал снова. Верещали электронные голоса и сирены, доносился звон боевого железа и что-то похожее на звяканье кассового аппарата, то ли считающего деньги, то ли накручивающего очки... Озирису точно было не до нас. А нам — мне, во всяком случае, — не до него.

Когда мы пришли в себя, Софи сказала:

— Сегодня опять исключительный случай. Но вообще не стоит делать этого в лимбо.

— Почему?

— Ну... Это считается падением. Трансгрессией. Принято думать, что вампир деградирует в своем человеческом аспекте.

— Ты же сама мне письмо присылала, — сказал я.

— В моем письме никакого разврата не было, — ответила Софи. — Он был в тебе. Я просто не возражала.

— Ты Иштар это Расскажи, — сказал я. — Про трансгрессию. Я и сейчас боюсь, что я тебя поцелую, а ты вдруг начнешь бить крыльями...

— Успокойся. Не начну. Просто заниматься этим надо в нормальном бодрствующем состоянии при личной физической встрече. Это хороший тон.

— А у меня, веришь ли, вся личная жизнь в лимбо, — сказал я. — Как у студента, которому трахаться негде...

— Хочешь у меня погостить? — спросила Софи.

— Меня не отпустят, — сказал я. — Я же Кавалер Ночи.

— Это можно устроить. По линии папика-мамика.

— Какого папика-мамика?

— Узнаешь, — сказала она с улыбкой.

— Ты говоришь загадками.

— Женщина и должна быть загадочной, — ответила Софи. — Иначе общение с ней быстро наскучит. Знаешь, почему я не люблю делать этого в лимбо?

— Почему?

— Потому что здесь нельзя укунить до крови. А когда ты кусаешь любовника до крови, а он кусает до крови тебя — становишься с ним одним. Это что-то невероятное... Невыносимое...

— Я про такое даже не слышал, — сказал я.

— Обычные вампиры так не делают, — ответила Софи. — Только «Leaking Hearts».

Я посмотрел на ее татуировку, и мне в голову пришла тревожная мысль.

— Слушай, — сказал я, — может, это Озирис под вашим влиянием начал? Ну, краснуху посасывать? Сделал себе тату, а потом...

Софи наморщилась, и я почувствовал, что ей не нравится этот разговор. Возможно, я случайно сказал правду — а в таких случаях вежливые вампиры стараются быстрее сменить тему.

— Кстати, как там Озирис? — спросил я. — Мы ему не нужны?

И вдруг понял, что уже долгое время не слышу прежних звуков — ни металлических звяков, ни кассового звона, ни задыхающихся выкриков. Вместо этого до меня долетал неровный высокочастотный визг, похожий не то на звук циркулярной пилы, не то на акустическую запись в ускоренном воспроизведении.

— Что это?

— Он на быстрой скорости проходит, — сказала Софи. — Для того и попросил отойти. Чтобы разогнаться можно было. Иначе ты его ждал бы месяц.

— Я ему не нужен?

— Думаю, не особо. Дай мертвецу расслабиться.

— Ага, — сказал я. — А как мы поймем, что он закончил?

— Услышим. Иди сюда.

Мы опять надолго перестали говорить. Слова отвлекали.

Я не знал, что чувствует Софи — но все мои переживания невероятно растянулись. Каждое наше касание, каждый поцелуй длились, как мне казалось, часами. А Озирис, судя по летающим звукам, наоборот, крайне

убыстрил свое индивидуальное время. У меня мелькнула мысль, что эти два процесса, возможно, связаны и взаимно компенсируют друг друга.

Но все когда-нибудь кончается.

— Тебе пора, — сказала Софи.

— У нас есть еще полчаса, — прошептал я.

Я не был в этом уверен, но решил рискнуть.

И наступила еще одна маленькая сдвоенная вечность, трогательная и прекрасная. Я даже успел придумать происходящему название — «eternitee for two». Описывать подробности мне совершенно не хочется, потому что отчеты о подобных историях выглядят на бумаге (и даже на пленке) одинаково — и не дают никакого представления о том, что происходит в действительности... Он то, она это... Тьфу. Все неправда. Тут совсем, совсем другое.

Когда я опять стал обращать внимание на внешние звуки, я заметил, что электронного визга больше не слышно. Вместо него доносилось низкое тревожное урчание. Потом словно бы заверещал огромный зверь — и сразу раздался полный боли человеческий крик.

Это кричал Озирис. Затем его голос стих.

Вскочив с кровати, я кинулся туда, где оставил его, проклиная себя последними словами. Я оказался на месте всего через несколько секунд — но уже опоздал.

Озирис лежал на том самом пригорке, где я его видел последний раз. То есть я догадался, что это Озирис. А вообще там были просто куски мяса, смешанные с пропитанными кровью и грязью тряпками. Наверно, примерно так выглядит после взрыва террорист-смертник.

Над поверженным вампиром стояло чудовище.

Это была огромная ящерица (наверно, правильнее сказать — динозавр) с высоким радужным гребнем и зубастой пастью, из которой летели клочья фиолетовой пены. Круглые глаза зверя сверкали яростью и болью — что было совсем неудивительно: от ящерицы осталась только передняя половина, которая кое-как ползла на двух лапах. Но, несмотря на это, чудовище все еще шипело от ярости — и продолжало рвать зубами то, что было когда-то Озирисом.

Увидев меня, половинка дракона заверещала — и поползла в мою сторону. Я был уже в полном боевом снаряжении — и собирался расшибить гадине голову, но над кучей окровавленного тряпья вдруг просиял нестерпимо яркий свет, раздался удар гонга — и я увидел живого и невредимого Озириса. На нем был темный балахон, а в руке — круглый белый веер.

В один прыжок подскочив к ползущему монстру, Озирис принялся со страшной скоростью молотить его веером — подпрыгивая, кувыркаясь, зависая в воздухе, — и вообще совершая огромное количество невозможных с точки зрения биологии и физики движений.

Сначала зверь пробовал сопротивляться — но он даже не мог развернуться к Озирису пастью. Тот все время оказывался позади. Мест, где веер бил по чешуе, не было видно за вспышками, дымом и мелькающими цифрами. А потом Озирис весь налился красным и замолотил по дракону с удвоенной силой и частотой. Дракон уже не двигался — мрачно опустив голову с великолепным гребнем, он дожидался конца. Опять просиял ослепительный свет, заставив меня зажмуриться. Когда я стал видеть, дракона впереди уже не было.

Озирис бросил веер на землю, и тот, прощально сверкнув, исчез.

— Готово? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Пришлось пару раз помереть. Все как в жизни.

— Теперь сможем пройти?

Он кивнул, и вдруг в его глазах мелькнул испуг.

— Ты свинью случайно не взорвал? — спросил он.

— Не успел.

Озирис с облегчением провел рукой по лбу.

— Не вздумай, пока я не скажу.

— Я и не надеялся, — ответил я, — что опять вас увижу. Что это за тварь?

— Ящер Фафнир, — сказал Озирис.

— Откуда?

— Сони разума эртертейнмент порождает чудовищ, хе-хе... Я этого зверя при жизни ни разу не мог пройти, оружие плохое было. Не проагррейдил вовремя...

— Так вы что, играли просто?

— Типа того, — сказал Озирис. — Решил напоследок порубиться. Пока ты борешься с одиночеством. А чего ты нервничаешь? Так со мной говоришь, как будто я дурака валяю, а ты что-то важное делаешь. Ты лучше скажи, как тебе Софи? Правда, как живая?

Я почувствовал, как неудержимо краснею.

Подразумеваемое этим вопросом было настолько оскорбительно, что я не хотел в это верить. Но слова были уже сказаны и услышаны. И я тут же понял, что они были правдой. В моем вампонавигаторе не было ДНА Софи. И мне не приходило от нее письма в виде флакона-сердца.

Это не могла быть она.

Я повернулся и побрел к кустам с кроватью — уже догадываясь, что увижу. Догадка меня не обманула. Никакой Софи там не было. Не было даже кровати. И вообще это место выглядело совсем не так, как я помнил.

Я вернулся к Озирису.

— Вы хотите сказать... Что Софи... Она что, была не настоящая?

— Настоящая? — переспросил Озирис. — Тут? Это же лимбо. Тут все такое же настоящее, как ты сам.

— Она не приходила на самом деле?

— Опять-таки, как посмотреть. Ты про нее вспомнил и увидел. Значит, в каком-то смысле приходила.

— То есть это просто моя мысль?

— Почему твоя, — сказал он. — Я Софи тоже знаю. Причем с такой стороны, которая тебе вряд ли знакома. Это я ее для тебя надул. Ну а пользовался ты один... Я, собственно, и не претендую.

— А зачем вы это сделали? — спросил я.

Озирис пожал плечами.

— Позитивный вампиризм. Последний раз захотелось сделать кого-то счастливым. Согласен, элемент двусмысленности в этом есть. Но я же не виноват, что у тебя такое счастье...

Мне невыносимо захотелось дать ему по шее.

— Так с кем я сейчас трахался? — прошептал я, еле сдерживаясь. — С мертвым вампиром? Который при этом мой собственный глюк?

— А что, брезгуешь?

Я промолчал.

— Эх, молодо-красно, — усмехнулся Озирис. — Успокойся, Рама. Если хочешь быть счастлив в любви, вообще никогда про такие вещи не задумывайся. Только испортишь все. Это я тебе как ныряльщик ныряльщику говорю.

— Я думал, она меня к себе пригласила, — прошептал я горько. — И мы с ней будем вместе... Значит, вранье?

— Слушай, — сказал Озирис, — раз ты так на этой теме завернут, устрою вам реальную физическую встречу в гнездышке любви. Обещаю. Но с одним условием.

— Каким?

— Ты мне сейчас поможешь.

— Как?

— Идем, — сказал Озирис, — покажу.

Он пошел вверх по песчаной тропинке. Я побрел следом. Каждый раз, когда мне вспоминались поцелуи Софи, у меня возникало желание

сплюнуть.

Мы дошли до темного входа в новую жизнь. Сначала перед нами был просто прямоугольник вулканического стекла с тусклыми бликами — но чем дальше я глядел в него, тем прозрачней оно становилось, и вскоре я уже рассматривал панораму центральной Москвы.

В Москве был летний вечер — бесконечная пробка во все стороны и закатные облака с нежной пилатовской каймой. Все как обычно. Смогом плохо дышать, но издалека он красив.

— Я не пойду туда, — сказал Озирис. — Не хочу перерождаться в этом серпентарии и молотарии. Я собираюсь скрыться без следа. Совсем.

— Где? — спросил я.

— В темноте и покое, — ответил Озирис. — Помнишь, как мы падали? Я хочу, чтобы все остановилось. Я хочу слиться с Великим Вампиром навсегда.

— А разве такое возможно?

— Да. Многие так делают. Кто может, конечно. Но за помощь мне у тебя могут быть неприятности. Потому что это... Ну как измена Родине. Только хуже.

— Если так, наши поймут, — сказал я. — И простят.

— Понять-то они поймут. И простят. Но неприятности у тебя будут. Так что решай. Поможешь?

Я задумался.

— Мне проще будет устроить твою встречу с Софи, — сказал Озирис. — Она тогда сама произойдет. Автоматически.

— Не врете? — спросил я.

— Я никогда не вру.

— Хорошо, — вздохнул я. — Что надо сделать?

— Взорвать свинью в нужный момент, — сказал Озирис. — И все.

— Где? — спросил я. — Здесь?

Озирис отрицательно покачал головой и указал пальцем вверх.

— Нет. Там. А по дороге я тебе кое-что расскажу.

— Что?

— Нечто такое, что может изменить всю твою жизнь. И всю твою смерть тоже.

Он подошел к стене и, посмотрев в близкое желтое небо, полез по камню вверх, цепляясь за неровности и трещины. Чертыхнувшись, я последовал за ним.

Лезть оказалось несложно — даже если пальцы или стопа соскальзывали с каменной опоры, падать никакой необходимости не было.

Достаточно было просто прижаться к теплому камню и нащупать выступ понадежнее. Я подумал, что так, наверное, чувствует себя на стене ящерица-геккон.

Через несколько минут подъема земля внизу скрылась в желтоватом тумане. Теперь я видел только стену, уходящую вверх и вниз, и карабкающегося по ней Озириса. Иногда мне начинало казаться, что мы не лезем вверх, а ползем по бесконечной каменной пустыне. Это успокаивало. Зато обратное переключение перспективы обдавало ужасом. Каждый раз мне казалось, что я все-таки упаду.

Чтобы отвлечься от собственного страха, я стал говорить.

— Вот вы устраиваете всякие фокусы с перерождением. Не хотите идти куда положено. То есть вы восстаете против воли Великого Вампира?

— Мы это уже обсуждали, Рама. То, что происходит — и есть его воля. Поэтому все, что нам удастся сделать, тоже ей станет.

— Хорошо, — сказал я, — а кто перерождается?

— Ты сам видел.

— Но там... Там никого не было. Только полная непонятка. Совершенно грандиозных размеров, я бы сказал.

— Вот она и перерождается.

— А как?

— Да точно так же, как перед этим жила.

— Я не понимаю, — пожаловался я. — Дракула говорит, что постоянного «я» нет. Я и сам это видел. Кого же я тогда сейчас провожаю? И куда? Как это вообще совместить?

— А зачем тебе что-то совмещать? Пусть Великий Вампир совмещает. Его проблемы...

Это, конечно, было правдой. Но так широко глядеть на вещи я пока не мог — и Озирис это, видимо, понимал.

— Вопрос «кто?» вообще бессмыслен, — сказал он, вглядываясь в туман над головой. — С кем все это происходит? В настоящий момент мертвый Озирис жив через свет, который проходит через вергилия Раму. Но через какой свет жив вергилий Рама? Откуда свет приходит и куда уходит? Ведь не думаешь ты, что он начинается и кончается у тебя в голове? В лимбо нет души. Но в чем она есть? Бегающие по земле человечки — это просто лошадки осенней карусели, которая крутится потому, что сторож-таджик забыл отключить электромотор. Если лошадки выглядят веселыми и разноцветными, это не значит, что им весело и что у них есть цвета. Это даже не значит, что они вообще есть...

— Грустно как-то.

— Вампир помнит, что ум «Б» будет терзать его всю жизнь, — сказал Озирис.

— Так что же, выхода нет совсем?

— Есть, — ответил Озирис.

— Позитивный вампиризм?

— Это не выход. А всего лишь гигиена ума, делающая выход возможным. Сам выход в другом.

— В чем?

— Выход — это Тайный Черный Путь.

Я вспомнил, что слышал это выражение во время встречи с Дракулой. Все происходило в точности как он обещал.

— Что это такое?

— Путь абсолютной подлости.

— Как это понимать?

— Это очень простое учение, Рама. И невероятно глубокое. Именно из-за своей простоты оно сохраняется в тайне. Оно зашифровано особым образом.

— Каким?

— Leaking Hearts применили для его сокрытия Черный Занавес. Они спрятали его в уже существующих комбинациях слов. В фольклоре, цитатах и даже уголовном слэнге. В разных странах доктрина звучит немного по-разному. И ее при всем желании нельзя разгласить непосвященным.

— Почему?

— Все и так общеизвестно. Фрагменты человеческой культуры, в которых размещено учение, называются «pillars of abomination»^[25]. Знание тайно передается от учителя к ученику, когда учитель разъясняет скрытый смысл какого-нибудь pillar of abomination. Сегодня я на несколько минут стану твоим учителем, Рама. На то время, пока мы лезем вверх. Я объясню тебе два первых pillars. Так захотел Дракула...

Я задрал голову. Каменная стена уходила вверх и исчезала в желтом тумане над моей головой. Невозможно было сказать, далеко ли до ее вершины — и есть ли она вообще.

— Почему мы называем Великого Вампира Великим Вампиром? — заговорил Озирис. — Потому что мы работаем на его фабрике всю жизнь, даже не зная этого. Вампиры отличаются от людей только тем, что они надзиратели — но и надзиратель, и заключенный сделаны из одного и того же теста. Это тесто, Рама, и есть Великий Вампир. Мы все трудимся на него. И не можем ни в чем его обвинить, потому что без него нас не было

бы вообще.

— Но ведь люди работают на вампиров. Разве нет?

— Нет. Мы вовсе не хозяева людей, Рама. Мы просто слуги Великого Вампира, который проделывает с нами то же самое, что с людьми. Механизм происходящего ясен нам лишь потому, что мы поставлены его обслуживать. Но мы не понимаем его целиком. Нам, так сказать, видны только те части, которые мы должны смазывать...

Я вспомнил последнюю Красную Церемонию — и свой разговор с телепузиками. Кажется, Эз говорил что-то похожее.

— Как именно мы трудимся на Великого Вампира? — спросил я.

— Принимая возникающие в сознании мысли и желания за свои собственные. В действительности это мысли и желания Великого Вампира. Он окунает их в наше сознание — которое на самом деле тоже его собственное сознание — чтобы мы яростно уцепились за них и согрели их своей ненавистью и любовью, пропитали их своей жизненной силой, которая на самом деле тоже его жизненная сила. Наше сознание служит Великому Вампиру чем-то вроде печки, в которой он готовит свою пищу. Путь абсолютной подлости заключается в том, что ты перестаешь обслуживать эту печку.

— То есть я подавляю мысли?

— Ты не можешь их подавлять, — сказал Озирис. — Они не твои. Даже голова у тебя на плечах не твоя. Все это личная собственность Великого Вампира. И то, что представляется тебе внешней реальностью, и то, что прикидывается твоим внутренним миром, тобою самим, — не должно вызывать у тебя никаких личных чувств. Это не твое. Все это тебе ни к чему. Оно может причинить тебе только боль. Но если ты начнешь все это ненавидеть, ты испытаешь еще большую боль. Такого следует избегать. Первый pillar of abomination содержит именно это наставление. Это цитата из поэта Лермонтова. «Презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего...» Ни-че-го. Понял?

Я, наверно, должен был испытать мистическое озарение — но вместо этого подумал о том, сколько досуга было в свое время у кавалерийских офицеров.

— Только так следует обращаться с возникающими в сознании феноменами, — сказал Озирис. — Не раскачивать их ни в ту, ни в другую сторону. Ты видел Великого Вампира и знаешь, что ты — просто совокупность процессов, ни один из которых тебе не подконтролен. Мало того, ни один из них тебе не нужен. Все это нужно только Великому Вампиру. Тебе от этого никакой пользы, потому что никакого тебя нет

вообще. Великий Вампир нужен только себе самому. Во вселенной есть лишь он и его невидимые зеркала, которые и есть мир. Великий Вампир обманом заставляет тебя поверить в собственное «я», чтобы в тебе завелся мотор. Потом ты всю жизнь вкалываешь на его фабрике, думая, что это твоя собственная фабрика — а когда приходится помирать, выясняется, что все эти «я» никогда не были тобой, а были только им. Твоя жизнь не имеет к тебе никакого отношения, Рама. В ней нет того, кто ее живет.

— А кто тогда верит в эти «я»?

— Сами «я» и верят. В этом весь трюк. Это опирающееся само на себя заблуждение — и есть источник энергии, которую семьдесят лет производит каждая батарейка матрицы перед тем, как ее экологично зарывают в землю. Возможность понять это — один из самых странных багов, которые Великий Вампир оставил в творении. Потому что после этого появляется невероятно интересный в метафизическом смысле шанс восстания против космического порядка вещей.

— Почему? — спросил я.

— Восстание против Великого Вампира не имеет никаких шансов, пока ты думаешь, что ты есть. Заблуждение никогда не станет проросшим семенем. Но когда ты понимаешь, что тебя на самом деле нет, и все же восстаешь — тогда восстание становится волей самого Великого Вампира. Поэтому сокрушить его невозможно. Многих наших ребят это завораживало еще в глубокой древности. Ты, наверно, слышал...

Я неуверенно кивнул.

— Но я считаю, — продолжал Озирис, вглядываясь в клочья тумана над головой, — что это означает лишь одно — Великому Вампиру все-таки удалось их продинамить. Не мытьем, так катаньем. Нет уж, спасибо. Бунт против Великого Вампира не нужен никому, кроме Великого Вампира. Тайный Черный Путь — это не восстание.

— А что это тогда?

— Он больше похож на итальянскую забастовку. Сначала ты постигаешь, что существуешь не сам по себе, а как часть грандиозного целого. Ты шестеренка в титаническом механизме Великого Вампира — шестеренка, которая не имеет никакого самостоятельного смысла и ценности. Ты просто часть чужого плана. Неизмеримого, непостижимого плана. Но шестеренка должна верить, что она живет сама для себя — только при этом она будет вращаться с нужной скоростью и в нужную сторону. Твое заблуждение — тоже часть плана. Тебя кинули, чтобы ты лучше крутился. Постигнув это, ты кладешь на великий план. Ты забиваешь на это целое. Второй pillar of abomination — просто частушка.

Ты готов ее услышать?

Я замер на стене, глядя на Озириса. Тот тоже остановился, закрыл глаза и нараспев продекламировал:

— Гудит как улей
родной завод.
А мне-то хули?
Ебись он в рот!

Мы полезли дальше. Не скажу, что второе прикосновение к тайне потрясло меня сильнее, чем первое — наверно, дело было в том, что я уже слышал эту частушку. Но раньше, конечно, я не понимал ее глубины.

— Здесь отражена двойственность происходящего в сознании, — продолжал Озирис. — С одной стороны, оно наше, родное, потому что другого сознания у нас нет. С другой стороны, когда ты понимаешь, что это на самом деле сознание Великого Вампира, ты перестаешь испытывать к происходящему на его фабрике всякий интерес. Ты перестаешь на него работать. Когда ты замечаешь, что по твоей голове катится очередная тележка с его мыслями, ты отказываешься разгонять ее своим интересом и участием. Ты не борешься с возникающими в сознании феноменами. Ты просто разжимаешь руки каждый раз, когда в них шлепается направленный тебе груз. С точки зрения Великого Вампира, это величайшая подлость, которая только может быть.

— Так что надо делать, чтобы перестать на него работать?

— Делать не надо ничего. Любое действие и есть работа на Великого Вампира, Рама. В Тайном Черном Пути не содержится никакого действия вообще. И так из секунды в секунду. Только это. Всю жизнь. А потом всю смерть. Надо не в бездны рушиться, а спокойно висеть в хамлете и не париться ни по одному вопросу. И если ты действительно не паришься, через несколько лет становится кристально ясно, что все возникающее и исчезающее, вообще все без исключения, чем бы оно ни было — на фиг тебе не нужно. И никогда не было нужно.

— И что дальше?

— Постепенно ты уходишь в отказ. Сначала по отдельным параметрам. Потом в полное отрицалово. А потом в отрицалово отрицалова, чтобы не инвестировать в чужой бизнес никаких эмоций вообще. И шестеренка перестает крутиться. Все останавливается. Как выразился на символическом языке один халдей, спокойствие есть

душевная подлость. Когда твоя душевная подлость становится абсолютной, ты делаешься равен Великому Вампиру. Ибо он есть единственная абсолютно неподвижная точка всего приведенного им в движение механизма... Только вдумайся — равен Великому Вампиру! Его зеркала уже не могут тебя остановить, потому что ты больше никуда не идешь. Это и есть Тайный Черный Путь.

— А Великий Вампир не возражает?

— Как он может возразить против того, что он равен сам себе?

Мне в голову пришла новая мысль.

— Подождите-подождите, — начал я горячо. — Но ведь неподвижность всегда относительна. Любую точку этого механизма можно назначить неподвижной, и тогда получится, что все остальные точки...

— То, что ты сейчас делаешь, Рама, — перебил Озирис, — и есть работа на Великого Вампира. А Тайный Черный Путь — это когда ты на него больше не работаешь. Ты не паришься насчет того, какой ты — относительный или абсолютный. Какая разница, если тебя все равно нет? Понимаешь, о чем я говорю?

— Примерно, — вздохнул я. — Сейчас, во всяком случае. А что завтра будет, не знаю. И чем он кончается, этот Тайный Черный Путь?

— Скоро увидишь, — сказал Озирис. — Приготовься. Мы на месте.

Как только он произнес эти слова, моя рука нащупала верхний край стены. Он был идеально ровным. Я подтянулся — и словно перевалился через грань огромного куба.

Впереди была каменистая пустыня, над которой плыли клубы желтого тумана, похожие на близкие облака — какие бывают на горных вершинах. Озирис поднялся на ноги и устоял в туман.

— Что там? — спросил я.

— Последняя застава, — ответил он.

Я увидел что-то темное, просвечивающее сквозь желтую дымку. Как будто там был низкий неровный лес, ветки которого колыхались под ветром. Станным, однако, было то, что никакого ветра я не чувствовал.

— Что это за деревья?

— Это не деревья, — сказал Озирис. — Это черти.

Тут же я понял, что там не лес.

Впереди стояла шеренга самых отвратительных существ, которых я когда-либо видел. Они были черными, с прозеленью, и тускло поблескивали, словно их шерстяные бока были вымазаны жиром. У них были рога примерно как у коров. Чем-то они напоминали выродившихся сельских алкоголиков, которым изменяют жены. И еще их было много.

Очень много. За первой цепью стояла вторая, за второй третья — и так до полной черной непроницаемости.

— Старайся меньше шевелиться, — сказал Озирис. — Тогда они нас не увидят.

— Что они тут делают? — спросил я.

— Нас поджидают, — усмехнулся Озирис.

— Я серьезно.

— Это граница реальности, Рама. Китайцы называют ее Великим Пределом.

— А почему ее охраняют русские народные галлюцинации?

— Они ее не охраняют. Они и есть эта граница. Мы видим ее таким образом потому, что это наша национальная культурная кодировка. Русские люди с древних времен доходили до Великого Предела в алкогольных трипах — и постепенно, за века и тысячелетия, выработали такой шаблон восприятия. Нам он достался по наследству...

— А что за этой границей?

— За ней нет ничего вообще. Ничего, кроме Великого Вампира. Весь мир существует только для того, чтобы Великий Вампир мог спрятаться за ним от нашего взгляда.

— Мы уже были за этой границей? — спросил я. — Когда видели Великого Вампира?

— Это были не мы, — сказал Озирис. — Это был сам Великий Вампир. Там только он.

— И что вы хотите сделать?

— Я хочу перейти границу, — ответил Озирис. — И остаться там навсегда.

— А как вы это сделаете? Ведь за ней вас уже не будет?

— Там будет Великий Вампир, — сказал Озирис. — А он может все. Не волнуйся за меня, Рама.

— Хорошо, — кивнул я. — Что мне делать?

— Сейчас я пойду вперед. Я постараюсь подойти к границе как можно ближе. Но меня рано или поздно заметят. И тогда ты взорвешь свинью.

— Когда именно?

— Я скажу.

— Вы вернетесь?

— Ни в коем случае, — улыбнулся Озирис.

— А что с вами случится?

— Я стану неотличим от Великого Вампира, — сказал Озирис. — И он навсегда про меня забудет. Во всяком случае, я на это надеюсь.

— А как же вы тогда устроите... Ну, что обещали?

— Не сомневайся, — ответил Озирис. — Все будет как я сказал... Прощай, Рама Второй.

Я не успел ничего ответить — он повернулся и побежал прочь.

Странное дело, но, хоть он бежал довольно быстро, его фигура практически не уменьшалась в размерах, а только искажалась — словно чем дальше он убегал, тем сильнее его искривляла невидимая линза. Когда далекие черти заметили его и кинулись наперерез, выяснилось, что по сравнению с Озирисом они очень маленьких размеров. Не больше, чем крысы рядом с человеком.

Но зато их было много.

Некоторое время Озирис брел сквозь их толпу, словно через мелкую черную речку, раскидывая их появившейся у него в руках палкой. Но черти наплывали со всех сторон и становились все крупнее, как будто удары Озириса надували их. Несколько чертей повисло у него на спине. Озирис покачнулся, но устоял на ногах. Сбросив их, он еще пару раз взмахнул своей палкой, потом повернулся ко мне и закричал:

— Взрывай свинью!

Я трижды надавил языком на пластину вампонавигатора и быстро провел языком по обнажившимся щетинкам.

Над моей головой появилось бронзовое кольцо. Оно не было соединено ни с чем — просто парило в воздухе. С него свисал витой желтый шнур с биркой, на которой была цифра «17». Тратить время на рефлексию было некогда.

Я уже знал, что делать.

Взявшись за шнур рукой, я потянул его вниз, словно спуская воду. Я не знал, что должно произойти — и был готов ко всему. Так я, во всяком случае, полагал.

Но к тому, что случилось, готов я точно не был.

Туман прорезала вспышка света. Она была невыносимо яркой. Я зажмурил глаза — и во мраке меня накрыл звук исполинского гонга.

Когда я опять стал видеть, над равниной высился огромный треугольник. Это была каменная пирамида, залитая багровым светом. Я не видел ее раньше в таком ракурсе — но это была та самая пирамида. На ее гранях темнели широкие лестницы, а на плоской вершине...

На вершине стоял голый Кедаев.

Он был очень далеко. Но каким-то образом я видел его в мельчайших деталях — примерно как убежавшего Озириса. Кедаев выглядел так, словно его только что разбудили — и с хмурым отвращением озирался по

сторонам.

Но самым странным было разлитое вокруг него багровое сияние. Сначала я подумал, что это падающий на него отсвет какого-то огня. А потом мне стало ясно, что источником этого света был он сам. Он сверкал, как красная лампочка, видная далеко во все стороны.

Мало того, я понимал, что означает этот свет. Кедаев был крайне аппетитен. Багровые лучи сообщали всем заинтересованным лицам, что на вершине пирамиды их ожидает роскошное, сытное и невероятно вкусное блюдо. И эти заинтересованные лица — вернее, морды, — уже вовсю лезли вверх по каменным ступеням. Я с содроганием понял, что анимограмму Кедаева оживляет уже не мое внимание — а их...

Кедаев несколько раз обошел площадку, глядя вниз. Но спрятаться было некуда. А потом его захлестнула взлетевшая со всех четырех сторон черно-зеленая живая волна.

Я поглядел на Озириса.

Сначала я не увидел его. В том месте, где он только что пробивался сквозь толпу чертей, теперь были лишь клочья желтого тумана.

А потом я его все-таки нашел.

Я даже не мог сказать, где он. Озирис стал так огромен, что этот вопрос просто потерял смысл. Перед ним уже не было ничего — он сам создавал место для своего следующего шага тем, что его делал. Мне пришло в голову, что нечто похожее происходит с высотным шаром, раздувающимся в стратосфере — только Озирис поднялся над всем существующим так высоко, что занял собой почти всю вселенную. А затем это «почти» отпало. Озирис разросся настолько, что действительно стал всем.

И исчез.

У меня было чувство, что на моих глазах произошло что-то невероятное. Грандиозное. Что-то такое, чего я не имел права видеть. Сперва время мне казалось, что прямо передо мной светится ослепительная звезда, которая одновременно была Озирисом и всем существующим. Потом я понял, что это невозможно, и звезда исчезла.

Теперь я не видел ни пирамиды с Кедаевым, ни желтого тумана — ничего вообще. Вокруг была непроглядная тьма, в которой порывами дул теплый ветер. Но я знал, что распахнутая Озирисом дверь до сих пор открыта. От его побега остался след — шириной с целый мир, и я мог последовать за ним. Во всяком случае, мог немного прогуляться в запретном направлении...

Я пошел вперед.

Сначала я не видел, куда ставлю ноги — но скоро в темноте стало просвечивать подобие дорожки. С каждым шагом я различал все больше деталей.

Это было что-то из детства — уже из моего собственного. Постепенно я начинал видеть не только саму тропу, но и растущие вокруг деревья. Дорожка была обсажена по краям цветами красивых и редких оттенков. Кажется, они назывались «анютины глазки».

Я знал, что, если я смогу увидеть мир целиком и различить небо над головой, произойдет что-то важное. Может быть, мне даже не надо будет возвращаться назад...

И я уже почти догадался, каким это небо должно быть — летним, выгоревшим, светло-голубым в редких белых клочьях, — когда прямо передо мной выросли два черных монаха самого неприветливого вида.

Они стояли на дорожке, по которой я шел, перекрывая ее своими телами. Их руки были сложены на груди, а лица — скрыты под темными капюшонами.

Их вид казался настолько угрожающим, что в моей руке появился шест Аида. Другая моя рука обросла щитом, а на голове сгустился шлем — этими атрибутами ныряльщика я обрастал в случае опасности рефлекторно.

Монахи прореагировали очень живо. Не теряя достоинства, они быстро попятились — даже, пожалуй, побежали назад, не опуская сложенных на груди рук и все так же обернув ко мне свои скрытые капюшонами лица. Вскоре они скрылись из виду.

Что ни говори, хорошо принадлежать к небольшому, но влиятельному древнему сообществу... Я собирался пойти по тропинке дальше — и вдруг увидел, что вместе с монахами исчезла и она: словно, убегая, они свернули ее, как ковровую дорожку.

На душе у меня стало кисло.

Но, хоть я не мог больше идти по этой дорожке, я помнил, как она располагалась в пространстве. Просто из любопытства я пошел по густой непроницаемой черноте в ту сторону, куда она вела.

Вскоре выяснилось, что монахам не удалось скрыть свои следы полностью. Я заметил в темноте огонек. Подойдя ближе, я увидел птичье перо. Оно было радужным и ярким, и светилось, как завиток раскаленного металла. Я не стал его поднимать, опасаясь обжечься.

Я пошел дальше, внимательно глядя вперед — и понемногу уже начиная прикидывать, как бы смыться из этой неприветливой черноты. Мне не особо нравилось, что вокруг то черти, то монахи. Что им, спрашивается,

нужно от странника, совершенно не интересующегося подобной кодировкой?

Впрочем, причину их появления я понимал. Религиозные видения бывают во время Красной Церемонии у многих вампиров, так что у нас даже есть специальный курс «Confidence revival»^[26], который я не поленился в свое время проглотить, увидев под баблосом какого-то воинственного ангела света (он походил на объятый голубым пламенем самолет-спиртовоз — и некоторое время гнался за мной, но потом отстал).

У людей есть поговорка — «с каждым сбудется по его вере». Ее обычно употребляют не к месту, в том смысле, что надо верить в хорошее, быть оптимистом, и все будет чики-чики. В действительности же смысл этих слов более прозаичен. Он в том, что наши видения — в том числе и загробная реальность — выстраиваются из наших бессознательных ожиданий. Если вы родились в реке под названием «Волга» и провели в ней всю жизнь, это означает, что в какой-то момент вы окажетесь в Каспийском море (если только Горький не врет). Забавно, однако, что люди чаще всего не вполне понимают, по какой именно реке они плывут.

Иной гражданин уверен, что путешествует по Гангу или Миссисипи, а то и вообще превратился в нильского крокодила благодаря особым духовным практикам, — а на самом деле его по-прежнему сплавляют вниз по матушке-Волге вместе с бутылками от пивасика, гнилыми бревнами и прочим сором. Чтобы разобраться с вопросом до конца и понять, во что человек верит (и верит ли вообще), ему надо умереть — и вновь прийти в себя под взглядом Великого Вампира. Тогда все проясняется довольно быстро.

Вера, увы, не зависит от того, что человек думает про себя при жизни. Она связана с заложенным в детстве фундаментом, который почти всегда сохраняется при разворотах взрослой личности. Хороший и искренний русский человек, на полном серьезе считающий себя последователем Будды, может обнаружить себя в христианском загробии по той же самой причине, по которой всю жизнь видел во время запоев маленьких зеленых чертей — а не, скажем, трехглазых гималайских демонов. Другой, полагающий себя христианином, легко может попасть под атаку свободных мемов в атеистической зоне хаоса.

Но мы, вампиры, редко ошибаемся на свой счет (во всяком случае, после курса «Confidence revival»). Я понимал, что оказался в этом монашеском пространстве по инерции скрытых детских впечатлений: сказки, церковные купола, жар-птица с картинки в старой книге — все это кажется пустяком, но когда-то обязательно вылезает наружу. Можно этого

пугаться, а можно, как советует «Confidence revival», расслабиться и получать удовольствие.

Что я и собирался сделать.

Шанс у меня еще был. Я заметил впереди светящуюся золотом точку, а потом — еще две таких же. Они не двигались. Через несколько шагов они превратились в огоньки, потом в яркие пятнышки — и я разглядел мерцающие в пустоте золотые яблоки.

Подняв одно, я попробовал откусить от него — совсем как сделал бы на земле. Ничего не получилось. Яблоко с электрическим треском лопнуло и исчезло, а я...

Я вдруг испытал сладкую грусть. И понял, что человеку не надо жалеть утраченного. Просто потому, что оно никогда на самом деле не принадлежало ему, а значит, не было и утраты. Эта мысль и освобождала, и грела. Станным, однако, было то, что я перед этим не думал об утратах.

Я подобрал еще одно яблоко, чуть поменьше. Укусить его опять не удалось — оно точно так же лопнуло возле рта. А мне пришло в голову, что переживать по поводу успехов и неудач тоже не следует, поскольку мы никогда не знаем, в чем на самом деле наше благо...

Только тут я сообразил, что эта мысль каким-то образом содержалась в яблоке. И предыдущая тоже.

Я подобрал третье, раскусил его и понял, что не надо никому мстить — мы всегда мстим тени, которую отбрасывает наш собственный ум, а попадаем в других... И даже если эти другие действительно сделали нам плохое, они все равно не имеют никакого отношения к той умственной пантомиме, которая посылает нас в бой...

Мне знакомы были все эти мысли, и я, пожалуй, назвал бы их банальностями. Но в яблоках содержалась простая и крепкая мудрость, голографическая смысловая глубина, похожая на личный жизненный опыт. Как выяснилось, ни одной из этих банальностей я никогда по-настоящему не понимал.

Но самое главное, что после каждого яблока на душе у меня становилось светлее и тише. И это было настолько приятно, что мне захотелось еще яблок. И как можно больше. Уж очень ласкало душу это чувство высокой светлой грусти.

У вампиров с грустью все в порядке, но она тяжелая, темная и безысходная — и эта по контрасту была сладка как мед. Яблоки явно не предназначались для нашего брата — и были, наверное, чем-то вроде духовного лекарства. Но, как известно, микстура от кашля в России больше, чем микстура от кашля. То же относилось и к этим райским

плодам.

Вот только вокруг их больше не было видно.

Зато я заметил щель, из которой они, по всей вероятности, выкатились. Она выглядела как тонкая вертикальная полоска света между не до конца задернутыми шторами. Да уж, мастера маскировки...

Я выставил вперед свой шест, коснулся вертикальной полоски света и слегка потянул ее вбок.

Лучше бы я этого не делал.

Я думал, что увижу некое подобие дыры в заборе, а за ней — райский сад, который представлялся мне туманным, прохладным и росистым, с яблоньками через каждые несколько метров.

Но оказалось, это ловушка. Причем самое обидное, что рассыпанные передо мной яблоки мудрости со всей содержащейся в них неземной печалью были просто приманкой. Понятно, что вампиру не следует жаловаться на чужое коварство, но все же, все же... Эх.

То, что выглядело как полоска света, треснуло и лопнуло. Мне показалось, что я разорвал гнилой мешок с картошкой, на котором кто-то нарисовал флюоресцентной краской вертикальную черту. Картошка посыпалась мне под ноги — и я с омерзением увидел, что она живая.

Это была не картошка, а...

Черти. Те самые, которых я видел вокруг Кедаева и Озириса.

Значит, я так и не перешел границу. Так и не увидел неба — а только успел про него подумать.

Сначала прыгавшие мне под ноги черти казались совсем мелкими. Но, чем больше их появлялось, тем крупнее они становились — словно им не терпелось заполнить собой все пространство. Их волна буквально отбросила меня от ловушки, и через несколько секунд я уже отбивался от толпы, которая с каждой секундой становилась все гуще.

Сражаться с ними оказалось несложно — достаточно было повторять одно простое движение из боевой библиотеки: разворот с перехватом шеста, который в результате описывал вокруг меня широкий быстрый круг.

Все, что попадало под удар — морды, рога, конечности, — разлеталось в мокрые клочья. Черти были, конечно, страшны, но трусливы — и у меня быстро сложилось чувство, что они волна за волной идут на меня в атаку, подчиняясь невидимому заградотряду, грозящему им еще большей карой и мукой. Уж не стоят ли, думал я, за их спинами тачанки с кропилами и крестами?

Нападая, они пытались боднуть рогами или зацепить когтистой лапой — но действовали без всякого энтузиазма, прячась друг за друга. Серьезное

увечье, видимо, было для них чем-то вроде пропуска домой: получив его, они разворачивались и брели прочь. Хвостов у них не было — только мохнатый зеленый выступ, примерно как у добермана. Наверно, как все трусливые и жалкие существа, в качестве мучителей они были особенно страшны.

Я догадывался, что в их действиях может скрываться коварство — но в чем оно, не понимал до самого последнего момента. А потом оказалось, что они меня провели.

Дело в том, что с разных сторон они напирали с разной силой, чему я не придавал значения из-за общей бестолковости их натиска. Но в результате мне все время приходилось смещаться назад и в сторону, пока во время одного из разворотов я не увидел у себя за спиной заботливо подготовленную бездну — в духе церковноприходских иллюстраций к поэме Лермонтова «Мцыри». Чего стоили мерцающие над ее краем далекие синеватые горы в итальянском духе, или развратный цыганский виноград, которым были увиты склоны обрыва. Подозреваю, что если бы в этом пространстве были запахи, пахло бы уксусом и ладаном.

Было ясно, что мне придется рано или поздно упасть в эту бездну — потому что оттуда я, собственно, и забрел в этот уютный гостеприимный мирок. Но я продолжал сдерживать натиск чертей даже тогда, когда за моей спиной осталась только пустота — уже из чистого упрямства.

Я мог бы, наверно, долго балансировать на краю обрыва — но тут на меня пошла в атаку какая-то гвардейская рота с красными рогами. Не обращая внимания на свои потери, черти подбадривали друг друга унылым протяжным пением и за несколько минут навалили передо мной такую гору безобразных тел, что я, скорее из отвращения, чем из невозможности продолжать битву, позволил своему телу оступить — и, под их торжествующий вой, соскользнул с обрыва в черное небытие.

Однако небытия там не оказалось. Вместе с бездной неизвестные умельцы создали ее бесконечно далекое дно, пылающее там пламя вечного возмездия и даже увлекающую вниз силу тяжести — в их конструкторе, похоже, были все нужные детальки для борьбы с агрессивным злом.

Как и в моем. Полюбовавшись скалистыми стенами (через каждую сотню метров там мелькала одинаковая гигантская паутина и застрявший в расщелине скелет), я дождался, пока пышущий снизу жар станет невыносимым — и провел языком по щетинкам вампонавигатора, прерывая миссию.

Когда головокружение прошло, я открыл глаза.

Я висел вниз головой в хамлете Энлиля Маратовича, сразу за которым

начиналась пропасть, где жила Великая Мышь. Самое дорогое место на Рублевке.

Между двумя безднами, как сказал бы поэт Мережковский, мнилась скользящая рифма... И рифмой этой был я.

Энлиль Маратович, Мардук Семенович и Ваал Петрович, сидящие у круглой стены в низких креслах, выплюнули трубочки, соединенные с идущим к моей вене пластиковым шлангом, и подняли на меня глаза. Их головы были перевернуты, и судить о мимике в полутьме было сложно, но я не сомневался, что их лица мрачны. Первое же, что я услышал, подтвердило мою догадку.

— Иштар Владимировна знает, как ты с мертвяками налево ходишь? — вкрадчиво спросил Мардук Семенович.

Только сейчас я сообразил, что этот зловещий синедрион во всех подробностях наблюдал мою встречу с фальшивой Софи. Смущение, как часто бывает, придало мне наглости.

— А я подумал, что это она и есть, — сказал я, невинно хлопая ресницами. — У нас с Ишкой так принято. И на вашем месте я бы не совался в личную жизнь Великой Мыши...

Все они, конечно, были в курсе, что я даже не вспомнил про Великую Мышь, увидев Софи. Но знать слишком много про личные пристрастия Иштар было рискованно в любом случае, так что я не сомневался, что мой совет они услышат.

Мардук Семенович и Ваал Петрович вопросительно поглядели на Энлиля Маратовича.

— В это нам лезть не надо, — сказал Энлиль Маратович. — А вот пособничество абсолютному побегу... Это дело серьезное. И судить его может только лично бэтман.

— Суд императора? — нахмурился Ваал Петрович. — Рама наш Кавалер Ночи. Будем выносить сор?

— А другого выхода нет, — сказал Энлиль Маратович. — Озирис ведь умный. Знал, что пообещать.

— Он что, меня обманул? — спросил я.

Энлиль Маратович уставился на меня немигающими глазами.

— Боюсь, что нет, — сказал он. — Но радоваться на твоём месте я не стал бы.

— Сдай вампонавигатор, Рама, — сказал Мардук Семенович.

— Пожалуйста, — ответил я. — Он все равно только на букву «С» работает. Когда новый будете выдавать, смотрите, чтобы вампотекла была нормальная.

Вампонавигатор вывалился из моего рта и упал на страховочную подушку. Такое поведение было не просто вызывающим, оно было оскорбительным. Но я уже не боялся ничего.

На лицах Мардука Семеновича и Ваала Петровича проступило грустное выражение. В глазах Энлиля Маратовича тоже была печаль.

Мне показалось, что эта троица опять укладывает меня в гроб. Но в прошлый раз эта процедура была просто потешным ритуалом — хоть гроб был самым настоящим. А вот сейчас, хоть никакого гроба не было видно, все было уже всерьез. Я даже не знал, откуда у меня появилось такое мрачное предчувствие. Но оно не обмануло. Что-то укололо меня в спину.

Дальше была темнота.



OMEN

Когда я пришел в себя, я по-прежнему висел вниз головой.

Сперва я подумал, что я все еще в хамлете Энлиля Маратовича — просто старшие вампиры не выдержали хамства и на время отключили меня, чтобы спокойно посоветоваться относительно моей дальнейшей судьбы.

Но тут меня качнуло, и стало ясно — я в другом месте. А потом меня качнуло еще раз, и по тошнотворному исчезновению тяжести я догадался, что лечу в самолете, который ухнул в воздушную яму.

Поняв это, я сразу же услышал приглушенный гул двигателей.

Мои ноги были продеты в эластичные кольца наподобие гимнастических. Я знал, что такие хамлеты устраивают на своих самолетах некоторые вампиры — независимая подвеска во время полета гораздо удобнее.

Мои глаза были завязаны, а руки — стянуты чем-то вроде скотча. Значит, я был под арестом...

Я чуть напряг руки, и скотч неожиданно разорвался. Тогда я снял повязку с глаз. Это оказалась мягкая бархатная полумаска, которую надевают, чтобы свет не мешал спать. С моих запястий свисали тонкие полоски порванной клейкой бумаги — она, похоже, была нужна не для ограничения свободы, а для того, чтобы придать моим рукам удобное положение.

Все было не так уж страшно.

Я висел в маленьком уютном хамлете бизнес-джета. Подождав, пока зафиксировавшая мои ноги судорога пройдет, я спустился на пол, открыл дверь и выглянул в салон.

Я знал этот самолет — и даже летал в нем пару раз. Просто никогда не был в его хамлете.

«Дассо» Энлиля Маратовича был обустроен внутри довольно аскетично — возможно, в качестве укора утопающим в роскоши халдеям. Впрочем, я не был уверен, что он пускает халдеев в свой летающий кабинет. С какой целью? Вместе наблюдать ночные огни мегаполисов? Энлиль Маратович любил сравнивать человеческие города с молочными фермами, но к подобным поэтическим инспекциям склонности не имел. У него было слишком много реальных забот.

В салоне стояло огромное черное кресло-трон с вертикальной спинкой

— и повернутые к нему четыре кресла поменьше, где, видимо, полагалось сидеть сопровождающим лицам. Я сел на черный трон — который, как и полагалось седалищу высшей власти, оказался холодным, жестким и неудобным.

Передо мной появился халдей-бортпроводник в синем хитоне и легкой золотой маске — и протянул мне флакон в виде двухголовой летучей мыши. Несколько секунд я гадал, кто назначил мне удаленную встречу — Иштар или Энлиль Маратович. А потом решил не мучить себя предположениями, снял раздваивающуюся пробку и приложил холодное горлышко к языку.

В соседнем кресле появился Энлиль Маратович. Он был в банном халате — и выглядел распаренным. Видимо, я поймал его во время водных процедур.

— Как проходит полет? — спросил он.

— Обязательно было отправлять меня в виде тушки? — спросил я.

— Извини, — улыбнулся Энлиль Маратович. — Строгость должна существовать хотя бы в качестве видимости. Чем хуже я с тобой обойдусь, тем меньше Мардук и Ваал будут тебя ненавидеть.

— Они мой баблос сосут и еще меня ненавидят?

Энлиль Маратович засмеялся.

— Почему твой? Раз они его сосут, значит, их баблос.

На это трудно было возразить.

— Куда я лечу? — спросил я.

— К бэтману на суд.

— Да что это за бэтман? Столько раз уже слышал, а объяснить никто не может.

— О нем не говорят без нужды, Рама. Но ты должен понимать, что если у вампиров есть империя, то должен быть и император. Бэтман — это наш высший арбитр. Добрый и мудрый пастырь, который по совместительству осуществляет верховный контроль над миром... Ты совершил серьезный проступок. Настолько серьезный, что судить тебя будет он лично. Но я думаю, обойдется. Скорей всего, он просто назначит тебе формальное испытание, и все.

— Какое испытание?

— Его называют «подвиг Аполло».

— Почему Аполло? Может, Геракла?

— Именно Аполло. Бэтмана зовут Аполло, а не Геракл.

— А что за подвиг?

— Это своего рода искупительная процедура. Со мной тоже по

молодости было. Бэтман придает ей большое значение. Но сложной я бы ее не назвал.

— А в чем она заключается?

— Не торопи события, Рама. Если бэтман велит тебе совершить подвиг, это значит, что он тебя уже фактически простил. До этого еще надо дожить.

— Он нами правит?

Энлиль Маратович неопределенно пожал плечами.

— Русские вампиры за многополярность. Но бэтмана это, к сожалению, мало волнует. У нас... Как бы сказать... Неустойчивый баланс интересов. Мы не слишком даем ему совать нос в свои дела. Но и обострять отношения ни в коем случае не хотим. Поэтому тебе следует прогрузиться кое-какой кросс-культурной информацией...

Я подумал, что было бы хорошо удалить Энлиля Маратовича из поля зрения — и стал смотреть в иллюминатор.

За крылом самолета висело далекое облако, похожее на небесную крепость. Над ним тянулась цепь колючих тучек, напоминающих зенитные разрывы. Это было красиво.

Но сквозь грозное величие неба вдруг проступило лицо Энлиля Маратовича, который и не подумал исчезнуть, а вместо этого разросся самым хамским образом.

— Слушай внимательно и запоминай, — сказал он. — У них полный сдвиг на ритуалах и политкорректности. Но при этом самый важный ритуал заключается в том, чтобы ритуала не было заметно вообще и общение выглядело простым и ненапряжным. Поэтому на время визита тебе придется напрячься и довести свое лицемерие до такого градуса, где оно уже диалектически не отличается от абсолютной искренности. Понял?

Я кивнул облакам в иллюминаторе.

— «Бэтман» — это официальный титул императора. Совсем простой и очень глубокий. С одной стороны — просто человекомышь, какой становится время от времени любой вампир, переходя в Древнее Тело. С другой стороны — высший ранг на земле... Сикофанты даже расшифровывают это слово как «Big Atman»^[27]. Но это, конечно, уже слишком...

— Поэтому у них кино про бэтмана и крутят? — спросил я.

— Черный Занавес at its best. Если к людям и просочится информация, что миром рулит бэтман, никто даже не удивится. Все и так это знают...

— Уже понял, — сказал я.

Прозрачные глаза Энлиля Маратовича насмешливо посмотрели на

меня сквозь иллюминатор.

— А сейчас я скажу тебе кое-что новое. Знаешь, чем североамериканская Великая Мышь отличается от нашей?

— Чем?

— У нее мужская голова. Эта голова и есть бэтман.

Я выпучил глаза.

— Это что, Великий Мышь?

— Нет, — сказал Энлиль Маратович. — Тело у Иштар всегда женское.

— А зачем к нему прицепили мужскую голову?

Энлиль Маратович пожал плечами.

— Считается, что такая психика обладает божественной стабильностью. Но я бы так не сказал. Совсем наоборот — с гормонами там такое творится, что мне и представить сложно. Покойная Иштар Борисовна думала, что это у них просто вытесненный гендерный шовинизм и недоверие к женщине. Не хотят давать женскому мозгу слишком большую власть. Но это не нашего ума дело.

Я кивнул.

— Мировой император, таким образом, гермафродит, — продолжал Энлиль Маратович. — Реальный полубог. Поэтому можно также называть его «бэтуман». А если из контекста непонятно, как следует выразиться, можно говорить «майти бэт». Только «майти маус» не скажи, наши часто так лажают.

— Угу.

— При личном общении бэтмана следует именовать в третьем лице, называя его «He or She». Вот оттуда у них вся эта ебатория в народ и просочилась...

И Энлиль Маратович тихо хихикнул.

— Он просто Аполло, или...?

— Или. Аполло Тринадцатый.

— А с какого года он правит?

— Он при делах с глубокой древности. Чуть не с Атлантиды. Проще считать, что он вечен.

— Как такое может быть?

— Они решили проблему старения шеи. Поэтому голова может жить столько же, сколько Великая Мышь. Но свой метод они держат в тайне. Чтобы реальная власть постоянно обновлялась всюду, кроме как у них.

— А где он или она живет? — спросил я. — В Америке?

— Нет. В море.

— А почему она тринадцатый, если эта голова вечная?

— Потому что Аполло пережил уже двенадцать плавучих резиденций. Эта — тринадцатая. Дом бэтмана Аполло и североамериканской Великой Мыши — авианесущая яхта. Тринадцатая по счету императорская ладья, на которой живет тот же самый Аполло, что и на первой. Именно туда ты сейчас летишь.

Я вспомнил видение, которое было у меня на Красной Церемонии.

— Это такой огромный черный корабль?

Энлиль Маратович кивнул.

— А как он называется?

— Это зависит от тебя, — сказал Энлиль Маратович.

— В каком смысле?

— Каждый видит свое название, Рама. Они меняются. Бэтман Аполло обладает непостижимой властью.

— А почему он живет на корабле?

— Чтобы никто не знал, где именно находится император.

— Яхту гораздо проще найти и потопить.

— Ее никто даже не увидит. Великие вампиры умеют поглощать любое количество направленного на них внимания. О нас не остается памяти. Это умеешь даже ты. Вспомни, как ты летал в Хартланд...

— Помню, — сказал я. — Но ведь туда могут поплыть другие корабли...

— Ты не понимаешь, что такое мировой император. Скажем так, в океане всегда почему-то есть большое пустое место, где у людей нет никаких дел. Куда никто не смотрит. И где ничего не происходит.

— Но кто это устраивает?

— Никто не устраивает. Это происходит само собой. Причинно-следственные связи в мире таковы, что у людей есть масса поводов смотреть в другую сторону. Люди не видят даже собственных затылков, Рама. Где им увидеть императора? Они стоят спиной к оси, вокруг которой крутится мир. А ты сейчас летишь в точку, сквозь которую проходит эта ось. Если угодно, полюс мировой каузальности.

— Этот полюс может перемещаться вместе с кораблем? — спросил я.

— Скрытый полюс может перемещаться как угодно. Но по собственной инициативе его не сможет найти никто из людей. Просто потому, что человеческая жизнь — это и есть вращение вокруг этого полюса. Если ты жив, ты не на полюсе. А если ты мертв, тебе туда уже не попасть.

— Хорошо, — не сдавался я, — а как туда долетит наш пилот?

— По приборам, — улыбнулся Энлиль Маратович. — Неужели ты

думаешь, что вампиры не могут решить таких простых вопросов? На яхте императора полно халдеев. Но без приглашения там не может оказаться никто. Ты не до конца понимаешь принцип, о котором я говорю. Погляди вниз.

Я заметил, что мы уже значительно снизились. Были хорошо различимы барашки волн.

— Ты что-нибудь видишь?

— Море, — ответил я. — Волны. И облака сверху.

— Теперь посмотри внимательно, — сказал Энлиль Маратович. — Яхта там. Ты уже прибыл.

И тут со мной что-то произошло.

Я понял, что какая-то моя часть уже долгое время испытывает страх — настолько неприятного свойства, что вся область, пораженная этим чувством, оказалась как бы исключена из сознания, словно отсиженная нога или однообразный звук.

И вдруг эта зона снова стала доступной.

Я увидел за окном корабль. Огромный и черный, крайне простой формы — похожий на один из старых японских авианосцев с накрывающей весь корпус плоской палубой. У корабля наверху не было никаких выступов, антенн, труб — только эта черная плоскость, размеченная желтоватыми посадочными знаками. На ней стояло несколько маленьких разноцветных бизнес-джетов вроде того, на котором летел я.

Как только я наконец позволил себе увидеть корабль, в моей голове что-то хлопнуло, словно там взорвалась петарда, и в ту же секунду отвращение и страх прошли. Но в этот миг я понял, что мог бы прожить рядом с этой исполинской черной ладьей всю жизнь, постоянно сверля ее глазами — и так ни разу не заметил бы ее. И нечто очень похожее происходит в ежедневной реальности со всеми без исключения людьми...

А потом я увидел на носу корабля тонкое белое слово.

OMEN

— Я вижу название, — сказал я. — Это...

— Никогда никому не говори, — перебил Энлиль Маратович. — Это касается только тебя. Не вовлекай в свою судьбу других.

Я кивнул.

— И еще, — сказал Энлиль Маратович. — Стюард даст тебе чемоданчик. Лично передашь его от меня бэтману. У него немного

улучшится настроение.

Я хотел спросить, что в чемоданчике, но вместо этого из меня вырвался совсем другой вопрос:

— А Софи? Она тоже там?

Энлиль Маратович нахмурился.

— Это ваши с ней дела, — сказал он недовольно. — Я про это даже знать не хочу, мне так спокойнее. Но думаю, что она на яхте. Ни пуха ни пера...

С этими словами Энлиль Маратович пропал из моего поля зрения. Мне показалось, что он не исчез, а просто нырнул под ту же пелену вытесненного отвращения, которая только что скрывала от меня корабль — и, возможно, до сих пор закрывает большую часть вселенной.

Корабль пропал снова. На этот раз он просто скрылся за краем иллюминатора — самолет заходил на посадку.

После удара колес о палубу мы остановились подозрительно быстро — причем мне показалось, что нас тормозит внешняя сила. Я вспомнил, что при посадке на авианосец самолет обычно цепляет растянутый над палубой трос-амортизатор специальным крюком. Видимо, «Дассо» Энлиля Маратовича был оборудован для подобных перелетов.

Удобный способ избавиться от неуютного персонажа — пригласить его прилететь на самолете и убрать трос. Прожужжит по палубе, шлепнется в море, и не надо никого душить желтым шнуром... Наверняка я не первый, кому здесь во время посадки приходит в голову такая мысль.

Халдей-бортпроводник в синем хитоне снова появился из кабины пилота. Он передал мне пузатый алюминиевый кейс, затем откинул дверцу, ставшую лесенкой — и, опустившись на одно колено, церемонно отвернулся от дыры в стене, словно опасаясь увидеть то, что за ней.

Я выглянул наружу — и сразу понял, что приземлиться на этой черной полосе можно без всяких резиновых хитростей. Самолеты, которые я видел с высоты, стояли так далеко, что были почти неразличимы. Корабль был огромен. Настолько огромен, что я вообще не ощущал никакой качки — мне казалось, что я стою на идеально ровном острове.

Меня встречали два халдея в черных комбинезонах. На них не было масок, но я понял, что это халдеи, по значкам на их груди — маленьким золотым маскам поверх пучков белой шерсти. Это вообще-то было функционально, особенно для техперсонала.

Когда я сошел с трапа, они склонились в глубоком поклоне и отвернули от меня лица — так же, как бортпроводник. В какой-нибудь другой ситуации такое поведение, наверное, выглядело бы хамским — но

здесь оно, несомненно, выражало предельное почтение: они даже не смели на меня смотреть. Это лишний раз доказывало, что вежливость и хамство, как инь и ян, при сгущении перетекают друг в друга.

Халдеи пошли прочь от самолета, время от времени останавливаясь, чтобы пригласить меня следом. Они по-прежнему отворачивались, и выглядело это жутковато.

На палубе впереди была желтая черта. Дойдя до нее, халдеи встали по ее краям на колени и закрыли ладонями лица, полностью отказав себе в праве видеть дальнейшее. Черный люк в полу отъехал в сторону, открыв ведущую вниз лестницу.

Я ждал — но ничего не происходило. Халдеи молча стояли на коленях у люка, спрятав от меня лица. Решившись, я переступил желтую черту. Когда я спустился по лестнице на глубину своего роста, люк над моей головой закрылся.

Лестница вела в черный куб пустоты размером с лифт. Пространство было освещено яркими иглами электрического света — крошечными лампами, с приятной асимметрией разбросанными по стенам, потолку и ступеням. Как только я оказался в лифте, выход перекрыла черная панель с такими же светящимися точками. По легкой вибрации я понял, что мы уже движемся. Но куда — вверх или в сторону — было неясно.

Воздух казался холодным и остро-свежим, словно к нему примешали какой-то стимулятор — не то кокаин, не то веселящий газ. Когда мы остановились, мой страх уже исчез. Мне было весело и тревожно.

Панель перед моим лицом поднялась вверх.

Стало очень светло. И еще я услышал музыку.

Я стоял в дверях большой комнаты.

Это, кажется, была гостиная — с несколькими окнами, сквозь которые внутрь било горячее солнце (я не задумался в тот момент, откуда здесь взяться солнцу, которого не было даже над палубой).

Войти в комнату, однако, было нельзя. Или, вернее, можно, но лишь на два-три шага: остальное пространство отгораживал красный шнур на стальных ножках — словно в музейном зале, осматривать который допускается только с крошечного пятачка у дверей.

Гостиная была пуста.

Но чувствовалось, что совсем недавно здесь кто-то был. В самом центре комнаты находилось возвышение — прямоугольный помост, накрытый циновками и коврами. На нем лежала смятая подушка, а рядом стоял чайный набор и дымящийся стеклянный кальян — словно некто, расслабившийся здесь минуту назад, только что вышел.

Пахло благовониями — совсем простыми и дешевыми.

Играло что-то индийское, приятно-малопретенциозное и даже смутно знакомое: эдакие расслабушные шиваистские мантры в исполнении англоязычного хора подкуранных искателей истины второй половины прошлого века. Простенький звучок недорогого синтезатора, еще из докомпьютерной эры, вызывал доверие и симпатию к нестройному пению — и заодно к месту, где играет такая музыка.

На стенах гостиной висели изображения индийских богов, лики Будды, несколько китчеватых христианских икон (в них тоже чувствовался индусский подход к небесному) и почему-то большой портрет американской писательницы Айн Рэнд в виде BDSM-госпожи.

Айн Рэнд, впрочем, вполне вписывалась в божественный ряд, поскольку была изображена на склоне дней — и со своими черными чулками и латексным корсажем походила на аллегория Смерти (или как минимум Чумы). В одной ее руке был кнут, в другой книга W. S. Maugham «Of Human Bondage»^[28]. Если в этом присутствовал какой-то тонкий культурный смысл, от меня он ускользнул.

Еще на стенах было несколько эстампов с зеленой арабской вязью на черном фоне — видимо, для мультикультурного баланса. И все это имело такой вид, словно было куплено после долгого торга на лотках возле двухзвездочных отелей в разных концах земли. В общем, я бы ничуть не удивился, узнав, что в этом месте можно заказать вегетарианскую шаурму и купить травы.

Я вдруг почувствовал легкий укол в шею. Моя рука инстинктивно дернулась, когда я понял, что в ней уже нет алюминиевого кейса. Как и когда он исчез, я не представлял.

По моей спине прошла дрожь ужаса. Но не из-за потери чемодана — а из-за отчетливого ощущения, что рядом со мной движется нечто массивное и быстрое. Мимо словно проехал беззвучный грузовик, водитель которого ухитрился незаметно вытащить у меня из кармана кошелек и еще взять анализ крови.

Впрочем, я уже знал, кто этот водитель — и догадывался, на что он способен. Я обернулся, чтобы посмотреть, не остался ли чемоданчик в лифте — но там его, естественно, не оказалось. А когда я опять повернулся к залитой светом комнате, на помосте уже сидел ее хозяин.

Это был худой человек с лысеющей головой и седой бородкой. Именно человек, а не торчащая из ниши голова, которую я ожидал увидеть. У него было обычное мужское тело, худое и костлявое, одетое во что-то вроде фиолетового шелкового халата. Его лицо было вполне располагающим. Так

мог бы выглядеть какой-нибудь норвежский арт-критик, старший программист из Купертино или повар мельбурнского ресторана-гурмэ. Он сидел на помосте, сложив перед собой ноги в бирманской манере — то есть не скрещивая. А рядом с ним лежал мой алюминиевый чемоданчик.

Он не глядел на меня. Выставив на замке код, он открыл кейс, и я увидел в его красном бархатном чреве три вместительных металлических контейнера, похожих на блестящие стальные термосы.

Удовлетворенно кивнув, он закрыл кейс, поставил его на пол рядом с собой — и тот поплыл в сторону, словно его положили на невидимую резиновую ленту, а затем просто прошел сквозь стену и исчез.

Я даже не удивился.

— Здравствуй, Рама, — сказал человек, поднимая на меня грустные карие глаза. — Меня зовут Аполло. Мои друзья называют меня просто Эйп. Или Нечестный Эйп, хе-хе... Наверно, чтобы намекнуть, что я похож на старую облезлую обезьяну, которая пытается всех обмануть. Ты тоже так думаешь?

— Пока не знаю, He or She, — пробормотал я, не особо соображая, что говорю.

— Хороший ответ, — сказал Аполло. — То есть у меня еще есть шанс, да? Ты тоже можешь называть меня Эйп. И не употребляй это идиотское «He or She», я теперь даже не знаю, как всех от этого отучить. Заразили полчеловечества... Ты знаешь, что ты привез, Рама?

Из осторожности я предпочел сказать:

— Нет, He or... Эйп.

Аполло наморщился.

— Не ври. Никогда мне не ври. Я сразу увижу, мой мальчик.

— Я не вру, — сказал я. — Я действительно не знаю. Но я догадываюсь, что это баблос. И эта догадка близка к уверенности.

Аполло улыбнулся.

— Вот теперь ты говоришь правду. Мы, существа класса undead, не должны лгать друг другу. Это бесполезно и только ведет к общему росту энтропии. Ты ведь знаешь, что это такое?

Я неуверенно кивнул.

— Что?

— Ну... — я замялся, — ну это как бы общая сумма всей космической неправды.

— О! Как точно сказано! Хотя... — Аполло поскреб в затылке, — есть и такая точка зрения, что это как раз окончательная космическая правда. Впрочем, со словами всегда так...

Он поглядел поверх моей головы.

— Устраивайся поудобней, разговор у нас долгий. Как говорят в России, в ногах правды нет... Можно подумать, что она есть в руках, хе-хе...

Сперва я решил, что он приглашает меня пройти за красный шнур, но потом что-то слегка стукнуло меня по плечу, и я увидел перекладину для ног, выдвинувшуюся из лифта на мощной телескопической штанге.

У меня никогда не получалось подвешиваться вниз головой элегантно, как это делали привычные к светскому зависанию вампиры: опустить перекладину к полу, присесть, непринужденно перекинуть через нее ноги, дать механизму поднять тебя вверх, и все это — не отрывая глаз от собеседника, вдумчиво кивая головой в ответ на его реплики...

Я отвел взгляд от императора лишь на несколько секунд — но когда я поглядел на него снова, он уже свисал с точно такого же стремени. Такая ловкость была умопомрачительной.

Свет в комнате погас — и одновременно стихла музыка. Мало того, исчез запах благовоний. Потом свет зажегся опять — но он был совсем слабым и не имел четкого источника. Я больше не видел никакой комнаты — а только императора.

Теперь мы находились точно друг напротив друга. Мне стало казаться, что мы парим в предрассветном облаке. Так, наверное, могла бы выглядеть безвидная тьма, откуда Великий Вампир руководил созданием мира.

Аполло кинул мне маленький предмет. Тот полетел по странной траектории — сначала опустился вниз, а потом, подлетая ко мне, опять поднялся — и я ухитрился поймать его только каким-то чудом. Это был крохотный флакон в форме птицы — с коричневым телом и длинным черным хвостом из настоящих перьев. Очень красивый флакон.

Следовало подчиниться. Я молча свернул птице голову и приложил обнажившееся горлышко к языку. Ничего не произошло. Я отпустил флакон, и он упал вверх.

— Тебя послали ко мне на суд, — сказал Аполло. — Твои начальники боятся того, что случилось, когда ты провожал Озириса. Это выше их разума. Но я, в отличие от них, хорошо знаю, что такое Тайный Черный Путь. Озирис был моим другом — до того, как наши дороги разошлись. И я вовсе не считаю, что он совершил преступление... Ошибку — возможно.

У меня от сердца отлегло. Если не было преступления, значит, не было и соучастия.

— Я не судья тебе, мой мальчик. Никакого наказания не будет. Дракула и Озирис не преступники и не предатели. Они слабаки. Вместо того чтобы

стараться сделать этот мир лучше, они выбрали бегство. Я не могу запретить тебе последовать за ними. Но я хочу, чтобы ты стал одним из нас. Ты знаешь, почему Тайный Черный Путь называется Черным?

Мне даже в голову не пришло задаваться этим вопросом — я полагал, что это слово «черный» автоматически прилагается ко всему, связанному с вампирами.

— Нет, — сказал я.

— Его так называют потому, что большую часть времени адепт висит в хамлете, закрыв глаза. И видит перед собой одну черноту. И Дракула, и Озирис учили тебя закрывать глаза. А я хочу показать тебе, как открыть их.

Я испытал очередной приступ страха. Мне вдруг показалось, что я сплю — и вижу очень странный, очень глубокий сон, а мои глаза в действительности закрыты. Я изо всех сил попытался открыть их. Но это не получилось, потому что они были открыты и так. Желая окончательно убедиться, что все в порядке, я несколько раз с силой моргнул. Аполло, видимо, понял, что со мной происходит — и тихо засмеялся.

— Ты поднялся уже достаточно высоко в нашей иерархии, Рама. Ты стал undead. То есть одним из высшего круга. Традиция такова, что учителем всех undead становится лично бэтман. Пусть даже на короткое время. Сегодня я расскажу тебе кое-что, чего не говорили твои прежние учителя. Только не думай, что это будут какие-то мрачные тайны. Мы не в России. Мой рассказ может даже показаться тебе скучным. Но правильное управление этим миром — это очень скучный труд. Стоит сделать его интересным, и история назовет тебя злодеем... Ты понимаешь смысл слова «undead»?

Я пожал плечами.

— Наверно, не до конца.

— Так называют тех, кто перешел в лимбо еще при жизни. На самом деле, конечно, мы никуда не переходим — а просто осознаем тот факт, что всегда находились именно здесь. С самого начала. Все прочие просто не понимают этого. Они считают, что действительно живут свои жизни сами...

— А мы разве нет? — спросил я.

— Мы не считаем себя живыми. Но мы не считаем себя и мертвыми. Мы узлы единой разворачивающейся анимогаммы, причина существования которых находится вне нас самих. Мы ничем не лучше всего остального. Но все остальное по неизвестной причине управляется через нас. Мы слуги Великого Вампира, что-то вроде его пальцев... Ну, это

нескромно — что-то вроде шерстинок на его пальцах.

Я кивнул.

— Высота, на которой мы стоим... Или, если тебе больше нравится, глубина, на которой мы висим — накладывает на нас огромные обязательства перед Великим Вампиром. Мы, по сути, ответственны за воплощение его замысла. Поэтому мне хотелось бы развеять ту мрачную картину мира, которую нарисовали перед тобой сначала Дракула, а потом Озирис. Я не хочу сказать, что они лгали, нет. Они мудрые и великие вампиры. Но все равно они исказили реальность. Частью замысла Великого Вампира, Рама, является сострадание к нашим меньшим братьям. Я имею в виду людей. Скажи честно, тебе ведь понравился Дракула?

— Да.

— Я люблю его как брата, — сказал Аполло. — Мы были близкими друзьями. И он во многом прав. Практически во всем, что он тебе говорил... Неправ он только в том, что клеветает на все мироздание. Он рассказал тебе о природе страдания и его неизбежности. И он прав — жизнь человека нелегка. Но в наших силах, Рама, сделать ее если не полностью счастливой, то гораздо менее трагичной. Ты знаешь, кто такие Leaking Hearts?

— Это последователи Дракулы?

— Не совсем. Так называли себя вампиры, которые издавна ощущали свою вину и ответственность за человеческую боль. Подобно Дракуле, они ужаснулись человеческому страданию. Но не все Leaking Hearts опустили руки и спрятались во мраке. Были среди них и такие, кто поклялся изменить жизнь человека к лучшему...

— А когда они жили? — спросил я.

— Они живут и сейчас, — улыбнулся Аполло. — Одним из них был твой знакомый Озирис — до тех пор, пока не встал на Тайный Черный Путь. Первые Leaking Hearts появились среди нас много тысяч лет назад. В ту пору они не называли себя этим именем. Но смысл их усилий уже тогда был направлен на облегчение человеческой судьбы...

Я вдруг заметил, что мы уже не парим в тумане, а бредем сквозь предрассветную мглу. Под ногами у нас были мраморные плиты, и я мог поклясться, что иду по ним сам — хотя и не мог точно вспомнить момента, когда это началось. Аполло шел сбоку, изредка поглядывая на меня. Говоря, он умеренно и красиво жестикулировал.

Я никогда не видел никого, кто излучал бы столько естественного достоинства. Он был похож на древнего философа, прогуливающегося со спутником в своем имении. Лишь его пурпурное облачение (которое уже не

казалось мне фиолетовым халатом) указывало на его ранг.

— Самые первые попытки облегчить человеческую боль были, конечно, наивными. Некоторые вампиры всерьез полагали, что смогут решить проблему, питаясь страданием животных. Это было живучее представление — именно из-за него все древние религии практиковали жертвоприношения. Но подход оказался непродуктивным.

— Почему? — спросил я.

— Дело в том, — сказал Аполло, — что объемы боли при этом должны быть колоссальными. Получать агрегат «М5» из животных — это как делать бензин из тополиного пуха. Технически возможно, но нерентабельно. Животные ведь почти не страдают. Им знакома только физическая боль — которую древние вампиры и пытались утилизировать. Но нам в пищу не годится боль. Нам нужно именно страдание — а его животные практически не испытывают...

Сквозь сумрак постепенно становились видны детали окружающего нас мира — кипарисы по краям дорожки и смутные контуры множества статуй. Приближался рассвет. Мир вокруг казался абсолютно реальным.

Как всегда в лимбо.

— А какая разница между болью и страданием? — спросил я.

— Боль — это просто боль, — ответил Аполло. — А страдание — это боль по поводу боли. Физическая боль не может быть слишком сильной — здесь есть жесткие биологические ограничения. А вот производимое человеческим умом страдание может быть поистине бесконечным. Для производства агрегата «М5» важна не сама боль, а как бы ее бесконечное умножение в зеркальном коридоре саморефлексии... Страдание является уникальным продуктом мыслящего человеческого ума, и животные не в силах производить его в нужных объемах. Поэтому жертвоприношения животных во всех древних культурах быстро сменились человеческими, и вампиры, пытавшиеся облегчить судьбу людей, ничего не могли с этим поделать... Стало ясно, что нашей пищей всегда будет оставаться человек.

— А разве было не наоборот? — осторожно спросил я. — По-моему, принято считать, что сначала были человеческие жертвоприношения, а потом стали постепенно заменять людей животными и всякими символическими фигурками...

Аполло сморщился и махнул рукой, как бы давая понять, что исторические воззрения людей представляют для него незначительный интерес.

— Leaking Hearts, — продолжал он, — решили внимательно изучить различные методы выработки агрегата «М5», чтобы сделать этот процесс

максимально гуманным. Возможностей оказалось мало. Самым жестоким способом экстракции страдания было человеческое жертвоприношение — война или любая другая форма ритуального массового убийства. Самым гуманным — утилизация страдания, производимого естественным человеческим старением и болезнями. Но самые высокие объемы агрегата «М5» с древнейших дней давала технология, которую условно можно назвать рефлексией по поводу личной стоимости. Именно этот конвейер и сегодня является главным рабочим местом человечества.

— Я знаю, — сказал я, — меня учили.

Аполло улыбнулся, и я почувствовал, что он не испытывает к моему образованию большого доверия.

Мы дошли до конца дорожки. Кажется, за ее ограждением начинался сад — там были видны темные контуры деревьев. На стене сада стояли мраморные статуи каких-то древних спортсменов. Я так решил, потому что у одного в руках был диск, а у другого — странной формы гантели.

В небе уже краснели первые зарницы рассвета.

Аполло развернулся и положил руку мне на плечо. Его ладонь была почти невесомой — но мне показалось, что на моем плече сидит маленький хищный зверь. Мы медленно пошли в другую сторону.

— Подобные методы сбора жизненной силы, — продолжал Аполло, — известны много десятков тысяч лет. Все это время лучших вампиров мучила совесть. Они пытались облегчить страдания человечества. Худшие из нас, как ты догадываешься, думали только о том, чтобы выжать из людей как можно больше баблоса. Результат столкновения этих конфликтующих усилий и есть вся видимая человеческая история. Здесь были как победы, так и поражения. Мир постепенно становился все гуманней — во всяком случае, внешне...

— Я думаю, — сказал я, — что для вампиров на первом месте всегда будет баблос, а не гуманистические идеалы.

— Так и есть, — кивнул Аполло. — И любой император вампиров будет императором только до тех пор, пока разделяет этот подход. Вопрос в том, какие методы дают больше баблоса, а какие меньше. Leaking Hearts не призывали отказаться от агрегата «М5» — их никто не стал бы слушать. Их главный message был в том, что можно выжимать из людей больше баблоса, одновременно улучшая жизнь человечества...

— Но разве это осуществимо?

— Конечно. Именно в этом суть прогресса. Здесь было много разных экспериментов, в том числе и социальных. В прошлом веке для выработки больших объемов страдания пробовали создавать невыносимые для жизни

тоталитарные общества. Но примерно в то же время были сделаны научные открытия, которые сделали возможными Великую Частотную Революцию.

Я никогда не слышал такого выражения раньше.

— Что это? — спросил я.

— The Great Frequency Revolution — самый радикальный проект вампиров за последние несколько тысяч лет.

— Какая частота тут имеется в виду? Частота чего?

Аполло улыбнулся и потрепал меня по шее.

— Как это сказал русский поэт Блок? «Сердцу закон непреложный — радость-страдание одно...» Каждый такой цикл производит определенное количество агрегата «М5». Чтобы увеличить общий объем...

— Поднять частоту? — догадался я.

— Умница! — сказал Аполло. — Именно. Человеческий мозг способен переживать циклы радости-страдания очень быстро. Человек может испытывать волны полноценной фрустрации не раз и не два раза в день — а несколько раз в минуту. Вампиры знали это давно. Но было непонятно — как выйти на эти рубежи? Социальная реальность не содержит скриптов, позволяющих уму «Б» раскрыться до максимальных оборотов.

— Почему? — спросил я.

— Войну при всем желании нельзя устраивать каждые полчаса. Даже внутренний диалог подвержен определенным ограничениям. Например, трудно заставить человека каждые пять секунд вспоминать, что он лузер и у него нет денег — хотя над этим и работают лучшие умы человечества. Это происходит максимум пару раз в день...

— У нас чаще, — сказал я.

Аполло кивнул.

— Возможно — у вас жесткая культура. Но все равно частота будет не слишком велика... Так вот, в какой-то момент вампиры задумались — нельзя ли создать для человека особый искусственный мир, чтобы пропускать его сознание через циклы радости-страдания максимально часто?

— И что же мы придумали? — спросил я.

Аполло поднял бровь.

— Тебе все еще непонятно?

— Нет, — сказал я честно.

— Рама, use your head^[29]. Если вампиры что-то изобрели и внедрили, ты должен про это знать. И не как вампир, а как человек. Это должно быть нечто хорошо тебе знакомое... Нечто возникшее по историческим меркам

совсем недавно... Во что ты эмоционально вовлечен... Что ты любишь...

— Видеоигры?

— Bingo!^[30] Но почему только видеоигры?

Я решил перечислить все, что приходит в голову.

— Кино? Интернет? Новости?

После каждого слова Аполло благосклонно кивал головой.

— Совершенно правильно. По своей природе любая из этих реальностей является подобием сновидения, где радость и страдание могут чередоваться с какой угодно скоростью. Персонаж фильма или игры, с которым отождествляется зритель, не ест, не спит и не решает бытовых вопросов. Ему не надо проживать долгую человеческую жизнь, чтобы выделить агрегат «М5» в точке смерти. Он может испытывать предсмертную фрустрацию много раз в час. А умирать — хоть каждую минуту. Он может излучать страдание практически непрерывно...

— Но ведь в играх главное не страдание, а совсем наоборот, — сказал я. — В них играют для удовольствия!

Аполло засмеялся.

— Вот-вот. В этом и трюк. Человек даже не понимает, что основным содержанием видеоигр является фрустрация. Мы это, понятно, не афишируем. Халдейские психологи учат, что игрок испытывает наслаждение от своей неуязвимости, видя опасность, которой подвергается нарисованный герой в своем искусственном мире...

— Разве люди играли бы в игры, если бы это было страданием?

— Конечно, — ответил Аполло. — Страдать — прямое назначение человека, для которого он выведен. Рано или поздно он редуцирует к этому любое свое занятие.

— Но ведь в игре все понарошку! В этом все и дело!

— Мозг не в состоянии работать понарошку. Человек может понимать на сознательном уровне, что играет в консольный шутер, но каждый раз, когда контроллер вздрагивает в его руках, а экран покрывается пятнами виртуальной крови, какая-то часть его существа — и очень значительная — готовится умирать всерьез. Ты любишь играть?

Я кивнул.

— Вспомни какую-нибудь пройденную недавно игру. В деталях. Можешь?

Я вспомнил какой-то шутер. Аполло закрыл глаза.

— Герой лезет вверх по стене замка, — сказал он. — Ты радуешься, что вот-вот выскользнешь из этого мрака и ада, но тут обламывается карниз, за который ты держишься. Ты падаешь — но не разбиваешься, а

цепляешься за другой выступ и повторяешь восхождение по другому маршруту, на этот раз среди языков пламени...

Удивительным было не то, что он мог заглянуть в мою память — к этому я давно привык. Удивительным было то, что он пересказывал мои воспоминания в тот самый момент, когда они появлялись — словно дрон, парящий над сумрачными ущельями моего мозга.

— Когда ты наконец поднимаешься наверх, — продолжал Аполло, — выясняется, что тебя ждет поединок с гигантским пауком — и чем дальше в лес, тем толще пауки. Победы в этом мире нет. Победа над одним пауком ведет лишь к встрече с другим. Мало того, оставленные в игре баги не дают тебе полностью погрузиться в происходящее, постоянно принося дополнительную муку — регулярным напоминанием о том, что ты на самом деле даже не сражаешься с пауками, а просто зря теряешь время перед экраном...

— Все так, — ответил я. — Но я вовсе не страдаю, когда играю в консольный шутер. Я большую часть времени получаю удовольствие. Бывают занудные моменты, конечно, но...

— Любая игра — это сглаженное и замаскированное страдание, — сказал Аполло. — Страдание, как бы скрытое под тонким слоем сахара. Неприятные эмоции являются таким же необходимым ингредиентом любой игры, как подъем санок в гору. Удовлетворение, которое испытывает игрок, связано именно с их преодолением... Как ты думаешь, почему стала возможна Великая Частотная Революция?

Я задумался.

— Потому что Leaking Hearts подняли остальных вампиров на свою моральную высоту?

— Нет, — усмехнулся Аполло. — Потому что вампиры получают больше агрегата «М5», месяц продержав человека перед консолью с «Call of Duty», чем выгнав один раз на Курскую битву. Вместо того чтобы отправлять его в настоящий бой, где он умрет на сто процентов, мы прогоняем его через сотню ненастоящих боев, в каждом из которых его ум «Б» умирает условно — скажем, на два процента. Do the math!^[31] Объем выделяющегося страдания увеличивается ровно в два раза.

— Но почему тогда я получаю от этого удовольствие?

— Ты не получаешь удовольствия, когда ты этим занят. Ты испытываешь фрустрацию и тревогу, в лучшем случае равнодушие. Но у тебя остается ложная память об испытанном удовольствии. Точно так же, как с сексом. Мы все его почему-то любим, хотя в нем нет ни одной секунды, которую стоило бы любить, когда она происходит...

И он опять потрепал меня по шее.

Меня нервировала рука на моем плече. Но стряхнуть ее я не решался.

— Я вижу, ты не веришь мне до конца, — сказал Аполло. — Хорошо, скажи — почему у большинства консольных игр отсутствует мгновенный сэйв?

— Почему?

— Да потому, что мы заставляем игрока много раз повторять один и тот же маршрут к контрольной точке. Это делается именно для максимального выделения агрегата «М5».

Я кивнул. Это было похоже на правду.

— А зачем, по-твоему, — продолжал Аполло, — ограничивают время миссии? Заставляют проходить ее за пять минут, и ни секундой больше?

— То же самое? — спросил я.

— То же самое. Чтобы с помощью одной странички кода можно было выдоить игрока досуха не один раз, а двадцать раз подряд. Искусство написания игр состоит именно в том, чтобы объем выделяющегося страдания был максимальным — но человек как можно дольше не бросал контроллер. Это целая наука...

— Да, — прошептал я, — правда...

— А хороший раб всегда пройдет игру на уровне hard.

Я вдруг понял, что вокруг уже совсем светло — просто я забыл про окружающий мир, слушая императора. Теперь этот мир опять ворвался в мое сознание. Над ним уже взошло солнце.

Мы шли по мраморному променаду к увитой цветами беседке над бездной. За оградой беседки была бледно-пепельная скала нежнейшего оттенка, отвесно обрывающаяся в море. Отчего-то мне казалось, что я видел эту скалу прежде... Этот незабываемый цвет...

Справа от нас взмывали к небу красно-коричневые колоннады и арки древнего дворца. На его крыше было тесно от статуй богов и героев. Ослепительно горели в утреннем солнце золотые орлы.

Слева синело далекое море — и острова, еще окутанные кое-где утренним мраком. Мы были очень высоко над морем. У нас уже было утро, а там только кончалась ночь. Казалось, что мы смотрим с вершины античного Олимпа на недавно сотворенный, совсем еще юный мир...

— Что скажешь? — спросил Аполло.

Некоторое время я пытался вспомнить, о чем мы только что говорили. Наконец это удалось.

— Я никогда не играю на уровне hard, — сказал я. — Только в самом легком режиме.

— Правильно, — отозвался Аполло. — Ты же вампир, а не идиот. Если ты понял, как устроены игры, ты уже понял весь инфокорм.

— Инфокорм? — переспросил я. — Что это?

— Informational fodder, — сказал Аполло. — Или просто infodder. Новый тип питательной среды, в которую мы с рождения погружаем человека. Все виды сенсорной стимуляции, в результате которых человеческий ум форсированно вырабатывает агрегат «М5».

— А почему я понял его весь?

— Потому что нет никакой разницы между его составными частями — играми, кино, телевизором, интернетом и всем прочим. Никакой вообще. На любом уровне тебя ждут одни и те же стимуляционные паттерны... Не понимаешь?

Я только вздохнул.

— Мне, честно говоря, неясно, что тут можно не понять, — сказал Аполло. — Тогда спрашивай.

— Инфокорм — это то же самое, что гламуродискурс?

— Вампозкономика говорит сегодня на другом языке, Рама. Ваши идеологи так и остались в прошлом веке со своим гламуром и дискурсом. Привезли из Парижа чужие грязные трусы, подняли на мачту в качестве флага и решили, что навсегда впереди всей планеты... Французы сами уже так не говорят... Они говорят «инфураж». Мы, кстати, пытались привить у вас это слово, думали, русское ухо услышит что-то гусарское, корневое... Которое, между нами говоря — те же самые грязные французские трусы, только очень старые... Но не сработало. Так вы на этом гламуродискурсе и застряли.

Я давно привык к машинальной русофобии прилегающих к нам культур, но все же мне было неприятно, что Аполло так пренебрежительно говорит о вампирах моего Отечества.

— А что еще входит в инфокорм? — спросил я.

— Все, — ответил Аполло. — Любая информация, производимая для людей. Все аспекты Черного Шума.

— А почему вы говорите, что это одно и то же? Ведь кино, например, просто смотришь. А игра... В нее играешь...

— Интерактивность большинства игр ложная. Консольная игра — просто рисованное кино, разбитое на порции. Чтобы новая часть запустилась, надо нажать требуемую комбинацию клавиш с нужной скоростью, и все. Главное — отождествление с героем, который истекает клюквенным соком в борьбе с пауками. Это отождествление одинаково и в фильмах, и в играх.

— А психологические драмы?

— Если кино — психологическая драма, там просто будут психологические пауки.

— Но в кино не так вовлекаешься, как в игру, — сказал я.

— Да, — согласился Аполло. — Мучения кинозрителя не так интенсивны. Но зато умному зрителю особую ни с чем не сравнимую муку приносит понимание того, что все происходящее в фильме является результатом калькуляции.

— В каком смысле?

— Сюжет строится вокруг того, что герой должен преодолевать трудности. Так прописано во всех пособиях по сценарному делу... Герой не потому борется, что у него проблемы — у него проблемы потому, что он должен бороться. Когда умный человек понимает, что фильм, который он смотрит — это просто механическая стимуляция его эмоций световым электродоильником, он испытывает невыразимое страдание от бесчеловечности мира. Кажется, пустяк, а дает огромное количество агрегата «М5». Умных наша культура выдаивает куда сильнее.

— А новости? — спросил я.

— Нет никакой разницы. Допустим, ты устал от фильма и переключил телевизор на новости. И видишь, что валютный курс изменился самым роковым образом, шахтеров завалило в шахте, над их детьми надругались педофилы, а экономическая реформа тем временем украла у всех перечисленных граждан будущее... Хороших новостей не бывает вообще. Ты когда-нибудь думал, о чем сообщает полная сумма информации мировых масс-медиа?

— Это не так просто сформулировать.

— На самом деле просто, — сказал Аполло. — Она сообщает о непостоянстве и страдании. Мир непостоянен — иначе ни в каких новостях не было бы нужды. А непостоянство и страдание — это практически одно и то же. Одно неизбежно ведет к другому. Даже когда страдание замаскировано под удовольствие от того, что сегодня плохо кому-то другому...

— А интернет?

— Интернет — это наше самое перспективное направление. Ты много времени проводишь в сети?

— В общем да, — сказал я. — Хотя сейчас все больше в хамлете... Но бывает.

— Тогда сам должен знать. Человек всегда выходит в сеть с предвкушением, что он сейчас выловит из океана информации нечто

ценное, интересное и нужное. И что происходит через три-четыре часа? Он встает из-за монитора с чувством, что через его душу пронеслось стадо свиней. Причем, я бы сказал, евангелических свиней — в которых перед этим вселились все ближневосточные злые духи. Человек клянется, что больше не будет тратить время на эту помойку. А завтра повторяет тот же опыт.

— Правда, — согласился я. — Но почему это так?

Аполло пожал плечами.

— А как это может быть по-другому? Интернет — просто космос игр, фильмов и новостей. Как бы черное небо, усеянное кинескопами. Человек способен перемещаться от одной звездочки к другой — и каждый раз устремляется к той из них, которая обещает ему максимум удовольствия. Вот и вся психология интернет-серфинга. Человек — это машина, постоянно движущаяся к точке наибольшего наслаждения. Но при этом она вырабатывает не наслаждение, а страдание. Занятый электронной мастурбацией человек очень скоро начинает бегать по своему личному космосу кругами. Он похож на крысу, которая все время надеется получить стимулирующий импульс — но гораздо чаще сжимается от удара током, вспоминая, что у нее нет ни денег, ни перспектив, ни даже времени на этот серфинг. Весь интернет густо усеян напоминающими про это маркерами. Заведение выигрывает всегда. Идеальный информационный корм, Рама, не только абсолютно гомогенен, но и безупречно фрактален...

Я даже не стал спрашивать, что это значит. Я просто прошептал:

— Это бесчеловечно.

— Почему же бесчеловечно, если этой бесчеловечности не замечает ни один человек? Никто не возражает, Рама. Люди, наоборот, покупают себе маленькие переносные доильники, чтобы не отключаться от нас ни на секунду. И платят за это приличные деньги. Они послушно копируют придуманные маркетинговыми паттерны поведения, чтобы им было что снимать своими гаджетами. Люди почти счастливы... Они считают себя свободными, потому что могут сами выбрать маршрут перехода из точки А в точку Б. Хотя на самом деле никакой точки Б нет, а есть только, как говорят у вас сибирские урки, те же яйца при виде сбоку...

Мы дошли до стоящей над обрывом беседки и повернули назад. Теперь море с далекими островами было справа, а вознесенный над миром дворец — слева.

Я вдруг понял, где мы.

Это был дом Тиберия на Капри — Villa Jovis. Я видел реконструкцию в каком-то историческом альбоме, и дворец был на нее довольно похож.

Только в альбоме его стены были снежно-белыми — а здесь темно-красными.

Мы шли по той самой дорожке, где когда-то гулял император... Впрочем, почему «когда-то». Он гулял по ней и теперь.

Уже пели птицы. Дул легкий морской ветерок... Вот только мне не особо нравились эти голые мраморные мальчики между кипарисами. Может, я и не обратил бы на них особого внимания, но в сочетании с рукой императора, поглаживающей мою шею, это немного тревожило.

— То, что мы успели обсудить — лишь крохотная часть новых трендов, Рама, — продолжал Аполло. — Мы на пороге новой гуманной эры. Великая Частотная Революция уничтожит страдание в его грубых формах. Она сведет к минимуму войны. Она снимет с вампиров вековую ответственность за человеческую боль и сделает саму эту боль почти незаметной за музоном, смайликами и хохотком. Мы не можем вывести человека из стойла на свободу, как мечтают некоторые утописты. Но мы можем навязать человечеству золотой сон, полный эротики и эртертейнмента — с легкой, почти незаметной, плавно распределенной фрустрацией. При этом, Рама, у нас будет больше баблоса, чем когда-либо в истории. А люди приблизятся к счастью настолько, насколько это позволяют конструктивные особенности ума «Б». Разве это не великая цель?

Я уже устал от его напора — и понял, что следует согласиться, хотя бы из вежливости. Я кивнул. Аполло уставился на меня долгим немигающим взглядом — в котором, как мне показалось, промелькнуло сомнение.

— Тебе, вероятно, сложно представить в полном объеме, о чем я говорю, — сказал он утешительно. — Ничего. Понимание придет постепенно. Я приглашаю тебя, Рама Второй, занять место рядом со мной в этом великом проекте. Будь одним из нас. Ты уже стал undead. Теперь тебе следует войти в число Leaking Hearts.

— А что это значит на практике?

— Ты приехал из дикой северной страны, которая управляется так, словно не было последних трехсот лет прогресса. Вы до сих пор собираете агрегат «М5» на пиковых уровнях человеческого страдания. Это варварство. Космос стонет от вашей боли. Мы не вмешиваемся без крайней необходимости в дела суверенных... Как это по-русски... batdoms. Но и терпеть подобное долго мы не в силах. Даже у людей есть некоторые права. Глядя на то, что творится в России, я сам начинаю выделять агрегат «М5»...

Я догадался, что император хочет ободрить меня шуткой.

— Мне нужны помощники, Рама. Мне нужен кто-то, кто будет координировать Великую Частотную Революцию в России...

Мне показалось, что мое сердце стало биться чуть сильнее. Мне совсем не нравилось, куда сворачивает разговор.

— Я понимаю твою дилемму, мой мальчик, — продолжал Аполло, внимательно на меня глядя. — Но я вовсе не призываю тебя изменить своему Отечеству. Я, наоборот, хочу, чтобы ты помог ему стать лучше. Постепенно. Сбалансированно. Продуманно.

— А что нужно будет делать?

— Мы должны скорректировать структуру вашего ума «Б». Следует привести его параметры в строгое соответствие со стандартом цивилизованного мира. Если коротко, от вынужденных колебаний мы должны перейти к свободным, изменив состав ума «Б» так, чтобы сделать частоту и амплитуду осцилляций максимально возможными. Мы упраздняем все низкопроизводительные паттерны и оставляем в сознании только унифицированные процессы, которые обеспечивают максимальный выход агрегата «М5». Такова главная цель Великой Частотной Революции — если угодно, наш Call of Duty. Если мы не сделаем этого сами, невидимая рука Великого Вампира начнет выкручивать нам яйца. This is vamproeconomics, my boy^[32]. Прогресс неостановим...

Была, наверно, какая-то фрейдистская подоплека в том, что Аполло так часто вспоминал про яйца.

— Когда ты согласишься, — продолжал Аполло, — я объясню тебе, что надо делать и как.

Я обратил внимание на это «когда». «Когда», а не «если».

— Но когда я... Если я соглашусь, — прошептал я, — про это сразу узнают... У нас...

— Никто не узнает, о чем ты говорил с бэтманом, — сказал Аполло, глядя мою шею. — Ни Энлиль, ни даже ваша Иштар. Если, конечно, ты не расскажешь сам. Они при всем желании не смогут ничего увидеть... Это слишком высокий для них забор.

Он покосился на статую голого мальчика с флейтой — и мне показалось, что его рука стала нагреваться как электрочайник.

Через мою голову за миг пронеслись сотни противоречивых мыслей — и результатом их сложения был только вязкий серый страх. Я не знал, что ответить императору. И что делать, тоже. Совсем не знал. А молчать дальше было не просто неучтиво, это граничило с оскорблением величества.

Я не нашел ничего лучше, чем аккуратно вынырнуть из-под его руки.

Аполло сморщился, словно у него вдруг заболел зуб.

Это была очень неловкая секунда, очень.

Но вселенная пришла мне на помощь.

Я услышал зуммер. Было непонятно, откуда он доносится — я только понял, что его источник где-то близко. Это был звонок телефона или рации, сдвоенное «би-би» низкого тембра.

Звук произвел на императора — и на всю вселенную — совершенно поразительное действие.

Императорский променад, по которому мы только что шли, пожух и свернулся, причем я даже не понял, куда и как — словно за долю секунды прошли две тысячи лет. Исчезли золотые орлы, сгнули порочные мраморные дети. Аполло тоже исчез.

А потом я увидел его перевернутое лицо, висящее напротив меня в воздухе. Оно было озабоченным и серьезным.

— Извини, Рама, — сказала лицо. — Важные дела, приходится разрываться. Мы с тобой не договорили, О'кей? Поболтайся пока с Софи, она тебя ждала... Только не особенно слушай, что она будет про меня плести...

Металлическое стремя, на котором я висел все это время, втянулось назад в лифт, а затем перед моим лицом опустилась дверная панель, отрезав меня от зала с императором.

Воздух в черной коробке был упоительно свеж. Хотелось одновременно спать и смеяться. Я подумал, что похож на черный пиджак, висящий в шкафу, и эта мысль рассмешила меня до слез. Без растворенной в воздухе химии такое вряд ли было возможно.

Слезать со штанги не хотелось.

Но это, похоже, было неизбежно — лифт остановился, и его дверь поехала вверх.



American Dream

Мечтая о новой встрече с Софи, я много раз представлял, как это будет.

Иногда мне казалось, что мы пересечемся в каком-нибудь невероятно крутом нью-йоркском клубе для наших. Она будет во всем черном, а я... Тоже буду в черном. И будет играть «The Suckumb», единственная полностью состоящая из вампиров группа, музыка которой не предназначена для человеческих ушей (про них мне постоянно рассказывал Эз, но я так и не удосужился их послушать, полагая свои уши все еще слишком человеческими).

Иногда я думал, что она опять пришлет мне письмо-препарат, и мы, как и полагается двум undead, встретимся в лимбо (невозможно сосчитать, сколько раз я проклинал себя за то, что при первой встрече не удосужился попросить хоть капельку ее красной жидкости). Она, как всегда, начнет ворчать — а я буду рад и эрзацу.

Иногда я думал, что она приедет ко мне в гости. Мы пойдем в «Haute SOS», и я закажу ей тирамису...

Но я совершенно не ожидал, что при встрече она даже на меня не посмотрит. И не скажет ни слова.

Она совсем не изменилась. У нее была все та же ультракороткая стрижка, заставляющая предполагать в женщине уже не столько лесбиянку, сколько монахиню. Ее свисающие вниз руки были сложены в самую простую хамлет-мудру — свободный замок с сомкнутыми большими пальцами. И еще на ней не было одежды.

Впрочем, последнее не означало, что она рада меня видеть. Это означало только, что она собралась провисеть вниз головой очень долго — и сняла всю одежду, чтобы не мешать кровообращению. Я сам так делал, потому что за сутки или двое какая-нибудь незаметная резинка может превратиться в источник изрядной муки. Судя по легкой синеве на ее лице, она висела вниз головой уже не меньше трех дней. Человека такое запросто могло бы убить.

Мне стоило большого усилия отвести от нее глаза.

Место, где она жила, понравилось мне с первого взгляда. Тут не было никакой вампорокоши в пошлом рублевском смысле. Все было просто, разумно, минималистично — и стильно.

Во-первых, здесь не было хамлета. Вместо него от одной стены к

другой был протянут сверкающий никелем турник, прикрепленный к потолку стальными тросами. Рядом с ним стояла простая алюминиевая стремянка. А весь центр комнаты занимал круглый диван со множеством подушек — куда можно было в любую секунду мягко и безопасно сорваться с перекладины... Мне даже в голову не пришло устроить у себя дома нечто подобное: я по привычке пользовался доставшимся мне по наследству неудобным механизмом со страховочными подушками. Вот что значит не подвергать сомнению традиции...

Потом я заметил лежащие на одной из подушек черные трусики — и стоически отвернулся.

Комната была светлой и веселой, со множеством ярких пятен. В ее стенах было несколько разноцветных дверей. Все внутри выглядело простым и недорогим, икеисто-демократичным, словно это было одно из помещений студенческого общежития (я подумал, что русские вампиры, наверное, так никогда и не поймут, в чем заключаются настоящие понты). На столе стоял раритетный белый макбук, а над ним висела пробковая доска, покрытая приколотыми бумажками...

На стенах, естественно, были радикально-непримиримые плакаты с подковыркой, которые так любит буржуазная детвора всего мира — вроде костра с горящей на нем ведьмой и подписью:

!FREE MADONNA!

Один из плакатов, русскоязычный, озадачил меня всерьез. На нем была последовательность фотографий из русского «Форбса» — со свечкой под каждым фото. Текст гласил:

ОСТАНОВИТЬ ПЛУТОЦИД!

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ МИРСКИХ СВИНОК

Непонятно, кто в России мог изготовить такое. Кроме разве что меня. А я этого не делал точно. Видимо, все общество — если оно существовало — состояло из одной Софи. Девочка готовилась к моему приезду...

Я был тронут почти до слез.

Но самым поразительным, конечно, был объект вампо-арта, висящий

на стене. Это был пародийный гобелен, изображающий коридор Хартланда: тряпичная стена с плюшевыми окошками, из которых торчали сушеные головы (не настоящие, конечно, а матерчатые) — Стива Джобса, Далай Ламы, Гитлера, какой-то блондинистой американской актрисы, чье имя я все время забывал, и... да, бэтмана Аполло XIII.

Из головы императора, вытканной с особым сатирическим задором, торчало множество булавок с разноцветными пластмассовыми шишечками на конце. Пара булавок с мстительной аккуратностью была воткнута ему в глаза. А на стене под ним было размашисто написано зеленым маркером:

FUCK APPALLO

Именно так, через «а» — наверно, от «appalling»^[33].

Рядом с головой бэтмана была еще одна — мужская, с черными волосами и бледным правильным лицом. Симпатичная, изготовленная безо всякого сарказма... Я вдруг понял, что это я сам. Даже маленькая родинка над моей правой бровью была на месте. И ни одной кнопки в меня воткнуто не было. Зато на плюшевой окантовке окна, из которого торчала моя тряпичная голова, было вышито красное сердечко с черной звездой внутри — такое же, как на плече у Софи, только совсем маленькое... Когда я рассмотрел его, мне показалось, что кто-то скормил моему сердцу кусочек шоколада.

Я подошел к Софи, склонился к ее почти касающейся подушек голове и поцеловал холодные неподвижные губы.

Я мог бы догадаться, что она выкинет. И все равно это стало для меня неожиданностью. Она открыла глаза — быстро и широко — и схватила меня за шею.

— Ты снова потревожил мой сон, — прошипела она. — Прошлый раз я отпустила тебя живым, но сейчас ты не уйдешь!

И хоть я знал, что она шутит, испугаться я все равно успел.

Мы поцеловались, а потом она...

Сказать «соскользнула в мои руки» было бы галантно, но не вполне точно. На самом деле она повалилась на меня с высоты и сильно ушибла коленом мою ногу, используя меня как дополнительный набор подушек. Но в этом наивном эгоизме было что-то настолько женское и вампирическое одновременно, что я даже не обратил внимания на боль. Тем более что другие женщины-вампиры в похожей ситуации причиняли моему здоровью куда больший вред.

Следующие несколько часов я по обыкновению опушу. Тем более что вряд ли сообщу нечто интересное: физически все происходит у нас как у людей. Только наши чувства куда интенсивнее среднестатистических, и длится все намного дольше. И еще мы нежнее и предупредительнее друг к другу.

Говорят, это результат наложения двух факторов — измененной химии мозга и фундаментального недоверия к партнеру, делающего все-таки наступающую близость куда более головокружительным путешествием. Если, допустим, человеческая любовь — это прыжок с парашютом, то любовь двух вампиров — прыжок из стратосферы, во время которого не до конца ясно, есть ли парашют вообще.

У нас он раскрылся целых три раза. Для вампиров это много.

Потом мы долго молчали. Я не думал вообще ни о чем — и мне это нравилось.

— Ты дурак, что приехал, — сказала она.

— Ты не хотела меня видеть?

— Я очень хотела тебя видеть. Но ты дурак. Отсюда не так просто уехать. Аполло превращает визитеров в свои игрушки.

— И тебя тоже? — спросил я.

Она как-то неопределенно дернула плечами.

— Он тебе говорил про освобождение человечества?

— Говорил, — ответил я.

— Он про это долго может, — усмехнулась она. — Очень любит. Старожилы говорят, сто лет назад «Интернационал» обожал петь. Бархатным баритоном...

Я поглядел на тряпичную голову императора. Разноцветные головки булавок казались облепившими его лицо насекомыми.

— Как-то ты его не слишком... Или, наоборот, слишком уж... Вполне себе клевый дядька. Только педик, по-моему.

Софи засмеялась — горько и безнадежно.

— Слушай, — сказал я. — Он так маскируется... Я даже его шею не увидел. Она у него длинная?

— Шею ему меняют, — сказала Софи. — Каждые сто лет, когда она в тулово уходит. Специально ее выращивают в трюме.

— Из чего? — спросил я.

— Это какой-то древний змей, — сказала Софи. — Реальное хтоническое существо. Он думает, что он самый главный в космосе. Его держат в хомутах, под капельницей с убийными психотропами и не спорят с ним ни по одному вопросу. Не мешают властвовать над вселенной. А

раз в сто лет делают ему усечение головы. Я один раз видела съемку — жуть. Голова у него как у льва, а тело — как у змеи. За сто лет отрастает новая шея нужной длины, и все повторяется...

— А саму голову правда никогда не меняют?

— Головы меняют только у вас, — сказала она. — Ну и в остальных великомышествах. Причем, если где-то этого долго не делают, Аполло начинает нервничать. И старается включить ветер перемен.

— Каждый век новая шея, — повторил я задумчиво. — Сколько же ему лет тогда?

— Никто не знает. Очень много. Если этот вопрос вообще имеет смысл. И еще Аполло все время должен оставаться в море.

— Почему?

— Чтобы не подействовало древнее Проклятие Земли, падающее на вампиров, пытающихся жить вечно. Его отторгает земля. Зато он пустил корни в воду. Типа как водоросль. Время от времени приходится их обрубать, потому что корабль теряет скорость. Еще ходят слухи, что Великая Мышь, на которой он живет, постоянно пытается обрасти другими головами — и ему приходится усекать ростки новых шей. В общем, проблем у него хватает.

— А ты хорошо его знаешь?

— Насколько его можно знать, Рама. Он непрозрачен. Но я подозреваю, что его цель — вечно существовать, перекладывая свойственное этому процессу страдание на других. Клубиться, так сказать, все дальше в будущее. И ему нужно моральное оправдание. Или что-то в этом роде.

— Странно, — ответил я, — мне показалось, он нормальный штрих. Левый и прогрессивный. Такой cultural marxist.

Софи мрачно усмехнулась.

— Левый? Прогрессивный? Рама, приди в себя! Он не левый и не правый. Он постоянно выясняет, не появилось ли в мире нового светлого учения. Какой-нибудь возвышенной надежды для человечества, пусть даже фальшивой. Он старается ее найти, как только она рождается. И сразу превращает в свою новую маску, и правит из-под нее миром. А когда обман становится виден, находит новую. И так уже много веков. Все озарения и взлеты человеческой истории — это просто его личины.

— Ты, похоже, не очень его боишься, — сказал я.

— Аполло все разрешает, в том числе и борьбу с собой. Он и разнюхаться с тобой может, и про Occupy Universe поговорить. Не сомневайся... Он либерал. Но это тоже маска.

На ее щеке появилась тонкая блестящая полоска от скатившейся слезы. Видимо, этим рассказом она разбредила все свои болячки. Надо было срочно ее успокоить. Или хотя бы попытаться.

— Слушай, — сказал я, — но ведь это в любом случае здорово!

— Что?

— То, что император — один из Leaking Hearts. Один из...

Я чуть было не сказал «нас» — но вовремя вспомнил, что у меня нет для этого оснований.

— Он за людей, — продолжал я. — Он хочет облегчить их боль. И даже сделать их счастливыми!

Софи грустно поглядела на меня.

— Ты так ничего и не понял, Рама, — сказала она. — Ничего вообще. Он вовсе не хочет помочь людям. Он хочет сдирать с них не три шкуры, а тридцать три. И для этого постоянно держать их под наркозом. Он хочет постоянно доить их даже в туалете и лифте с помощью этих гаджетов, которые вдобавок надо менять каждые две недели. Мало того, он изучает все формы, в которых может возникнуть сопротивление существующему порядку, и превращает их в филиалы своего бизнеса. Поэтому вместо осмысленной борьбы у людей остались только эти пошлые уличные карнавалы, сливающие их гнев в канализацию...

— Но мне показалось... Мне показалось, что он говорил много разумного. То, что он предлагает, не так уж плохо. По сравнению с тем, что было лет сто назад.

— Во-первых, сто лет назад это тоже был он, просто под другой маской. А во-вторых... Он не настоящий Leaking Heart. Он подменил самое главное. Он хочет выдаивать человеческий ум «Б» гораздо сильнее, чем раньше — до предела. А настоящие Leaking Hearts мечтают его упразднить.

— Что? — изумился я. — Ты шутишь?

Она отрицательно покачала головой.

— Но ведь человек превратится в скота. Он не будет понимать слов.

— Почему, — сказала она. — Упразднить не значит уничтожить. Именно упразднить, то есть сделать праздным. Убрать саморефлексию. Сделать так, чтобы в уме «Б» не отражался сам ум «Б». Человек будет понимать слова — если захочет. Но они станут ему не нужны.

— А про что он будет думать?

— Он не будет думать, — сказала Софи. — Он вообще забудет про добро и зло. Он будет беспечно изменяться вместе с мирозданием из мига в миг. Мы вернем... Мы называем это «indigenous mind»^[34]. Сделаем ум таким, каким он был до превращения в фабрику боли.

— Разве это возможно?

Она кивнула.

— На короткое время да. Мы даже эксперименты ставили. У вас в Сибири.

— На людях?

— На добровольцах, — сказала она. — Я тебе покажу.

Она встала с дивана и села за свой белый макбук.

— Тут съемка контрольных опытов. Смотри.

Я подошел к ней и склонился над ее плечом.

Сначала на экране мелькнуло сердце со звездой, потом какая-то таблица с номерами и датами. Затем я увидел деревенскую завалинку.

Под серыми бревнами сидел странный мужик в веселой синей рубашке. Он казался ряженым из-за чисто отмытой пушистой бороды — и еще потому, что его лицо излучало спокойную и безмятежную радость, не очень уместную на фоне этой ветхой деревянной стены.

Верхнюю часть изображения закрыло окошко с технической информацией — там были цифры, какие-то графы и длинная полоска-индикатор, помеченная буквами «М5».

Перед объективом щелкнула плашка, и слева от сидящего на завалинке возник еще один человек.

Он был гол по пояс, крайне худ и весь растатуирован церковными куполами — на его груди был целый собор. На его пальцах были наколоты синие кольца. И даже на его босых ногах темнели татуировки — оскаленные морды хищных кошек. Лицо его было старым и безобразным. Это был, судя по всему, состарившийся в тюрьме мазурик.

Повернувшись к мужику на завалинке, он растопырил пальцы и громко сказал:

— Ты — пидарас! Пидрила опущенный. При всех тебе предъявляю, сука, чтоб с базара потом не съехал...

Я увидел, как индикатор с буквами «М5» на секунду мигнул оранжевым — и тут же снова погас. Мужик даже не посмотрел на своего ругателя. Он все так же удивленно и радостно глядел в пространство перед собой.

Перед камерой снова щелкнула плашка в шашечках. Мужик в синей рубашке остался на прежнем месте. А вместо мазурика на экране появился нацистский офицер — кажется, в форме люфтваффе, — со стеклом в руке и какими-то бриллиантовыми орденами на мундире.

— Отвратительное нутро крестьянских изб, — проговорил он, сильно грассируя, — где люди вместе со скотом ютятся без всяких перемен

сотнями, если не тысячами лет, заставляет задуматься, где на самом деле проходит географическая граница Европы... Возможно, мы прежде отодвигали ее слишком далеко на восток...

Оранжевый индикатор опять мигнул и погас. Мужик в синей рубашке глянул на офицера — и сразу потерял к нему интерес.

Плашка в шашечках щелкнула снова.

Теперь на экране рядом с завалинкой стоял приличного вида бородатый господин в белом плаще.

— Ви-хри враждебные ве-ют над на-ми, — запел он приятным, но немного вкрадчивым баритоном, — темные си-и-лы нас зло-о-бно гнетут...

Индикатор с буквами «М5» снова ожил — в левой его части появился на миг крохотный оранжевый штришок. И тут же погас снова. На лице бородача играла все та же безмятежная улыбка — он, казалось, с огромным интересом изучал какие-то пылинки в воздухе перед собой.

— Хватит, — сказал я. — И что? Это и есть продукт ваших опытов? Да у нас полстраны таких. Им, наоборот, ум «Б» включить надо, чтобы они шевелиться начали. А то стакан накатят с утра и вот так сидят... Я-то думал...

— Ты не понимаешь, — сказала Софи. — Это совсем не то же самое. Это... Это indigenous mind! Ум до языка! Таким человек был до вампиров. До нас, Рама. Тут дело не в том, как это выглядит, а в том, как это переживается изнутри.

Я поглядел на мужика, который все так же удивленно и радостно вглядывался в воздух перед собой.

— Ум «Б» у него полностью отключен?

— Технически говоря, нет, — ответила Софи. — На индикаторе есть оранжевая искра. Но ум «Б» отключен от контуров производства агрегата «М5». Минимизирован. В этом режиме ум «Б» оценивает полученную вербальную информацию, присваивает ей статус мусора и самоглушится, не впадая в рефлексию. Поскольку практически вся вербальная информация является мусором, ум «Б» можно считать заглушенным.

— И как это переживается?

— Это откровение. Когда твой ум совсем спокоен и безмятежен, ты... Ты как бы замечаешь самый простой и очевидный слой мира. Который всегда есть, но скрыт под заботами, постоянно кипящими в голове. Обычные люди эту очевидность даже не замечают — она для них существует только в качестве фона.

— Фона для чего?

— Для забот. Заботы у человеческой головы есть всегда. Нас постоянно тревожит непонятно что, и каждую секунду это непонятно что кажется очень важным. Мы постоянно стараемся не упустить его из виду, чтобы держать все под контролем, хотя то, что мы пытаемся держать под контролем, все время превращается во что-то другое...

— Я понял, — сказал я. — Ум «Б». Я не понял, что это за самый простой слой мира, который он скрывает?

— Вот ты смотришь на небо. И видишь, что оно синее, а облака белые. И ты абсолютно точно знаешь без всяких слов: смысл твоей жизни в том, чтобы в эту секунду быть свидетелем синего и белого. Ты уже нашел себя настоящего. Тебе не надо искать ничего другого... Это почти то же самое, что мы чувствуем, когда принимаем баблос. Но во время Красной Церемонии мы оглушены только что кончившимися мучениями. Поэтому это восприятие искажено. А потом оно сразу кончается.

— Ты серьезно?

Она кивнула.

— Это и есть главный секрет, который открыл Дракула — и спрятали вампиры. Спрятали сами от себя, чтобы не разрушать установленный в мире порядок. Когда мы принимаем баблос, главное, что с нами происходит — это полная остановка ума «Б». Правда, еще выбрасываются нейротрансмиттеры, но главное не в них. Главное в этой остановке ума «Б». Leaking Hearts хотели освободить и людей и вампиров. Но тогда исчезала всякая необходимость в баблосе... Для Аполло такое неприемлемо. Что угодно, но не это. Потому что зачем тогда он? Зачем тогда весь установленный им порядок?

— И что, любой человек... Любой лох может пропереться, как один из нас?

— Может, — сказала Софи. — Мало того. Вампир тоже может обойтись без баблоса. Достаточно остановить этот мотор боли.

— Но ведь это, — я перешел на шепот, — это Тайный Черный Путь?

— Тайный Черный Путь — для вампиров-одиночек, — ответила Софи. — А Leaking Hearts ищут способ подарить эту свободу всем людям. Но это невероятно сложно. Никто не знает, как сделать эффект стабильным. У меня почти опускаются руки...

И Софи грустно вздохнула. Я опять увидел появившуюся в уголке ее глаза слезинку.

— Но в чем смысл? — спросил я. — Что, так всю жизнь глядеть на небо и облака? У нас этого мужичонку, — я кивнул на экран, — со времен Петра Первого пытаются одеть во что-нибудь европейское. И сбрызнуть ему

бороду...

— Знаю, — сказала Софи. — Колониальная эксплуатация, Рама. Западный образ жизни требует от человека чудовищного количества игры. Каждый день, каждый миг. Западная культура построена на одной тайной аксиоме — что жизнь, протекающая в визуально привлекательных формах, уже в силу этого является приемлемой. Аполло воспитал целые поколения доноров, реагирующих не на реальность жизни, а на картинку этой реальности. Для кинозрителя нет разницы между «быть» и «выглядеть». Ты становишься генератором визуальных образов, которые в идеале должны вызывать чужую зависть. Ты все время занят перформансом, который должен убедить других и тебя самого, что ты успешен и счастлив. Ты всю жизнь работаешь источающим боль манекеном, сравнивающим себя с отражением других восковых персон... Если интересно, посмотри на посмертную маску вашего Петра. Многое поймешь.

— Но даже если так, — сказал я, — даже если ты просто работаешь манекеном в красивой витрине, это не так уж плохо. Все же лучше, чем пугалом в огороде...

— Кому лучше? Уму «Б»?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — ответил я. — И все-таки...

— Ты сейчас думаешь умом «Б», как обычный человек, Рама. Самые счастливые создания в мире — это обезьяны бонобо. А с точки зрения внешнего наблюдателя они заняты только тем, что ищут друг у друга в шерсти, трахаются и смердят. Если коротко описать суть эволюции, мы отобрали у людей простое обезьянье счастье и заставили страдать по поводу так называемого успеха и красоты, образы которых они должны ежеминутно проецировать вовне. С точки зрения современной культуры все те, кто не вписался в ее видеошаблон, должны быть глубоко несчастны. И они действительно становятся несчастными, потому что человек — очень послушный зверек. Этой отвратительной дрессировке подвергаются сегодня все люди без исключения. Ты правда считаешь, что Аполло гуманист?

Я пожал плечами.

— Мне показалось, что да.

— Хорошо, — сказала Софи и положила пальцы на трэкпэд. — Я тебе еще кое-что покажу... Мы провели одно интересное исследование. Решили посмотреть, какие события в разных культурах дают одинаковое количество агрегата «М5». Выделить, так сказать, производственные эквиваленты...

На экране запустился ролик, похожий на те, что мы только что видели

— со множеством разноцветных индикаторов и цифр, наложенных на видеоряд. Но теперь на разделенном надвое экране одновременно разворачивалось два сюжета.

Справа шла дикая драка. Дрались люди в серой тюремной униформе. У них в руках были железные прутья — и еще миски, которыми они защищались от ударов.

Слева медленно брел по пешеходному переходу (кажется, в центре Нью-Йорка) уса́тый мужчина в темно-синем бушлате, с седой гривой падающих на плечи волос. Он остановился, поднял глаза и обвел печальным взглядом уходящие к небу зиггураты. Потом вздохнул, опустил голову и побрел дальше.

Полоски с буквами «М5» над обеими картинками были почти целиком заполнены дрожащим оранжевым светом — и вели себя очень похоже, словно индикаторы одной стереосистемы.

— Что это? — спросил я.

— Справа — драка за еду в русской колонии строгого режима ФБУ ИК-11, — сказала Софи. — А слева — последняя прогулка по Манхэттену нью-йоркского график-дизайнера Аарона Кошевого, вынужденного усыпить суку Дуню и переехать в Бронкс из-за роста арендной платы. Первое событие — групповое и продолжительное. Второе — даже и не событие, просто интенсивное душевное переживание одного человека. Общий выход агрегата «М5» примерно равен... Или вот...

Я увидел новый клип.

В правой половине экрана синело море. На волнах покачивалась нелепо и пестро покрашенная деревянная лодка, похожая на плавучий курятник. Над ее бортом блестели автоматные стволы. Видно было несколько черных голов. Вдруг от бортов во все стороны полетели щепки, вздыбились столбы воды — и лодку затянуло клубами черного дыма. Потом ударил новый залп, и все скрылось за стеной острых белых брызг...

Левая часть экрана показывала голого по пояс человека средних лет, бреющегося перед зеркалом. У него было заметное брюшко, тонкие бледные руки, а в лице просвечивало что-то ненатуральное и мертвое, словно оно было сделано из воска. Человек посмотрел на свое отражение, сморщился, сощурил полные тоски глаза и повел бритвой в сторону. На его щеке появилась расплывающаяся красная полоска.

— Справа — расстрел двенадцати сомалийских пиратов на барже «Алута», — сказала Софи. — Слева — основатель международных курсов омолаживания Элдер А. Заклинг понимает во время утреннего бритья, что уже не молод. То же самое, одинаковый выход агрегата «М5».

— Правильно, — сказал я. — Аполло про это говорил. Что можно гуманным образом собирать больше баблоса, чем негуманным. Великая Частотная Революция...

— Рама, агрегат «М5» — это страдание. Что значит «гуманный»? Который дает приличную картинку на экране? Без говна и крови? Это не гуманизм, Рама. Это умение заметать следы... В нем с Аполло не сравнится никто. Никого в мире вампиры не эксплуатируют так безжалостно и жестоко, как жителей Запада. Мы просто покорные дрессированные зомби, бездумно жрущие с утра до вечера свой мусорный инфокорм.

— Брось, — ответил я. — Ты просто в России не жила.

— Ты не понимаешь, о чем я, — сказала Софи. — Как ты думаешь, сколько часов в сутки средний житель Запада вырабатывает баблос?

— Не знаю, — сказал я. — Восемь? Двенадцать?

— Сорок.

— В сутках двадцать четыре часа, Софи!

Софи вздохнула и улыбнулась, словно ее умиляла моя простота.

— Ты слышал про American Dream?

Я кивнул.

— Что это по-твоему такое?

Я должен был это знать. Информация содержалась в каком-то общеобразовательном препарате. И вдобавок я недавно читал статью... Но все вылетело из головы.

— Ну, American Dream это... Дом, семья из четырех человек и два автомобиля?

Софи отрицательно покачала головой.

Я напряг память.

— А-а, вспомнил. Work hard and play by the rules...^[35] И тогда ты будешь прилично жить, а у твоих детей будет шанс устроиться еще лучше... Да?

Софи показала мне кулак с оттопыренным вверх большим пальцем, а потом повернула его вниз.

Я сосредоточился еще сильнее — опозориться с такой простой темой не хотелось.

— Нет, там еще что-то было, подожди... Новое... Мол, теперь надо еще регулярно апгрейдить себя до нового уровня. Все время приобретать требуемые рынком навыки. И при этом играть по правилам... Теперь правильно?

Софи только усмехнулась.

— Черный Занавес, Рама. То, про что ты говоришь — это

информационный омоним. Маскировка. Существо класса undead имеет право знать правду.

— Хорошо, — ответил я, — скажи мне правду.

— И вампирам, и людям хорошо известно, что по ночам мы видим сны. Большую часть мы не помним. Запоминаются только крохотные осколки, за которые успевает зацепиться пробуждающееся сознание. Вампиры много веков думали, как использовать человеческие сны в своих целях. American Dream — это последняя, самая эффективная технология, разработанная американскими вампирами под личным руководством He or She.

— В чем она заключается? — спросил я.

— Каждую ночь человеку снится сон, которого он совсем не помнит. Управляемый сон. Только управляет им не сам спящий, а внешняя сила. В реальности этот сон продолжается всего пять или семь минут и скрыт среди других снов, поэтому засечь точное время, когда он снится, невозможно. Но в субъективном времени он занимает около шестнадцати часов. Это максимальная длительность, после которой ум «Б» может восстановиться перед новым рабочим днем. И все эти шестнадцать часов человека возят мордой по битому стеклу...

— Что, на самом деле?

— Нет, — сказала Софи, — это в переносном смысле. Не по стеклу, а по его социальным и личным комплексам, по всему, как у вас говорят, гламуру и дискурсу. Человек в этом сне шестнадцать часов подряд страдает от несоответствия образам красоты и успеха, от своей тщеты и нищеты. А потом он просыпается и ничего не помнит.

— Совсем?

Она кивнула.

— Но так не может быть, — сказал я. — Кто-нибудь обязательно вспомнил бы. Под гипнозом. Или у психоаналитика на кушетке...

— Ты опять не понимаешь, — сказала Софи. — American Dream ничем не отличается от того, что происходит в человеческом уме день за днем. Мы не можем его вспомнить по той простой причине, что нам ни на секунду не дают его забыть... Поэтому его и нельзя обнаружить в памяти утром, как бывает с другими снами. Просто людям кажется, что они думали о своих проблемах даже во сне...

— Его видят только американцы?

— Теперь все. В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году вампиры заключили всемирное соглашение и перевели на American Dream всю планету. Его конкретное содержание обусловлено национальной

идентичностью, и в разных культурах у него разная эффективность. Какого-нибудь амазонского индейца, я подозреваю, вообще не пробивает на агрегат «М5». Но в целом American Dream дает вампирам почти четверть всего баблоса.

— Вампиры тоже его видят?

— Тоже, Рама. Ум «Б» у нас точно такой же, как у людей...

Я задумался.

— Это я не за American Dream плату привез?

— Нет, — сказала Софи. — American Dream транслируется бесплатно.

Раньше было соглашение о разделе продукции, но теперь его отменили. Ты привез баблос за календарь.

— За календарь?

— Ты и про Ацтланский Календарь не знаешь? — удивилась Софи.

— Знаю, почему, — сказал я с достоинством. — Я только не знал, что за него надо платить. Зачем это? Ведь будущее уже известно.

— Оно известно одному Аполло, — ответила Софи. — Он открывает его только на несколько лет вперед. И только после уплаты дани. Это одна из опор его власти. Календарь нужен всем. Иначе великие вампиры просто не знали бы, куда гнать свои стада. Когда ты полетишь назад, тебе дадут конверт с предсказанием. Раньше, во всяком случае, было именно так...

Вдруг в комнате заиграла музыка — нежная мелодия из трех повторяющихся нот. Сначала я решил, что это «Blackberry» в режиме будильника. Но звук был слишком громким. А потом матовая белая стена превратилась в огромный экран, и я увидел пульсирующее красное сердце с черной звездой в центре.

— Аполло зовет, — вздохнула Софи. — Мне надо идти.

Она принялась быстро одеваться.

Меня очаровало ее маленькое черное платье — такое, я считаю, обязательно должно быть у каждой красивой женщины. Ажурные черные чулки, которые она натянула вслед за ним, понравились мне значительно меньше — в них было уже что-то вульгарное.

Потом она исчезла за одной из дверей — и через минуту вынырнула с алым овалом вместо рта. Я в жизни не видел губной помады ярче — она, кажется, даже флюоресцировала. Мало того, с плеча Софи теперь свисала на золотой цепочке сумочка из черной крокодиловой кожи. Поглядев на меня, Софи сложила губы сердечком, оставив между ними маленькую черную дырочку — и я узнал эмблему Leaking Hearts с ее плеча. То, до чего ее сократила жизнь и судьба... И все, что я думал о вульгарности ее наряда, вдруг смыло волной жалости.

Софи отвела от меня глаза и кивнула на перекладину над диваном.

— Повиси пока, — сказала она. — Я постараюсь быстро...

— А где здесь выход? — спросил я. — На всякий случай?

— Здесь нет выхода. Лифт без кнопок — он сам знает, куда тебя везти... Аполло осторожен, Рама. К нему может приблизиться только тот, кого он ждет...

Часть стены поднялась вверх, и Софи скрылась в коробке лифта.

Я решил послушаться ее совета. Пользоваться стремянкой было непривычно, но удобно. Оказавшись над серединой дивана, я свесился с перекладины и закрыл глаза.

В собственном хамлете мне хватало нескольких секунд, максимум минуты, чтобы впасть в сладкое оцепенение. Но сейчас покой и равнодушие никак не приходили. Может быть, дело было в жутковатом магнетизме императорского корабля, в тревожном психическом фоне, от которого я все время пытался отвлечься — и не мог.

Кем Софи приходится императору? И почему живет с ним на одном корабле? И почему, почему я опять забыл ее об этом спросить?

У меня из головы никак не шел ее наряд. Ничто так не подчеркивает женскую красоту, как униформа недорогой проститутки — просто потому, что подразумевает немедленную и легкую доступность. Хотя подразумевание это может быть совершенно ложным — и чаще всего является провокацией.

Женщина будущего — это одетая шлюхой феминистка под защитой карательного аппарата, состоящего из сексуально репрессированных мужчин... Только дело тут не в женских происках, думал я, засыпая. Женщина ни в чем не виновата. Разгул феминизма, педоистерии и борьбы с харассментом в постхристианских странах — на самом деле просто способ возродить сексуальную репрессию, всегда лежавшую в основе этих культур. Как заставить термитов строить готические муравейники, соблюдая стерильную чистоту в местах общего пользования? Только целенаправленным подавлением либидо, его перенаправлением в неестественное русло. Поворотом, так сказать, великой реки. А поскольку христианская церковь перестала выполнять эту функцию, северным народам приходится обеспечивать нужный уровень половой репрессии с помощью своего исторического ноу-хау — тотального лицемерия. Сплошной агрегат «М5», Аполло будет просто счастлив...

— Рама, очнись!

Долгая мысль о женщинах и термитах никак не давала мне проснуться — она словно приклеила меня к вязкому и глубокому сну, который я не мог

стряхнуть. Наконец это удалось.

И тогда я понял, что спал очень долго.

Это было ясно по тяжести, свинцом залившей все мое тело. Такое бывало только после нескольких суток в хамлете. Сон, который мне снился, не оставил о себе никакой памяти — а одну усталость. Уж не был ли это тот самый American Dream?

— Рама, ты проснешься когда-нибудь?

Голос Софи звучал совсем рядом, но я почему-то вдруг перестал понимать, где нахожусь. Я только помнил, что раньше был в ее комнате.

Сделав усилие, я заставил себя открыть глаза — и действительно увидел перевернутую Софи, стоящую возле дивана. Она успела переодеться — теперь на ней была зеленая шелковая пижама, расшитая черными драконами. Эти драконы мне сразу не понравились, потому что напомнили ее рассказ о шее Аполло.

— Сейчас, — прошептал я, — подожди... Я слезу...

— Не двигайся, — сказала она. — Виси, так лучше. Давай поиграем на прощанье.

— Как? — спросил я.

— Я завяжу тебе глаза. Ты так любишь?

— Еще не знаю, — ответил я. — Мне их никогда не завязывали. Или не развязывали, я теперь уже не уверен ни в чем...

Мои глаза перекрыла широкая и прохладная зеленая лента. Кажется, пояс от ее пижамы.

— Где ты была... Столько времени...

— А что, долго, да? — спросила она виновато.

Теперь я ничего не видел.

Я почувствовал, как ее пальцы расстегивают мои брюки — и удивился, что на мне брюки. Насколько я помнил, я не надевал их перед тем, как залезть на перекладину. А потом...

— Ой, вот только этого не надо, — сказал я. — Пожалуйста. Я так от этого на службе устал, ты себе не представляешь.

— Может, тебе руки связать? — спросила она. — Я могу.

— Я серьезно, — сказал я. — Ты что, не понимаешь почему? Хочешь побыть Великой Мышью?

— Я намного круче, — ответила Софи. — Я великий дракон.

Я подумал, что она, наверное, чуть ревнует меня к Гере. Не к нынешней, а к прежней. Да и кто разберется в женских чувствах? Женщина сама их редко понимает, это я выяснил уже давно — когда первый раз укусил человека другого пола...

Выходило у нее, однако, совершенно замечательно. Я даже не представлял, что такое бывает. Однако расслабиться и получить удовольствие у меня не получалось. Я с тоской понял, что меня ждут большие проблемы с Иштар. Не из-за левой интрижки — такое случалось и раньше. А из-за сравнения между Софи и Иштар в области главной специализации подземной богини. Я не мог его не сделать, и оно было не в пользу Иштар. Совсем... И еще — вряд ли мне удастся утаить, что я назвал наши отношения «службой».

— Нравится? — спросила Софи.

— Очень, — сказал я, сдерживаясь из последних сил. — Где это ты, спрашивается, так научилась? И когда?

— Сомкнутые веки, — продекламировала Софи протяжно. — Выси, облака. Воды, броды, реки. Годы и века...

Опять цитирует, подумал я. Как же они надоели со своей транскультурной вежливостью... Кто это, кстати? Бродский? Всю учебу забыл. Надо будет обновить культурную линейку...

— Кто тебе нравится из русских поэтов? — спросила Софи.

— Набоков, — сказал я.

Я не то чтобы особенно его любил — просто был уверен, что человек с такой фамилией действительно писал стихи: во время учебы я принимал препараты из его сильно разбавленной ДНА и даже помнил пару строчек. «My sister, do you still recall как Ельцин бился мордой в пол...» Ну или что-то в этом роде. Хотя бы не ударю лицом в грязь.

Софи немедленно принялась читать новый стих:

— И полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. «Впусти», —
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою,
и дерзко млеющие дети
глядят на булаву мою...

Лишь в этот момент я понял, что процедура, которая вызвала у меня столько противоречивых чувств, не прерывалась ни на секунду.

Я и не хотел, чтобы она прерывалась, потому что никто и никогда не делал этого со мной таким волшебным способом. Я упивался каждой

секундой, поэтому аналитические способности моего мозга были несколько ослаблены.

Но даже в таком состоянии я сумел сообразить, что Софи никак не могла одновременно сводить меня с ума — и декламировать стихи. И в тот самый момент, когда это до меня окончательно дошло, действие ее губ и язычка стало необратимым.

Но в самой сердцевине моего наслаждения — совершенно, надо сказать, неземного, — уже образовалась черная звездчатая трещина, которая за несколько секунд превратила все происходящее в боль. Боль и тоску.

Это наваждение, понял я. Обман... Какая-то галлюцинация или сон...

— Софи, перестань, — попросил я тихо. — Мне больно.

И хоть я называл ее «Софи», я уже не был в этом уверен. А она все читала эти чудовищные стихи. Мало того, с каждой секундой ее голос становился ниже, словно рядом со мной умирало электрическое сердце древнего магнитофона... Все ниже и ниже — пока в моих ушах не зарокотал мужской бас:

— «Впусти», — и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду...

На последней строчке голос стал настолько низким, что остановился совсем — и затих. Меня наконец оставили в покое.

— Who the hell are you? — прошептал я.

Такой же тихий шепот ответил мне:

— I'm batman.

Я поднял руки к лицу, чтобы снять с глаз повязку. Я уже догадывался, что увижу. Но перед этим меня ждал новый шок.

Мой подбородок успел обрасти длинной бородой. Не щетиной, а именно бородой — такой у меня раньше не было никогда в жизни. Я ощупал ее, и что-то острое и твердое чиркнуло по моей щеке. Это были ногти. Мои собственные ногти. Они отросли до неправдоподобных размеров. Рискуя выколоть себе глаз, я засунул палец под повязку и сорвал ее с лица.

На меня смотрели близко посаженные друг к другу глаза бэтмана Аполло. А на его губах, обросших седой щетиной, играла довольная и одновременно презрительная улыбка.

— «Булава» — это ваша новая ракета, да? — спросил он. — Провидец, настоящий провидец... Сейчас таких поэтов уже не делают... Славно я тебя разыграл?

Я висел на той же жерди, что и в начале аудиенции. Передо мной было то самое место, где я видел солнечную гостиную с портретом Айн Рэнд.

Только теперь все декорации были убраны.

Без них помещение походило на цех авиационного завода. Это был огромный пустой ангар с черными дырчатыми панелями на стенах. На покрытом рельсами потолке красным крабом распласталась электрическая тележка, откуда спускался мягкий эластичный хомут, пронизанный пучками разноцветных проводов.

Хомут удерживал в себе нечто похожее на огромную черную змею — такую толстую, каких не бывает в природе. Кольца этой змеи клубились над волнами страховочной сетки и уходили в дальнюю стену зала, которая была живой — дышащей, покрытой слипшимися завитками древней шерсти.

Черная змея была шеей Аполло. Но я никак не мог отвести глаз от его лица.

Он был удивительно похож на какого-то римского императора. Вот только как звали римлянина, я не помнил. А потом я догадался, что это могло быть не просто сходство. Возможно, я видел перед собой ту же самую голову, которую запечатлели в мраморе два тысячелетия назад. И она до сих пор была живой. Мало того, она до сих пор правила миром.

— Что происходит? — спросил я.

— Все в порядке, — ответил Аполло. — Ты зашел попрощаться.

— Прощаться?

— Ну да. Ты летишь домой. И опять в качестве курьера. Я не люблю лишних визитеров из вашей страны. Поэтому пришлось немного тебя задержать.

— А... Софи?

— Софи будет занята, — сказал он и ухмыльнулся. — Я полагаю, что она в настоящий момент планирует мое низвержение и последующее освобождение человечества. Все это важные вещи, и было бы неразумно ее беспокоить. Тем более что к ней постоянно приезжают юные соратники со всех сторон земли, и несправедливо уделять слишком много времени кому-то одному. Я попытался заменить ее как мог... Но у вашей Иштар, я уверен,

выйдет лучше. Поэтому было бы бесчеловечно задерживать тебя в этом скорбном месте...

— Я... Я не хотел...

— А я очень, — сказал Аполло и облизнулся. — Мы увидимся еще, обещаю. Если, конечно, захочешь, милое дитя...

Я услышал знакомый зуммер — тот же самый, который прервал нашу прошлую беседу, — и улыбка сразу же исчезла с лица императора.

Теперь я увидел, откуда исходят эти звуки.

По висящему в пустоте ажурному мостику к Аполло шагал человек в камуфляже. На его груди был сверкающий значок — маленькая золотая маска на клочке белой шерсти, а в руке — телефон военного вида: огромная и, судя по всему, крайне надежная труба, похожая на первые сотовые аппараты прошлого века. Именно она издавала тревожные двойные гудки.

Аполло поглядел на эту рацию с непередаваемым отвращением. С таким отвращением, что рация, словно живое существо, захлебнулась и затихла.

— Лети домой. Скажи своим, что ты мне понравился. Собственно, они и сами поймут — раз ты вернулся. Календарь я вам посылаю сразу на пять лет. А то часто ваши ко мне летать стали. Получишь его у самолета. Спокойно плетите заговоры и стройте интриги...

Император жутко захохотал — так, что по моей спине поползли мурашки. Я вдруг заметил на человеческой части его шеи знакомую татуировку — сердце с черной звездой. В ней было что-то странное. Я никак не мог понять что — а потом сообразил.

Сердце было перевернуто. Его острие указывало на ухо Аполло.

Может быть, для того, чтобы посетителям, висящим перед императором вверх ногами, казалось, что с сердцем все в порядке и звезда смотрит вверх не двумя лучами, а одним...

— Служи мне, Рама, — сказал Аполло. — Вернись в мир. Нырни в гущу жизни. Пропитайся ее солнечным соком. Забудь певцов неподвижности и смерти. А я буду внимательно за тобой следить. Я помогу тебе стать из мальчика мужчиной. Но для этого ты, как и все остальные, кого присылают ко мне на суд, должен будешь пройти испытание...

— Что, еще одно? — спросил я. — Может, не надо?

Император нахмурился.

— Быть мужчиной для вампира не означает гарцевать перед голой Софи. Мужчина — это герой. Я хочу понять, стоишь ли ты моего интереса...

Его направленные на меня глаза вдруг стали фиолетовыми от бешенства — и, когда меня захлестнула волна неподдельного ужаса, от его лица ко мне прыгнула яркая лиловая искра. Меня тряхнуло, словно от удара током.

Мне показалось, что из меня вынули скелет. Я бессильно обвис на своей жерди, а в самом центре моей головы запульсировала тонкая и очень противная боль. Она почти сразу прошла — но я знал, что со мной случилось что-то непоправимое.

— Я лишаю тебя Древнего Тела, Рама Второй. До тех пор, пока ты не совершишь подвиг.

— Какой подвиг? — спросил я оглушенно.

— Любой, — ответил Аполло. — Который будет достоин твоей дружбы с императором. Через это проходит каждый undead.

— Но что именно я должен сделать?

— Придумай сам.

— А как я узнаю, что я его совершил?

— К тебе вернется Древнее Тело. Это все.

Тут рация в руке военного зажужжала снова, и огонек в глазах императора угас. Его лицо перевернулось на сто восемьдесят градусов (понятно стало, почему меня так поразило мастерство Софи), и он забыл про меня еще до того, как военный поднес аппарат к его уху. Его лицо сделалось старым и невероятно усталым — а я успел испытать весьма оскорбительное для величества злорадство.

Но я не выдал себя ничем. А потом перед моим лицом опустилась стена лифта — и с надежным металлическим щелчком соединилась с полом.



Подвиг

На бесконечной черной палубе все было по-прежнему. Халдеи с золотыми значками все так же усердно отводили от меня лица — только теперь они не встречали меня, а провожали. Наверняка это был древний восточный ритуал. Надо было спросить Аполло, не он ли случайно правил Вавилоном... Впрочем, это, наверное, было бы неучтивым намеком на его возраст.

Без Древнего Тела я не смогу попасть в Хартланд, думал я. Я не увижу Геру. Я больше... Я больше просто не буду собой.

Чего от меня хочет этот старый хрыч или хрычовка? Чтобы я разбился о дно первой же пропасти? Или чтобы я боялся даже подойти к ее краю? Впрочем, не надо усложнять. Может быть, он или она действительно ждет от меня подобающего вампиру подвига.

Но что это может быть?

Я поглядел в море. Дул ветер, волны загибались легкими белыми барашками, и я несколько секунд любовался бесконечным сине-белым простором — а потом по моей спине прошла дрожь ужаса. Мне почудилось — причем был момент, когда я увидел это совершенно отчетливо — что со всех сторон к кораблю Аполло плывут белые лица-маски, такие же, как плыли к лодке Озириса. Старательно защищают свой грим от капель воды — и точно так же не могут даже приблизиться к колдунам, нарисовавшим их лица. И покорно идут ко дну. Только теперь мне казалось, что они движутся к кораблю со всех уголков мира, заполняя собой океан — и когда-нибудь кто-то из них доплывет...

Но чернуху я отогнал. Уметь это обязан каждый вампир. Тот, кто не научился, долго не протянет.

Меня ждал тот же «Дассо», на котором я прилетел. Когда я подошел к его двери, халдей в черном комбинезоне склонился передо мной и, пряча глаза, протянул мне желтый конверт с большим черным знаком:



Мы были уже готовы к взлету — как только я уселся в кресло, начался разбег. Я успел заметить в окне стоящий на палубе серый военный самолет с двумя двигателями под крыльями — вроде того, на котором президент Буш садился на авианосец после падения Багдада. Но никаких опознавательных знаков на нем не было.

Мы взлетели и сразу легли в глубокий вираж. Через минуту корабль императора появился в иллюминаторе. Я попытался разглядеть на борту его название, и через несколько секунд различил тонкие белые буквы:

NEMO

Название изменилось. Мне стало страшно глядеть на черную ладью. Так страшно, что в моей голове что-то поддалось, и я вдруг перестал ее видеть. Совсем. Теперь в иллюминаторах было лишь море, покрытое однообразными волнами. Но я не испытал по поводу этой трансформации никакого шока — а только большое облегчение.

К счастью, на самолете был душ со всем необходимым. И чистая одежда — дубликат того костюма, в котором я прилетел. Но в первую очередь я состриг отвратительные загибающиеся ногти, очень затруднявшие любое действие руками. Сбривая бороду, я порезался — мне никогда раньше не приходилось иметь дела с такой длинной щетиной.

Бортпроводник в синем хитоне и легкой золотой маске уже не отворачивал от меня лицо — что вполне меня устраивало.

— Сколько времени я провел на корабле? — спросил я.

— Не могу знать, — ответил он.

Я понял, что это мог быть уже совсем другой проводник.

— Сейчас что — лето, осень?

— Зима, — сказал проводник.

— А какого года?

— Четыре тысячи триста девяносто шестого.

— Ты чего, шутишь со мной? — спросил я зло.

— От основания Вавилона, — сказал он, сгибаясь в испуганном поклоне.

Я почувствовал себя неловко. Проводник был обучен прислуживать высшей вампирической элите — и если он так говорил, значит, именно это летоисчисление считалось официальным в среде undead. Вокруг меня были прекрасно справляющиеся со своими обязанностями кадры. Неадекватен был я сам.

— Ну да, да, — сказал я. — Спасибо, мужик. Помнишь.

Халдей протянул мне флакон в виде двуглавой мыши.

— Вызывает Москва.

Я выдернул пробку и опрокинул флакон в рот. В нем, как всегда, была только одна капля.

Проводник попятился, открыл дверь для персонала ловким ударом зада — и исчез в пилотской кабине, словно боясь случайно услышать, о чем я буду говорить с пустотой.

Передо мной возник Энлиль Маратович в черном спортивном костюме. Он висел в своем хамлете. Было непонятно, видит он меня или нет — а сам я не хотел его тревожить. Несколько минут прошли в тишине. А потом он открыл глаза.

— Рама! Как дела?

— Как сажа бела, — ответил я угрюмо.

— Ага, — сказал он. — Я знал, что все будет хорошо. Извини, не предупредил, что могут быть... Задержки и осложнения. Сам понимаешь...

— Понимаю, — отозвался я, — как не понять. Мне теперь надо совершить какой-то подвиг. Что это? Зачем?

Энлиль Маратович развел руками.

— У бэтмана свои причуды, — сказал он. — Тут тебе никто не поможет. Должен придумать сам.

— А вы его совершали?

— Совершал. Только не спрашивай как.

— Почему?

— Ты не можешь это повторить за мной или другими. Если я расскажу про свой опыт, я только тебе помешаю. Задачу надо решить самостоятельно. В тебе должен проснуться дух вампира.

— Но как?

— Могу только намекнуть, — ответил Энлиль Маратович. — Тебя лишили Древнего Тела. Поставь себя в такие условия, чтобы оно оказалось тебе очень нужным. Но с крыши прыгать я бы на твоём месте не стал. Не факт, что сработает. Тут нужно другое...

— Что именно?

— Сделай самое искреннее, что можешь. Вырази всю боль своего сердца и всю его страсть. И еще... Надо презреть опасность и показать силу духа. Это должно быть опасно.

— А насколько?

— Ну не так, чтобы слишком. Мы все-таки вампиры, а не камикадзе.

— Можно конкретнее?

Энлиль Маратович покосился куда-то в сторону.

— Нельзя, — сказал он. — Думай.

— Полагаете, Аполло слушает?

— Вряд ли. Но помнить про такую возможность надо всегда...

Энлиль Маратович почувствовал, должно быть, что выглядит не слишком солидно, и прокашлялся.

— Ничего, крепись. Через это все прошли. Я имею в виду, кто вернулся.

— А что, были такие, кто не вернулся?

— Почему «были», — сказал Энлиль Маратович. — Они и сейчас есть. В некотором смысле. Корабль большой, сам видел... Да ты не бойся, Рама. Справишься. Только не затягивай с этим. Ты мне нужен внизу. Иштар опять нас вдвоем на ковер вызывает.

Я только вздохнул.

— Ладно, хватит об этом, — сказал Энлиль Маратович. — Тебе конверт дали?

— Дали, — ответил я.

— Открой.

— Прямо сейчас?

Энлиль Маратович кивнул.

Я взял желтый конверт, аккуратно, чтобы не повредить содержимого, оторвал его край — и вынул оттуда еще один конверт, поменьше. Он был густо покрыт бессмысленными черными закорючками — примерно как на банковских вкладышах с пин-кодом.

— Этот тоже.

Я задержал дыхание, готовясь к тому, что будущее вот-вот ворвется в мой мозг, разорвал второй конверт и вынул из него сложенную вдвое бумагу.

— Раскрой.

Бумага была покрыта клинописью. Если в этих вытянутых узких треугольниках, похожих на повернутые друг к другу наконечники стрел, и скрывался смысл, мне он был недоступен.

— Я ничего не понимаю, — сказал я.

— Зато я понимаю, — ответил Энлиль Маратович.

— Это на каком языке? — спросил я.

— На верхнерусском. Местами на английском. Просто записано нашим внутренним шифром. Чтобы случайные люди не поняли... Про мультикультурализм слышал? Вот это он и есть...

Я вспомнил рассказ Дракулы о человеке, раненном стрелой. Дракула

был прав — какой там стрелой. Скорее армейским залпом. И вот я сам везу их домой. Целую тучу стрел...

— Хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — На пять лет сразу прислали. Теперь имеется некоторая ясность...

Судя по его веселому лицу, циркуляр не содержал ничего особенно жуткого. Или наоборот, вдруг подумал я.

— Что там? — спросил я.

— Не все детали понятны... Выборы со свиньей... Вот что они хотят сказать? Неприятный сюрприз? Малосимпатичный кандидат? Или в смысле свинку взорвать?

— Чего-чего?

— Я вслух думаю, — сказал Энлиль Маратович. — Ты же сам знаешь, как все непросто. Ладно, прорвемся. В крайнем случае пьесу закажем. Опыт уже есть.

— А как в целом? — спросил я. — Какие горизонты?

— Самые обнадеживающие. Ветер истории, Рама, дует в наши паруса.

— В каком смысле?

— В прямом, — сказал Энлиль Маратович. — Я знаю, что тебе Аполло говорил. Про эту их частотную революцию. Что так, мол, гуманнее и баблоса больше. Баблоса больше, не спорю. Пока что... А вот гуманизм... Чтоб ты знал, наши партнеры уже не первый век Щит Родины ломают — и все под эту песню. А чего там у них гуманного, спрашивается? Человек, что ли, хорошо живет? Отпахал на трех работах, вечером поебался с соседом в жопу и спать. А там American Dream. И у нас хотят такое же сделать. Только не выйдет. Щит Родины им не сломать. Если, конечно, — он долго посмотрел мне в глаза, — какой-нибудь иуда изнутри им не поможет. Так что думай, Рама, думай — с кем ты и как...

— Мне сейчас не до этого, — сказал я тихо.

— А насчет баблоса не переживай, — словно не слыша меня, продолжал Энлиль Маратович. — Тут такой культурный разворот намечается, что мы на первое место по удоям выйдем. Китай и Америку обгоним. Колбасить будет всех. Подробности при встрече... Ты только с подвигом не затягивай, хорошо?

— Угу, — сказал я. — А как там протест? Организовали?

Энлиль Маратович заметно помрачнел.

— Уже проехали давно, — ответил он. — Теперь вот с коррупцией боремся. Халдеи, представляешь, все расчеты проебали. Все, какие могли. Я до сих пор поверить не могу, что такое возможно. В этой стране и конец света просрут. Не удивлюсь ни капли. Ты сейчас в Москву?

— В Москву, — сказал я.

— Если в ментовку случайно загремишь, ничего им не объясняй. Просто укуси какого-нибудь старшего мусора. Прямо зубами за шею. Или еще за что-нибудь. Только смотри, чтоб был не меньше полковника. Это теперь для халдеев внутренний код оповещения. Если кого из наших заберут. Чтоб не сидеть со всеми в обезьяннике.

Я почувствовал тревогу.

— Что там творится? Я же новостей черт знает сколько не читал!

— Да нормально, — сказал Энлиль Маратович. — Все под контролем. Собаки лайкают, а караван идет.

Мы на минуту замолчали. А потом, совершенно неожиданно для себя, я спросил:

— Скажите, кто на самом деле Софи?

Энлиль Маратович грустно улыбнулся.

— Это Аполло, Рама.

Я уже знал, что услышу эти слова. И все равно они бритвой полоснули меня по сердцу.

— Сам Аполло? Типа как в маске?

— Можно сказать и так, — ответил Энлиль Маратович. — Но это упрощение.

— Почему?

— Потому что Софи — это спящий Аполло. Она его сон.

— А какая разница?

— Очень большая. Когда Аполло становится Софи, он не помнит, что он Аполло. Он или она думает, что она Софи. Это как с Иштар. Когда она становится Герой, она действительно Гера.

— А почему мне про это никто не сказал?

— Это ваши дела с бэтманом, Рама. Никто в это не посмеет лезть. Когда речь идет о бэтмане, вампир отвечает за каждое слово и каждую мысль. Кому нужны лишние проблемы?

— Но если Аполло и есть Софи, зачем тогда она борется за освобождение человечества? Да еще с такой искренней силой? Почему она ненавидит самого Аполло?

— Нужна мудрость, чтобы это понять, — ответил Энлиль Маратович. — Если в здании Empire V есть трещина, Аполло узнает про это первым. Потому что найдет ее сам. Он действительно великий император.

— Значит, Софи меня обманывала с самого начала?

— Нет, Рама. Софи именно то, чем она тебе кажется. У нее чистое

сердце. Она хочет освободить людей. Но у нее ничего не получается, и она все время плачет. То, что ей удастся обнаружить — всегда лишь очередной тупик. Так оно и должно быть. Это значит, что наш Амфир стоит на надежном и непоколебимом фундаменте. Но если Софи найдет путь к свободе, по которому смогут пойти не единицы, способные понять Дракулу и Озириса — а миллионы, то ей... Ей придется проснуться. И вспомнить, кто она. А дальше действовать будут уже совсем другие силы.

— Софи не догадывается, что она на самом деле Аполло?

— Нет. Она понимает про коварство бэтмана все-все — кроме самого главного. Что она и есть бэтман. Софи не знает, кто она. Но ведь и мы этого про себя не знаем... Этого, если ты помнишь, не знает даже Великий Вампир. Это божественное, Рама. Не пытайся понять. Склонись и прими, как есть.

— Значит, я все это время... С бэтманом?

Энлиль Маратович засмеялся.

— Это как посмотреть. Вот, например, пол-Японии на хэнтай^[36] дробит. С кем эти люди, так сказать, согрешают? С хэнтаем? С жирным лысым мужиком, который этот хэнтай рисует? Или с тем, кто рисует этого жирного лысого мужика и их самих?

— Понятно, — вздохнул я.

— Озирис тебе правильно говорил, — продолжал Энлиль Маратович. — Хочешь быть счастливым в любви — никогда про это не думай. Глядишь, и свидишься снова со своей Софи...

— Ее можно встретить в нашем мире?

Энлиль Маратович отрицательно покачал головой.

— Только в лимбо.

— Но ведь в замке Дракулы... Она там была, разве нет?

Энлиль Маратович только улыбнулся.

— А я... Я там был?

— Конечно. Только ты не вставал при этом из гроба. Ты что, до сих пор думаешь, тебя куда-то увезли в черном ящике, а потом в нем же привезли на место? Ты никуда вообще не уезжал. Просто тебе помогли заснуть крепче, чем обычно. Чтобы стать undead, надо на время умереть. Для этого и нужен гроб. Мы не эстеты, Рама, мы прагматики. Все посвящения, касающиеся лимбо, даются только в лимбо. Этот замок — учебный сон, который видят все undead.

На мои глаза навернулись слезы.

— Софи была первым, кого я там встретил, — прошептал я.

— Аполло встречает всех новых undead лично. Он не только властелин

лимбо, он его страж.

— А кто тогда встретил телепузиков?

— Тоже бэтман, — сказал Энлиль Маратович. — Думаю, у них остались похожие воспоминания. Кроме, конечно, некоторых нюансов.

— А комар с ДНА Дракулы? Откуда я его привез?

— Софи уже говорила тебе, что это комар из лимбо. Она всегда говорит правду, Рама. Откуда берется этот комар, не понимает никто.

— Но зачем бэтману надо притворяться Софи?

Энлиль Маратович грустно улыбнулся.

— Наверно, — сказал он, — чтобы его было за что любить.

— А где я сейчас на самом деле? Там или здесь?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— Так же как и ты, — сказал Энлиль Маратович. — Никто из нас этого не знает. Меня самого иногда на шугу пробивает. Да и бэтмана, думаю, тоже. На то мы и undead.

— Но как тогда жить? Когда непонятно, где это все на самом деле? И что это вообще такое?

— Как, как, — усмехнулся Энлиль Маратович. — Куй железо, пока не проснулся.

И его лицо погасло.

Следующие два часа ушли у меня на знакомство с накопившимися за много месяцев новостями — в которых я иногда узнавал кое-как продавленные в реальность халдейские чертежи. И это было так смешно, что от сердца у меня понемногу отлегло.

Мне вспомнились слова Аполло, что сумма всех новостей сообщает о непостоянстве мира. Сказано звонко, но скорей уж она сообщает о том, что в мире не меняется ничего. Ничего и никогда. Просто эта неизменность все время замаскирована под перемены. Я даже задумался ненадолго, как могла бы выглядеть суммарная ежегодная новость.

...презентация вагины-20XX

Какая она, новая вагина, вобравшая в себя ритм времени и мировые твиттер-тренды? Весь мир в эти минуты смотрит на экраны с ужасом и надеждой...

...Вот...

#ужебылоподсолнцем

Можно подумать, мы этого не знали без ваших хэштэгов, п@цаны. Еще три тысячи лет назад знали. Эх...

Были, впрочем, в информационном потоке и интересные сближения, заставившие меня задуматься, как форма человеческой молитвы связана с ответом, приходящим от Божества. Вот три девушки в балаклавах обратились к Деве Марии с нетрадиционной мольбой — и было им нетрадиционное видение: ползущая по сцене Мадонна с надписью «Pussy Riot» на спине... Как, однако, мало влияния осталось у Богородицы на людской мир. Не смогла даже уберечь бедняжек от тюрьмы.

Но не все было так уж мрачно. Обошлось без конца Светы. Или, может быть, в суете его просто не заметили.

Я вдруг с испугом осознал, что долгое беспмятство на корабле императора не прошло для меня бесследно. Похоже, я не просто висел в трюме. Я узнал много нового, причем сам не был в курсе, что оно мне известно — как бывает с вампирами при обучении через препараты ДНА.

Например, задумавшись о конце света, я смутно вспомнил, что апокалипсис уже был — где-то на стыке античности и средних веков, — и его скрывает тот самый период тьмы и неясности, о котором говорит столько историков. Но это событие имело такую природу, что затрагивало не просто «государственность и культуру» живших на земле народов, но и саму материальность видимого мира, поэтому от него действительно не осталось никаких следов, и хозяевам обновленного человечества пришлось наложить на эту дыру своеобразную информационную заплату — фрагмент истории, кое-как подделанный позже.

Раньше я этого точно не знал.

От современной же истории в виде вчерашних новостей оставалось только злорадство. Я все время вспоминал о приверженцах конспирологических теорий: мол, тайная группа интриганов легкими касаниями перстов направляет ход мировой истории, история послушно поворачивает куда надо, а ее архитекторы остаются в тени сотнями лет... Ну-ну. Знали бы они...

Тут, извиняюсь, задействованы силы куда серьезней людей. Люди — причем лучшие люди — тоже в деле. И вот большая группа профессионалов, под которыми ходят все, без всякого исключения все,

пытается что-то сделать по заранее намеченному плану, имея при этом неограниченный ресурс — а пила все равно идет не туда.

Я бы брал этих конспирологов часов в пять утра, тепленькими, с кровати, и вез бы на какую-нибудь ржавую подмосковную автобазу. И заставлял бы их танцевать танго с самосвалом, за рулем которого сидит обкуренный пьяный таджик, позорящий шариат и умму каждым своим вздохом. А потом ставил бы конспирологов к кирпичной стене и спрашивал — ну что, идиоты проклятые, поняли, что такое управлять этим миром?

Впрочем, затухание халдеи рассчитали более-менее верно — не зря Энлиль Маратович в первую очередь поручил им именно это. Я в очередной раз оценил мудрость старого вампира. Важно ведь не то, что случится на пике процесса. Все это промелькнет и исчезнет, оставив только пару пыльных роликов на ютубе. Важно только то, что останется, когда все успокоится и затихнет. Какой высоты окажется кровать, когда матрас перестанет качаться. Если не ошибаюсь, в математике это называется свободной и вынужденной составляющими. Только жизнь не математика — и за свободную составляющую, длящуюся пять минут, приходится платить вынужденной, которая приходит на долгие годы.

Вот так, думал я, глядя на далекую линзу океана, понемногу набираешься опыта. Но одного опыта сегодня уже мало. Reinvent yourself or die^[37]. Хочешь быть вампиром — учи дифференциальные уравнения... Надо будет укусить какого-нибудь математика и серьезно разобраться в теме. Как-нибудь спляшу перед Великой Мышью и закажу голову Перельмана на блюде...

Но сейчас следовало думать не об этом. Надо было готовить подвиг — и я уже почти знал, что делать. Я, конечно, опоздал на поклонное болото — но в моей груди уже вызрел собственный жест. Глубоко интимный и личный. Помочь мне мог только он.

Я позвал бортпроводника и попросил карандаш и бумагу. Он принес их из кабины и замер в ожидании.

— Мы можем где-нибудь приземлиться?

Он соображал несколько секунд.

— В Барселоне.

— Отлично. Тогда вот что. Мне нужен татуировщик. Самый хороший специалист. Прямо сюда, на борт. Идти в город я не хочу. И еще надо кое-что купить и изготовить, я дам список... Там все просто. Черная футболка два экс-эл. Белый трафарет на грудь — что писать, я скажу. Черную балаклаву с рогом на лбу, это самое сложное. Английских булавок... Закажем прямо с воздуха, чтобы не ждать.

Татуировщик оказался черным сухощавым мужчиной с курчавой бородкой, в розовой вязаной кепке а-ля Боб Марли. У него с собой был округлый алюминиевый чемодан вроде тех, в каких герои Голливуда перевозят через мозг кинозрителя большие бабки, а суверенные вампиры подгоняют баблос бэтману Аполло. Ни одной татуировки на самом татуировщике не было. Впрочем, его кожа была такой темной, что себя ему пришлось бы расписывать белым.

Он взял бумажку с моим эскизом и некоторое время с сомнением изучал.

— Надо сделать под пупком, — стал я объяснять по-испански. — Две летучих мыши. Причем одна должна быть женского пола, а другая мужского. Они держат... Ну, такую ленту, типа развернутого транспаранта. А на транспаранте уже эта надпись...

— DON'T SUCK MY DICK, — прочитал татуировщик медленно, словно взвешивая каждую букву. — Why?

Я догадался, что он знает испанский еще хуже меня. Понимание мотивов клиента могло быть важным для его вдохновения. Но пускаться в слишком уж подробные объяснения мне не хотелось.

— Because «don't suck my dick» is much more offensive than «suck my dick»^[38], — ответил я.

Видимо, объяснение его удовлетворило. Он кивнул и открыл свой чемодан.

Через два часа тату было готово — и выглядело оно настолько... Именно offensive, что представить себе кого-то, не подчинившегося этому дружескому увещанию, было трудно. Я бы даже сказал, что в изображениях летучих мышей легко было углядеть hate crime — попытку оскорбить весь род вампиров. Но это могло быть проявлением того самого конспирологического сознания, о котором я только что вспоминал с таким сарказмом.

Со вторым заказом вышло чуть хуже. Черная балаклава с нашитым на лбу рогом удалась не особо — рог, видимо, делали в спешке, и он оказался плохо набит. Когда я надел маску на голову, он бессильно обвис. Но к тому моменту, когда я обнаружил этот дефект, мы уже взлетели, и разворачивать из-за этого самолет я не стал.

Зато черная майка с белой надписью-трафаретом удалась на славу.

Вот как-то так. И только так.

Все-таки недаром я столько лет изучал вампирические искусства, думал я. Вот образцовый информационный омоним.

С одной стороны — максимальной концентрация всего прогрессивного и светлого, какая может быть достигнута лингвистическими методами. Сколько революции и драйва в этом мотто всемирного креативного протеста, сколько простора для медийного подвыва — а в работе всего пара слов, старых как мир и свежих, как весенний ветер над рыбным рынком.

С другой стороны — глубоко личный, можно сказать, сокровенный стон, надежно скрытый под зеркалами поверхностных, но внятных эпохе смыслов.

У майки были длинные рукава. Сначала я хотел обрезать их ножницами, а потом мне пришло в голову, что это одно из тех тонких указаний судьбы, которые подтверждают, что твое сердце бьется в унисон с сердцем эпохи — и показывают одновременно, как еще точнее сверить ритм.

Перед кабиной пилотов в салоне была черная штора. Она была сложена — и я подумал, что ее отсутствия никто не заметит.

Остаток дороги ушел у меня на то, чтобы нарезать ее тонкими длинными полосками и прикрепить эти полоски к рукавам с помощью крохотных английских булавок, которых привезли целую коробку — в чем я углядел еще один перст providения.

Когда мы уже снижались к Москве, я померил получившийся наряд — и взмахнул руками перед встроенным в стену зеркалом. Честное слово, на миг мне показалось, что мои руки превратились в черные крылья без всякого прыжка в пропасть. Костюм вполне годился для хэллоуина — если не считать, конечно, надписи на груди: она для буржуазного дискурса была слишком радикальной. И все это сделал я сам, из подручных материалов, за какую-то пару часов. Можно было собой гордиться.

Но все же, выходя из самолета, я на всякий случай накинул на плечи черный пиджак.

Падal редкий снежок. Прямо возле трапа ждала машина с Григорием. Григорий выглядел бледнее, чем обычно, и я подумал, что он опять халтурит на двух работах и сдает красную жидкость. Но потом до меня долетел еле заметный запах перегара, и я успокоился.

— Куда едем, кесарь? Квартира, дача?

Я отрицательно покачал головой.

— Свези меня на Тверской бульвар. Пройдусь пешком.

Шлагбаум, еще шлагбаум. Тонкая бетонная дорожка несколько раз повернула в лесу, влилась в снежно-серую асфальтовую реку — и все привилегии и кастовые различия остались позади.

Мы еще не добрались до Москвы, а дорога уже стояла, и не было исхода из этого сизого бензинового пара с красными пятнами стоп-сигналов.

Григорий вел себя так, словно я никуда не пропадал и последний раз он видел меня вчера. Впрочем, любое другое поведение по отношению к вампиру было бы оскорбительным. Проявлять любопытство было даже опасно, и он это, видимо, понимал.

Как всегда в долгой пробке, Григорий решил потрудиться над моим спасением — он знал, что обычно поднимает мне этим настроение и я даю хорошие чаевые. Я загляделся в окно и пропустил точный момент, когда он начал говорить — смысл его слов стал доходить до моего сознания постепенно, вклиниваясь между приглушенными гудками, доносящимися из-за стекла. Сперва мне казалось, что это блеет радио, которое он включил несмотря на мой запрет. Потом я понял, что это его собственный голос.

— И неправда, кесарь, что человечество не знает про вампиров. Догадывается. Нельзя обманывать всех людей все время. Точной информации, может, у народа и нет. Но есть прозрения на эмоциональном уровне. Смутные догадки о невидимых безжалостных властелинах, питающихся человеческими душами, многие века посещают людей. Вспомните «Бога — пожирателя людей» из гностических евангелий. Этим примерам нет числа. Однако люди всегда верили, что зло не может торжествовать бесконечно — и реальность божьего мира вовсе не так черна...

Я наклонился вперед и тихо клацнул зубами возле его шеи. Григорий покорно вздохнул. Я на секунду прикрыл глаза — и решил объяснить ему все раз и навсегда.

— Вот смотри, Гриш. У тебя сейчас спина чешется, ботинок левый жмет. Справа что-то болит под ребрами, и ты боишься, что рак печени. Вампиров по Москве развозить тебе не нравится. Но в Молдавии твоей такая жопа, особенно по части теологии, что других вариантов с работой у тебя просто нет. А детки твои в Кишиневе хотят каждый по айпэду, чтобы побыстрее познакомиться с педофилами, изучить производство наркотиков и склониться к самоубийству. В общем, херово тебе.

— Да, — согласился Григорий. — Это я и сам понимаю.

— Ты другого не понимаешь, Гриш. Ты думаешь, что херово тебе только временно. В силу искажения божьего плана. А это и есть божий

план на твой счет — чтоб тебе было херово.

— Почему?

— Потому что божий план — тот единственный план, по которому все происходит. И мы, вампиры, в этом плане как бы жернова. А вы, люди — зерна. Остальное — людские домыслы. Еще раз скажи, тебе херово?

— Херово, — кивнул Григорий. — Но...

— Ты со своими «но» самого главного не понимаешь. Что для выработки этого «херово» ты и нужен природе и космосу. Потому что если бы ты нужен был для чего-то другого, с тобой бы это другое и происходило. Понимаешь? Херово, Григорий, не тебе одному, а всем людям. Ты ведь самогон гнал в Кишиневе по молодости? Так вот, чтобы ты понимал — все мы просто винтики планетарного самогонного аппарата. Который перегоняет всеобщую фрустрацию в баблос. А все людские мечты, надежды и планы — это закваска, из которой его гонят. Так было всегда — и всегда будет.

— Да, — прошептал Григорий, — враг могуч.

— Только вампирам, чтоб ты знал, еще херовей. Потому что у нас нет этого последнего приюта, который есть у каждого человека. Спрятаться в солнечный идиотизм. Уйти в социальный протест. Уверовать в Господа. Заняться йогой. Или писать стихи про ежей для детских сайтов. Мы этого не можем технически. Потому что там, где у вас в голове эта аварийная сливная дырка, у нас только холодное и беспощадное понимание истины.

— Вы зато вниз головой висите, чтобы забыть о возмездии, — пробормотал Григорий.

— Ты и про это знаешь?

— Знаю, — сказал он. — Озирис показывал. Вернее, не показывал, а просто не стеснялся.

— Он тебе говорил, что так от возмездия прячется?

— Нет, — ответил Григорий. — Это я и сам понять в состоянии.

Я несколько секунд озадаченно молчал. Такая мрачная интерпретация происходящего в хамлете не приходила мне в голову. И если понимать под возмездием ежедневный поток черных мыслей, омывающий любую вампирскую голову, Григорий был совершенно прав. Этот поток черных мыслей вполне можно называть возмездием, вполне...

Григорий без всякого укуса почувствовал, что его слова попали в цель. Он прокашлялся.

— А херово мне не потому, — сказал он тонким елейным тоном, как бы начиная очень издавна, — что Господь такое на мой счет промыслил.

Господь... Он нам всем как бы назначил встречу. Но не в клубе «Отсос», а в духе и истине. И если мы приходим, он нас ждет. Вот это и есть его план. Просто в этом плане мы не шестеренки, а равноправные участники. Можем прийти, а можем не прийти. И когда мы не приходим, нам херово. Потому что мы чувствуем — заблудились. Знаем, что не там душа бродит, где Господь ее ждет. Я, кесарь, заблудший человек. И херово мне не по божьему плану, а по грехам моим великим.

— Да какие же у тебя грехи, Григорий? — удивился я. — Ты же профессор теологии. Семью кормишь.

— А чем кормлю? Извозчик у кровососа. За то Господь от меня и отвернулся...

— Спасибо, — буркнул я. — То есть херово тебе из-за меня, да?

— Так вы же вампир, — ответил Григорий. — Чему тут удивляться.

— Слушай, — сказал я, — если ты из-за меня на свиданку с Господом опаздываешь, чего ты у меня тогда работаешь?

— Ибо сказано, — отозвался Григорий, — отдайте богу богово, а кесарю кесарево... Вот я, кесарь, и отдаю.

Я промолчал.

Странно, но разговор с Григорием не развеселил меня, как обычно, а, наоборот, погрузил в печаль — чтобы не сказать зависть. Простейшие движения ума, к которым прибегал этот человек, чтобы заслониться от безнадёжности человеческой судьбы, поражали своей абсурдной эффективностью. И зачем, спрашивается, нужно что-то сложнее и умнее? Почему люди ушли из этого надежного проверенного окопа, который веками давал им возможность достойно дотерпеть до конца? Чтобы их взгляды соответствовали «истине»? Какой еще «истине»? Которую им выпиливают Самарцев с Калдавашкиным по нашему заказу?

— Не для того мы живем и страдаем, кесарь, чтобы вырабатывать скрежет зубовой и тоску, — бормотал Григорий, перестраиваясь в другой ряд, — а для того, чтобы в этой роковой борьбе день за днем выковывались крупницы драгоценного духовного опыта. Которые блистают на духовном небосклоне и радуют Господа. Аки звезды на южном небе...

Впрочем, думал я, слушая его вполуха, люди не уходили из окопа. Не такие они дураки. Они просто загадили его до краев, заполнили своим дерьмом — и он исчез. Да и мы им помогли по линии дискурса, чего уж лукавить. И прятаться стало негде. Вот я, например — при всем желании не смогу уже скрыться там, где Григорий. Не потому, что не хочу. Я даже не вижу окопа, где он сидит. Для меня его нет. Мне непонятно, как в этом умственном недоразумении можно спрятаться. А для Григория окоп есть.

Для него это такая же реальность, как для меня баблос, которого, кстати, я не видел уже черт знает сколько времени.

Разница между нами в том, что Григорий, поумнев и протрезвев, еще сможет вылезти из своего приюта в то пространство, где ежусь от космического холода я. А я... Я уже никогда не смогу протиснуться в его абсурдное убежище. Не смогу даже сделать вид, что я там... То же самое, кажется, чувствовал граф Толстой, дивясь таинствам простой крестьянской веры. И тоже не смог залезть назад. А смог только перевести Евангелие с греческого, корчась на ледяном ветру...

Скоро сработал мой обычный защитный механизм — я перестал слышать болтовню Григория. Вернее, перестал воспринимать смысл его слов, вслушиваясь только в их звук, эдакий хрипловатый успокоительный ручеек, пересыхающий иногда на несколько секунд. Мне то и дело вспоминалась Софи — и мой ум тотчас отпрыгивал от этого воспоминания, как от раскаленной кочерги. Но не думать о ней я тоже не мог...

Эх, знал бы этот стихоплет, что такое настоящий ад.

Впрочем, можно ли вообще метафизически доверять женщине?

Чтобы отвлечься от черных мыслей, я включил вмонтированный в переборку телевизор и выбрал какой-то боевик. Но после недавней беседы с Аполло смотреть кино не было никакой возможности — и даже непонятно было, как это получалось у меня раньше.

Я чувствовал, что фильм просто доит меня, ежесекундно возобновляя во мне напряжение, вызванное происходящей с героем катастрофой — которая, однако, никак не кончалась его смертью, а вела только к еще более страшной катастрофе, не оставляющей уже никакого шанса на избавление, и так все дальше и дальше. И весь смысл быстрого монтажа был в том, чтобы постоянно поддерживать во мне это непрерывное внутреннее страдание.

С одной стороны, это вполне получалось. Но с другой — как ни чудовищна казалась нависшая над героем опасность, было ясно, что дурного с ним не случится, поскольку фильм только начался. Выходило, пока часть моего сознания изнывает в адреналиновых спазмах, другая утомленно зевает. Зевающая часть в конце концов победила. Я выключил панель и уставился в окно.

Москва была все той же — и неуловимо новой. Я видел очень много приезжих. Мне пришло в голову, что так называемое «нашествие варваров» вряд ли воспринималось римлянами пятого века как нечто большее, чем наплыв необычно большого числа мигрантов на фоне непрерывно растущей толерантности властей... А ведь тут, как жаловался Иоанн

Грозный, не только третий Рим, а еще и второй Израиль. Трудно ждать от зимней Москвы, что она поднимет тебе настроение своими видами.

Когда до Тверского бульвара осталось минут пять езды, я опять стал слышать голос Григория:

— ...и не надо себя за это презирать. Если вы у меня пососать хотите, вы так и скажите, не стесняйтесь. Я в такие вещи врубаюсь...

Я даже не разозлился.

Улл был прав. Человек подобен калейдоскопу, картонная труба которого догнивает свой короткий век, пока внутри пересыпаются блестящие, самодовольные, острые и отважные стекляшки, дробным отражением которых любитесь Великий Вампир. Можно ли злиться на калейдоскоп, когда понимаешь, как он работает? Нет. Человека можно только любить. Только любить и жалеть. Лучше всего — издалека.

— Уймись, Григорий, — попросил я кротко. — Меня вырвет сейчас.

Он умолк. Я снял пиджак и принялся расправлять спутавшиеся ленты. Закончив с ними, я надел на голову черную балаклаву.

По тому, как вильнула машина, я понял, что Григорий внимательно следит за моими приготовлениями в зеркале.

— А говорите, сливная дырка, — сказал он. — Выходит, и у вас такая в голове, кесарь.

— Это ты про что?

— Про социальный протест.

— Это не социальный, Гриш. А глубоко личный.

— Зачем тогда клюв?

Я непонимающе уставился в его зеркальные глаза.

— Это ведь у вас клюв? — спросил он.

— Это рог, дубина. Рог. У нас такой на голове, когда мы в Древнем Теле.

— Да я в курсе, — сказал Григорий и оторвал одну руку от руля, чтобы перекреститься, отчего машина вильнула опять.

— Ты води нормально. А то тебе в случае чего на небо, а мне — непонятно... Аккуратней.

— Подумают, что клюв, — озабоченно сказал Григорий, не обратив внимания на мои слова. — Подумают, вы черным журавлем оделись.

— Пусть думают... Подожди, ты это серьезно?

Григорий кивнул.

Такая возможность не приходила мне в голову. Ну что ж, так оно даже лучше... Лишняя складка Черного Занавеса не повредит.

— Тормози, — сказал я. — Я у «Армении» выйду. И не жди. Езжай

сразу в гараж.

Машина затормозила.

— Зачем вам это, кесарь? — спросил Григорий.

— Ты «Подвиг» Набокова читал?

Он отрицательно помотал головой.

— Прочти, — сказал я. — Там наверняка написано.

Выбравшись наружу, я подождал, пока машина с Григорием скроется за перекрестком, и, ежась от холода, пошел к переходу на бульвар. Хотелось верить, что все кончится быстро. У дверей одного из ресторанов мне зааплодировали — и я взмахнул своим тесемочным крылом, отвечая на привет.

Впрочем, ложка дегтя, брошенная мне вслед Григорием, обесценивала взгляды, которые я на себе ловил — неважно, что в них было, восхищение или ненависть. Я знал, что люди реагируют не на мое действительное высказывание — оно вряд ли было доступно их суетливым умам, — а на свои собственные проекции, которые они только и способны узнавать во внешнем мире. Они хлопают лишь себе. Всегда лишь себе. Им и не нужен никто другой. Они даже не знают, что другое бывает.

Но не вампиру их судить, думал я, шагая по бульвару. Ибо это мы захотели, чтобы все было именно так. Любить людей надо такими, какие они есть. И сосредоточиться мне следует не на том, что нас разделяет, а на том, в чем мы едины. Людям больно и плохо жить под вечным гнетом, хотя они не особо понимают его природу. И мне тоже больно и плохо, хоть я знаю источник своей боли. Люди выходят на площади и улицы, чтобы сказать свое «уй», так почему бы и мне не пройти меж ними зыбкой черной тенью?

Уже все возможные разновидности белковых тел профланировали по улицам этого города, выражая протест против мучительных ментальных образов, терзающих их воспаленные умы. Должен же кто-то быть и от вампиров. Так пусть это буду я...

Ессе vampro! Или как там вампир по-латыни — lamia? labia? Почему-то только женского рода... Впрочем, неважно. Смотрите, люди, вот идет среди вас вампир, показывающий миру свою боль и беду. Такой же, как вы. Один из вас. Смертный на время, как мог бы выразиться Борис Пастернак, если бы ему заказали приличествующие случаю стихи. И пусть мы живем на разных социальных этажах, сегодня в этой борьбе мы вместе. Рука об руку. Крылом к копыту... А если тебе, мой мимолетный брат, не ясен смысл моего безумного жеста, особой беды в этом нет.

«И не надо, — шептал мой внутренний голос, — не надо ничего

никому объяснять... Пройти непонятым и исчезнуть... Как там у Есенина? По своей стране пройду стороной, как проходит косой вождь...»

Однако исчезать было уже поздно.

Впереди соткались из морозного воздуха какие-то озабоченные люди с телекамерой и похожим на мохнатую дыню микрофоном на штанге. А за решеткой бульвара уже тормозил милицейский автомобиль. Почему-то я был уверен, что все это имеет ко мне самое непосредственное отношение.

И я не ошибся.

Меня свинтили точно напротив МХАТа. Причем так профессионально, что я даже не заметил, как ко мне подошли.

Слово «свинтили» на самом деле удивительно подходит. Только что я шел по главной аллее, помахивая черными крыльями — и гордясь, что иду в эту высокую минуту по тому самому Тверскому бульвару, где началось и кончилось столько прекрасных человеческих историй. И вдруг мое тело оказалось свинчено в крайне компактную конструкцию с головой возле ног и руками за спиной. При этом меня незаметно, но очень больно ткнули чем-то жестким в ребра, словно давая понять, что если я не подчинюсь, будет еще больнее.

Меня тут же потащили — вернее сказать, вынудили передвигаться в крайне неудобной позе: всю работу по перемещению собственного веса выполнял я сам. Но я не видел, куда именно я двигаюсь, потому что сбившаяся маска закрыла мне глаза. Зато я слышал голоса. Возмущенные голоса. Впрочем, кто-то, наоборот, довольно гыкал. Во время короткой остановки я ухитрился поправить маску собственным коленом, вернув себе зрение — и увидел совсем близко объектив видеокамеры. Уже сориентировались, подумал я.

— Это молодежный протест против сползания страны к авторитаризму и клерикальной диктатуре?

— Не хочется вас расстраивать, — прохрипел я, — но мои претензии к вашему миру идут значительно дальше... Вы даже не представляете, насколько...

Я говорил абсолютную правду, но кому она нужна на этой ярмарке лжи? Съёмочная группа потеряла ко мне интерес за долю секунды.

А вот менты — нет.

Меня пихнули в спину и заставили взбежать по ведущим к переходу ступенькам.

Больше за нами никто не шел. Меня тащили в переулок, в глубине которого — надо же, какое совпадение — уже стоял милицейский фургон. Но до него было еще далеко. А свидетелей вокруг теперь не осталось — и я

быстро это ощутил. Меня стукнули по ноге чем-то очень твердым. Потом еще раз. Потом еще. Потом еще...

Самым подлым была абсолютная неспровоцированность этих ударов. Они вообще никак не были связаны с моим поведением — словно меня били не живые люди, а генератор случайных чисел. Целили по икре, в самое нежное место. Я теперь неделю не смогу висеть в хамлете, подумал я.

Мне представился тупой злобный омоновец, который несильно, но метко бьет меня при каждом моем шаге. Просто для развлечения. Я вообразил его беспросветный внутренний мир, его пропитанную ресентиментом и страданием душу... И вот теперь он выливает все всосанное с рождения зло на меня.

Меня заполнила безудержная ярость. Сосредоточенная ненависть к этим балаганным вертухаям, называть которых режимом могут только недостаточно информированные люди. Сволочи, думал я, чуть не плача от злости, какие сволочи... Они считают, что я... Что меня... Что они просто так могут...

А потом я каким-то образом исхитрился обернуться — и увидел, кто именно бьет меня по ноге.

Это был тяжелый металлический щит одного из скрутивших меня омоновцев-космонавтов. Он раскачивался при каждом шаге и метко, но совершенно неодушевленно бил в мою икру углом.

Мент, которому принадлежал щит, даже не был в курсе.

И меня вдруг проняло до костей.

Или, может быть, правильнее сказать — отпустило. Потому что в моей душе в эту секунду уже не было ни бесконечного одиночества, ни метафизического недоверия к женщине, ни безнадежного понимания, что выхода из моего экзистенциального тупика нет и не может быть в природе.

Ад куда-то исчез.

Мало того, мне даже не было холодно.

Все было смыто злобой на этих тупых скоморохов в riot gear^[39], вздумавших надо мной издеваться. А теперь, когда оказалось, что скоморохи тут ни при чем, наступила долгая секунда тишины, какой-то замершей озадаченности. Точь-в-точь как при приеме баблоса. И почти как при лицезрении Великого Вампира. Эта секунда была поразительной.

На моих глазах выступили слезы.

— Щит родины, — прошептал я, — щит родины...

Нельзя было сказать, будто я что-то понял.

Совсем наоборот.

Я вдруг перестал понимать все то, что с такой яростной самоотдачей понимал перед этим весь день. И я больше не хотел это понимать. Никогда вообще.

Мне не нужно было это бессмысленное беличье колесо в голове, из которого я только что случайно вывалился на свободу. Наверно, именно это имела в виду Софи, говоря про *indigenous mind*.

Но увести туда благодарное человечество было невозможно. Свобода была недостижима. Она была слишком близко, чтобы можно было сделать в ее сторону хоть шаг. Она была раньше любой мысли и любого шага.

Увы, свобода кончалась именно там, где начинался человек. Даже я, вампир, не мог надолго вырваться из под власти ума «Б».

Меня уже подтащили к автозаку, и я почувствовал, что волшебное переживание внутренней незаполненности уходит. Но это меня не пугало. Я знал, что ничего не надо удерживать, ничего...

Из автозака вылез офицер в кителе и фуражке — судя по всему, нечто вроде штабного центуриона.

— Что там? — спросил он хмуро. — Балаклавинг?

— Путинг, — ответил один из омоновцев.

Офицер с сомнением смерил меня глазами.

— Точно не балаклавинг?

— Не, — сказал омоновец. — Реально путинг. У него нос на маске и крылья. Типо журавль. Все забыли уже, а он еще помнит...

Я заметил на погонах офицера в фуражке три больших звезды. Полковник. Вот и мой билет домой.

— Ну что ж, — сказал полковник, все так же хмуро изучая мой наряд, — мы за путинг не караем... Журавляйте, граждане, на здоровье...

Его глаза остановились на моей майке.

— А вот за призывы к насильственным действиям сексуального характера... Публичные призывы к массовым сексуальным действиям... Это уже серьезней. Да отпусти ты его. А то будет потом синяками торговать...

Державший меня омоновец разжал свои клешни.

— Тут вчера у одного тоже интересная кофтенка была, — продолжал полковник. — «Мутен Судак». И ведь не подкопаешься вроде. Девки смотрят как на героя. Наглый такой. Думает, самый умный. А на кармане двадцать грамм конопли...

Омоновцы весело заржали.

— Господин офицер, — сказал я полковнику, — могу я сообщить вам нечто важное?

— Важное? Ну сообщи.

— Приватно, — сказал я, — чтобы ваши подчиненные не слышали. Это секретная информация государственного значения.

Полковник посмотрел на меня с интересом.

— Ну давай. Скажи на ухо.

И он развернул ко мне свое ухо — большое и надежное, морозное красное ухо российской власти.

Я шагнул к нему, поднялся на цыпочки (он был выше меня почти на голову) и тихо сказал первое, что пришло в голову:

— Терпи, халдей, аватаром будешь.

А потом быстро и сильно укусил его за шею сквозь дырку в балаклаве. Не так, как мы делаем это обычно, а просто зубами. Грубо и по-человечески.

Меня поразила та мускульная энергия, та, я бы сказал, радостная бетховенская сила, которую я вложил в это движение челюстей. Словно что-то долгие годы копилось в моей груди — и вырвалось наконец на свободу сверкающей всепобеждающей песней, которую не задушишь и не убьешь. На одну секунду я испытал головокружительное счастье — а потом ужаснулся, ибо понял, что до сих пор не знаю про себя ничего.

На шее полковника выступила кровь. Он побледнел, отшатнулся и выхватил из кобуры пистолет на тонком кожаном ремешке.

— Стоять!

Я никуда не шел — и сообразил, что он кричит не мне, а омоновцам, уже занесшим надо мной кулаки.

— Я сам с этой блядью поговорю, — сказал полковник и указал стволом на дверь в автозак. — Внутрь бегом, сука!

Омоновцы сильно нервничали, что мне ни разу не попало от них по шее — это было видно по их лицам.

— Спокойно, ребята, спокойно, — повторил полковник, вытирая с шеи кровь. — Я сам, лично... Только дай мне вот это...

Он взял у понимающе осклабившегося омоновца дубинку — и пихнул меня во вместительное нутро машины.

— Не беспокоить, пока не позову, — сказал он.

Как только дверной замок щелкнул, поведение полковника изменилось самым разительным образом. Первым делом он прошел мимо меня и на полную громкость включил плоский телевизор, свисающий на штанге с потолка (машина, похоже, возила не задержанных, а самих ментов — внутри она напоминала с любовью оборудованную бытовку строителей).

— Это чтоб крики глушить, — улыбнулся он, отогнул лацкан и показал

мне маленькую золотую маску-значок.

Я кивнул.

— Зачем сами так рискуете? — спросил он, указывая на мои потрепанные черные крылья.

В его голосе звучала неподдельная забота.

— Хотел пропитаться, — ответил я.

— Чем?

— Солнечным соком жизни. И потом, я считаю, что вампир должен быть в первых рядах социального протеста. Особенно когда протеста уже нет.

— Да? А против кого протестуете?

— Против вас.

Полковник некоторое время размышлял над услышанным, причем мне показалось, что в какой-то момент его мозговые итерации просто разошлись и затухли.

— Так точно! — сказал он.

Подойдя к приставному столику, на котором стоял электрочайник, он взял бумажную салфетку и приложил ее к кровоточащей шее.

— Вам, конечно, виднее, — сказал он, морщась. — Но вы все-таки передайте своему руководству, что это совершенно непригодная система идентификации. Мало того, что для нас негуманная. Она еще и для вас самих опасная. Бывает, кусают нижний состав, а они не в курсе. Сложности. Зачем это?

— А вы что предлагаете? — спросил я.

— Мы вам можем удостоверения любые напечатать.

— Это не выход, — ответил я.

— А как тогда надо?

— Давайте против них бороться, — сказал я. — Вместе.

— Против кого?

— Ну, против нас.

Полковник опять некоторое время думал — и в этот раз циклы мозговых вычислений, видимо, сошлись. Он побледнел.

— Извините, — сказал он. — Заговорился.

— Ничего, — ответил я любезно. — Не волнуйтесь. С кем не бывает.

— Вы меня на «ты», пожалуйста, называйте, — попросил полковник.

— Почему?

— Да голову переклинивает. Сначала укусили, а потом вдруг на «вы». Боюсь, не сдержусь. А так все привычнее.

— Хорошо, — кивнул я. — Будем считать это брудершафтом. А можно

один профессиональный вопрос?

— Так точно, слушаю, — сказал полковник.

— Как этот щит называется? Какой у ваших опричников?

— Щит? — полковник сразу оживился, как коллекционер, с которым заговорили о марках. — «Витраж». Вот только сейчас не скажу, какой — «Витраж-АТ» или «Витраж-М». Хотя... Если с дырочками для наблюдения, то это «Витраж-АТ». А палка резиновая, если хотите знать, называется «Аргумент». Бывает длинный аргумент и короткий. Логично, да? А почему интересуетесь?

— Да нет, ничего. Просто так.

Я вспомнил рассказ Улла о витражах. Знал бы он, какими цветами они играют в далекой северной стране... Мне стало грустно — словно я вспомнил частицу дивной, забытой и отшумевшей жизни.

Салфетка в руке полковника окончательно набухла красным, и он заменил ее на чистую.

— Послушайте, — сказал он, — может, и не моего ума это дело, и зря я лезу... Но вы хоть по секрету объяснить мне можете насчет укусов, а? Вам же кровь не нужна, это враки все.

— Правильно, — ответил я. — Не нужна.

— Тогда зачем такой код оповещения? Почему нас непременно кусать надо?

— Не я это придумал, — вздохнул я. — Но объяснить могу. Только предупреждаю, тема не простая.

— Попробуйте, — сказал полковник, и на его лице изобразилось страдальческое усилие, как часто бывает у не слишком развитых людей, ожидающих услышать что-то умное.

— Тебя ведь этот вопрос мучает, раз задаешь? Мучает. Вот для того и кусаем, чтоб он тебя и дальше мучил. И со всеми остальными проблемами и непонятками — то же самое. Вопросы в твоей голове нужны не для ответов. А для того, чтобы ответов не было.

— Опять не понимаю. Совсем просто объяснить можете?

— Можем. Доят тебя, как лоха. Всю жизнь и всю смерть.

— Кто?

— Они. Ну то есть мы. Но это производственно-бытовой аспект. А есть еще культурно-антропологический. И на культурном плане, чтоб ты знал, это Щит Родины.

— Какой щит родины?

— Типа как «Витраж». Сквозь который все немного по-другому видно. Ты ведь его держишь? Держишь. Вот он тебя и прикрывает.

Полковник медленно покачал головой, словно признавая, что истина оказалась для него неподъемной.

— Только думать об этом не надо, — сказал я почти с нежностью. — Совсем не надо. Мне наши старики сколько лет говорили — не бери в голову, не грузись — а я все не верил. И ты мне сейчас не веришь. А зря. Считаешь, тебе легче станет, если поймешь? Будет тяжелее. Тут не понимать надо, а наоборот.

— Значит, так и будете кусать? — спросил он.

— Видимо, да.

— А что делать посоветуете?

— Контролировать вампофобию, — сказал я сухо.

Но тут же сквозь меня прошла волна жалости к этому большому, сильному и век назад устаревшему человеку — эдакому солдафону, который честно и по-мужицки пытается приспособиться к давно непонятной ему жизни.

— Но отчаиваться не надо, браза, — сказал я. — Я же говорю, давай против этого вместе бороться...

Моя запоздавшая сердечность, однако, была ему не нужна. Полковник уже не слушал.

— Я вам окошко оставил открытым, — сказал он сухо. — Форточку. Сейчас я к своим выйду. А вы давайте уж как-нибудь побыстрее. Потому что минут через десять я в пункт первой помощи пойду, а ключ им отдам. Чтоб они за вас дальше отвечали. Если вас в машине не будет, тогда это их проблема. А если вы в ней будете... Сами понимать должны.

Я поглядел на окно. Верхняя часть стекла была сдвинута вбок — но само окно, как и все остальные окна в машине, было забрано густой решеткой, через которую можно было просунуть только палец. Ну или два.

Форточка — еще куда ни шло, такое в моей жизни уже бывало... Но решетка...

— А решетка? — спросил я.

Полковник пожал плечами.

— Решетки снимать указаний не было, — сказал он. — Честь имею, господин вампир. Счастливого полета.

Он повернулся, вышел из автозака и захлопнул за собой дверь. Обиделся, подумал я. Ну и дурак. Сам во всем виноват. Ему бороться предлагают, а он не хочет. Куда с таким народом уедешь?

Сквозь решетку было видно, как полковник, все еще прижимая салфетку к шее, что-то говорит подчиненным. Потом один из них покосился в мою сторону, и я на всякий случай отошел от окна.

Вернется ли ко мне Древнее Тело?

Узнать это наверняка можно было только одним способом — перейдя в него. Решетка на окне волновала меня не очень — я знал, что после трансформации законы физического мира становятся для нас так же несущественны, как статьи уголовного кодекса. Меня волновало другое. Для трансформации надо было испугаться. А страшно мне не было. Совсем. Я чувствовал, как бы это точнее сказать, только цинизм. А от него в жизни мало проку.

Я заметил в дальнем углу автобуса ментовские трофеи: черно-желто-белый щит с многобуквием «Требуем уравнивать русских в правах с гомосексуалистами и гостями столицы!» и мятый плакат со слоганом «Femen. Пизда пахнет!» под эмблемой, похожей не то на выпрямленный процентный символ, не то на визуальную метафору зависти к пенису. Грустные трупики чьих-то задушенных подвигов...

Я поднял глаза на плоский телевизор. Как и положено в ментовской машине, он был включен на какой-то прогрессивный канал. Шла аналитическая программа. Говорил яростный молодой человек в костюме стального цвета с искрой:

— Что показал последний марш? Да, тридцать тысяч ботов у семьи есть. Но у Пути все равно в десять раз больше!

— Год назад у семьи тоже в десять раз больше было, — отвечал собеседник, жирный бородач в свитере. — Избирком задудосить могли, лимон правду говорит.

Всего несколько месяцев — а как я отстал от жизни. Я переключил канал — и попал на веселый ролик о гаджетах.

— Смартфон — оружие активиста! Если вы конструктивно рассерженный креативщик, не согласный поступиться своим достоинством, если вы за веселый и шумный натиск с элементами карнавализма, ваш естественный выбор — последний iPhone. А если вас уже не остановить, если вы хмурый и серьезный конспиратор, склоняющийся к полуправильным формам борьбы — тогда, конечно, вам нужен Samsung Galaxy...

Это, похоже, гнал мировую волну далекий Аполло. Причем совсем не там, где на него грешила конспирологическая общественность... Я опять переключил канал.

По экрану поплыли золотые купола на фоне синей лазури. Попоповски налегая на «о», заговорил проникновенный и серьезный молодой басок:

— У всех наций в мире есть свои неприкасаемые святыни, нечто такое, что нельзя оскорблять и трогать безнаказанно. Именно вокруг них и

спланивается всякое здоровое общество. Только у нас, россиян, на первый взгляд ничего подобного нет. Кроме военных побед, плодами которых воспользовались — так уж получилось — совсем иные народы. Так и катимся перекасти-полем от татаро-монгольского ига к иудео-саксонскому. И не в слабости русского оружия дело. Русский солдат непобедим. А вот русский гуманитарий... Там, где у народа должна быть голова — только какой-то пень-обрубок с похожими на глаза гнилушками и черной дырой на все готового рта. Наша духовная элита должна крепко призадуматься о своем, как говорят военные, неполном служебном соответствии. Может быть, она просто не видит в упор того главного, что может сплотить нас всех, независимо от возраста и веры? Стать фундаментом нашего нового мультиконфессионального бытия? Взглянем на нашу историю внимательно. Да! Конечно же! И как можно было не видеть этого столько лет! У нас, друзья, есть наша приватизация! За русскую приватизацию — и давайте перестанем наконец бояться слова «русский», — заплачено не меньшим количеством жизней, чем за величайшие исторические драмы других народов. По своей монументальности это событие не уступает основанию США. Это одна из тех немногих областей, где мы уверенно опережаем Китай. Поэтому фактические результаты русской приватизации — и прошлой, и грядущей — должны быть такими же священными и неприкасаемыми, как итоги холокоста!

Это был уже не Аполло, а свои. Впрягли все дискурса, кто бы сомневался.

Я переключил программу еще раз и увидел юное существо с крестом на груди и айпэдом в руке. Глядя в айпэд и встряхивая янтарными кудрями, существо читало стихи:

— Я твои озера лайкал,
Фолловил поля.
Ты и фича, ты и бага,
Родина моя!

Алхимическое дитя нового века было куда моложе меня, и одним этим отодвигало меня дальше в жизнь — словно в глубь длинного-предлинного ящика... Я отвернулся от телевизора. И вдруг заметил на стене три маленькие иконки — вроде тех, что вешают на приборную доску таксисты и бомбилы.

И тогда мне наконец стало страшно.

Дело было не в том, что моя черная душа содрогнулась от близости святыни. И не в том, что я задумался о клерикализации общества, как советовали тележурналисты с бульвара.

Я вдруг подумал, что полковник со злой дури мог взять и брякнуть своим бойцам, что я вампир.

Менты ведь были совершенно реальны. Они находились не в лимбо, а за дверью. Не стать бы жертвой преступления на почве религиозной ненависти, которым вряд ли заинтересуются СМИ...

Это было, конечно, маловероятно — но впрыснуло нужную дозу страха в мою усталую душу. Я несколько раз нервно прошелся по кузову автозака.

Так совершил я уже свой подвиг? Или нет?

Мне вдруг стало трудно дышать, пространство вокруг завибрировало и распалось, впереди мелькнуло перевернутое лицо Аполло — и в тот самый момент, когда ручка входной двери повернулась, на меня обрушилась стена с зарешеченным окном. А в следующий момент я понял, что смотрю на автозак уже не изнутри, а снаружи.

Два омонвца как раз входили в его дверь.

Полковник уже уехал — его нигде не было видно.

Я совершил над фургоном прощальный круг, метнулся к коричневой стене МХАТА, потом к заснеженному асфальту, потом вверх — и оказался над зимним бульваром.

Меня никто не замечал. Просто в мою сторону никто не смотрел. И если бы я пролетел прямо перед лицами прохожих, все равно они нашли бы повод поглядеть в этот момент куда-то еще.

Все было хорошо. Я смог.

Но вот что именно Аполло засчитал мне за нравственный подвиг? Укус? Или татуировку? Чувствовалось, что вопрос теперь будет занимать меня долго.

В моей душе постепенно оседал поднятый иконками страх. Неужели мы действительно сползаем в новое средневековье?

Как много в этом мире, думал я, желающих быть заодно с Великим Вампиром. Как много старающихся сделать правильный выбор, оказаться на верной стороне баррикады — а не заодно с кафирами, кощуницами и прочими гоями...

Можно понять этих людей. У них хорошая практическая сметка, они стараются вложить свои сбережения под самые большие проценты в самый надежный банк. Только расчет их наивен, и выслужат они себе разве что кару за пошлое богохульство — за то, что помыслили Великого Вампира в

виде анального деспота из истории родного края.

Преференций за переход в «лагерь света» не будет. Ибо в этой юдоли всякий заодно с Великим Вампиром. И тот, кто этого хочет, и тот, кто не хочет. И тот, кто молится в храме, и тот, кто в нем мочится. Великий Вампир — это лента Мебиуса. Весь мир на его стороне.

Даже в Древнем Теле я до сих пор чувствовал человеческую фантомную боль. Ныла икра, в которую настучал Щит Родины. Но на дне этой боли была и горькая сладость — казалось, своим страданием я что-то искупил. И хорошо, если так.

А теперь пора было на Рублевку.

Бульвар уже кончился. Мне не хотелось метаться между домами в клубах бензинового пара, и я стал широкими медленными кругами подниматься вверх.

Постепенно в мою душу снизошел покой, как всегда бывало на высоте, — и, когда на меня поглядел багровый глаз Великого Вампира, уже скрытый от погружающихся в сумрак улиц, я не испугался и не устыдился его взгляда.

Я был холоден и весел, как и полагается Кавалеру Ночи. Мне вспомнилась моя новая татуировка — сюрприз, который я везу Иштар. Если, конечно, это Иштар, а не...

Усилием воли я отогнал чернуху. Было понятно, что повторять это духовное упражнение придется теперь много раз в день. Но ведь жизнь — вечный бой!

Революция продолжается!

Отличный лозунг. Надо будет сказать халдеям. Хотя, кажется, кто-то уже упер. Вот только не помню кто. То ли «Вольво», то ли грязевая спа из Марьиной Рощи, то ли это новое реалити-шоу из жизни звезд протеста. Если, конечно, сатрапы еще не закрыли его за низкий рейтинг.

Я вспомнил полковника, которому уже делали, должно быть, уколы от бешенства — и понял, что так и не заглянул в его душу. Удивительно. Раньше со мной такое вряд ли могло произойти. Значит, я повзрослел. Стал серьезнее и спокойней. И, конечно, мудрее. Неизмеримо мудрее.

И мудрость опять оказалась не тем, что я представлял. Не доскональным знанием всего и вся — а совсем наоборот. Умением ограничить и оградить свой ум.

Смирением.

Да, смирением, думал я, и нет в эту секунду между небом и землей твари смиреннее меня. Потому и не страшен мне багровый глаз, в который я лечу. Ибо нет во мне своей воли — а только твоя, о Великий Вампир.

Посмотри на меня и скажи: разве я лгу? Нет, не лгу, и при всем желании не смог бы солгать. И даже если я встану на Тайный Черный Путь, то не потому ли, что это часть Твоего плана?

Впору бы смеяться и смеяться. Но если бы ледяной воздух высоты мог чувствовать, он ощутил бы на моих черных шерстистых щеках два скудных холодных ручейка.

Нет, я по-прежнему весел. Это просто ветер.

Великий Вампир, почему мне нельзя увидеть тебя снова?

Впрочем, не отвечай. Я знаю.

Свет, яркий белый свет листает книгу жизни, полную мертвых анимোগрамм. О чем эта книга? О грусти, тщете, страдании и непостоянстве, иллюзиях и обманах — и, самое главное, о том, что жаловаться некому.

Но не в том смысле, что нет Того, кто услышал бы жалобу. Он-то как раз есть, и еще как.

Нет того, кто мог бы пожаловаться. Потому что сколько в жалобе слов, столько у нее разных авторов. И когда она дочитана до конца, никого из них уже нет в живых. Дракула прав. Тысячу раз прав.

Кто будет сотрясать вселенную могучими крыльями, наполняя ее ветром, чье гневное лицо увижу я перед собой, когда последний сон сдует прочь?

Глупейший вопрос, сказал бы Дракула. Последний сон как раз в том и состоит, что кажется, будто есть некто, кто спит — и может проснуться. И когда пробуждаешься от этого последнего сна, нет уже ни надежды, ни страха...

Тут, Впрочем, слова начинают подводить. Но мне они больше не нужны.

Р

Писал Рама Второй,

Обер-вергилий, смиренный сердцем Великий

Мертвец и совершенный в бесформенном

Кавалер Вечной Ночи



Приложение

Записи на букву «С»

Самюэль Беккет, кажется, говорил, что если в первом акте на сцене стоит виселица, то в третьем она должна выстрелить. Смысл этих слов в том, что если вы упоминаете некую сущность в тексте вашего повествования, она должна как-то принимать в нем участие, развивать сюжет, помогать раскрываться «характерам» (так называются фальшиво-нелепые и не отвечающие ничему в реальности образы «человеков», создавать которые учит дебильная человеческая теория литературы, чтобы книги были предсказуемыми, фальшивыми и доступными разумению критиков — и их ни в коем случае не читал никто другой). В истории, другими словами, не должно быть нефункциональных элементов.

Но этот принцип, разумеется, распространяется только на убогие писательские поделки, высосанные из известного пальца с целью пробиться в теплую вонь литературного истеблишмента. Он не касается великих произведений, описывающих реальный опыт жизни, смерти и иного.

Серьезные книги не могут и не должны подчиняться этому наглому правилу просто по той причине, что не все встречающиеся нам виселицы функциональны. В мире, напоминающем потемкинскую телепередачу, единственное назначение которой — обогрев мирового эфира, требовать подобного от книг могут только совсем дремучие идиоты. Но, учитывая их количество, совершенно неудивительно, что именно их точка зрения является общепринятой.

Вампир, однако, никогда не борется с чужим идиотизмом, а спокойно плывет по его течению, предоставляя бой за правое дело другим. Мне проще подчистить текст, чтобы он соответствовал смешным людским представлениям о гармонии, чем объявлять войну гвардейскому полку литературных чертей. Перечитав эту рукопись, я заметил в ней оплошность — я многократно упоминаю, что мой вампонавигатор выдавал информацию исключительно на букву «С», но данное обстоятельство никак не участвует в повествовании.

Однако описывать, как я услаждал раскрасневшуюся Великую Мышь блеском вампирической мудрости, мне не хочется — слишком уж это личная тема.

Я мог бы убрать всякое упоминание о букве «С» и вампотеке, оставив их за рамками текста вместе со множеством других деталей нашего быта, о

которых я не стал распространяться. Но помогла случайность.

Дело в том, что вампонавигатор иногда используется при общении с халдеями — и даже с обычными людьми. Нам приходится обсуждать с ними героев локальной культуры, медийные вбросы, политические события и прочее — а мы за этим не следим. Но мы должны создавать у людей впечатление, что разбираемся в их жизни значительно глубже, чем они сами — и здесь вампотеха незаменима.

Закачиваемая в нее информация подбирается таким образом, чтобы соответствовать культурной среде, где собирается витийствовать вампир. Она вовсе не отражает наше собственное мнение по излагаемым вопросам. У нас его нет. Подозреваю, что его на самом деле нет даже у обслуживающих вампонавигатор халдеев, которые отслеживают новейшие ударные дискурсы и подвешивают их под наши черные крылья. Но такая спецподготовка помещает нас в самый центр человеческой реальности и заставляет наших собеседников верить, что мы дышим с ними одним воздухом — только глубже.

На самом же деле мы, вампиры, слабо разбираемся в людских делах. Редактор этой книги даже не понял сперва, что такое «приматизация». А я совершенно искренне услышал это слово из милицейского телевизора вместо «приватизация», и даже как-то его для себя расшифровал (теперь все уже исправлено). Про приватизацию я тоже, конечно, слышал — но так уж работают мозги у вампира. Особенно у Кавалера Ночи, которому совсем не до людских заморочек.

Поэтому вампонавигатор бывает необходим не только в лимбо. Когда он надет на зубы, речь вампира делается несколько шепелявой. Чтобы избавиться от этого недостатка, мы часто тренируемся в ораторском искусстве с навигатором во рту — совсем как древний грек, который заполнял себе рот камушками, — и записываем свою речь на диктофон, чтобы отслеживать ее качество.

Уже завершив эту книгу, я обнаружил диктофон, с которым отрабатывал дикцию. Все записи на нем по понятной причине касаются только слов и выражений на «С». Благодаря этому у меня есть возможность продемонстрировать читателю, как действуют вампирические носители информации.

В них вовсе не записан некий текст, как это бывает с человеческими справочниками и словарями. В них хранится смысл. Как только препарат соприкоснулся с языком, вампир уже постиг все нужное — наша мудрость быстра, как цианистый калий. Это потом мы кое-как подбираем слова, чтобы выразить свое безупречное понимание на человеческом языке. И

стараемся говорить четко, чтобы не смущать собеседника.

Признаюсь сразу, наша мудрость эффектна, но фальшива. Ее назначение — не вести человека к свободе и счастью, а завораживать его голографическим блеском пустых смыслов, чтобы он не заметил укуса. То же самое, впрочем, проделывают с людьми и их собственные карго-философы и телемудрецы — только куда менее элегантно. Да и кусать они толком не могут по причине гнилых зубов и способны лишь, как выразилась незабвенная Палена Биркин, на феллацио за круассан.

Если вы халдей, жизнь предоставит вам шанс соприкоснуться с вампирической мудростью и без меня. Для остальных в качестве пробника прилагаю распечатки записей со своего диктофона — в том самом порядке, как они были сделаны. Я подредактировал их самую малость, убрав мычание и слова-паразиты, да еще расставил абзацы.

Представьте себе монотонный, тихий и немного шепелявый голос, раздающийся в полутьме у вас за спиной. Теперь вы можете несколько минут поговорить с вампиром.

Сквернословие

Ваш мозг — это лингвистический компьютер плюс личная киностудия. Независимо от того, хотите вы этого или нет, киностудия снимает короткие анимационные фильмы по всем поступающим в нее сценариям. Таким сценарием становится любая достигшая мозга (не обязательно даже сознания) фраза. Если кто-то говорит вам обыденное «xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx твою мать во все помидоры», вы испытываете шок и отторжение, потому что мозгу независимо от вашего желания приходится отснять и просмотреть целый порнографический сериал, где кроме вас снимается еще и ваша бедная мама в костюме богини плодородия.

Все это с огромной скоростью происходит в вашем сознании фактически на равных правах с остальной «реальностью». Услышанное в известном смысле является настоящим магическим заклятием. Именно поэтому слова с глубокой древности не особо различались с поступками: сказав что-то, вы уже осуществили это в сознании того, кто вас слышит.

Действие мата многопланово. Избирательная активация неокортекса с помощью якобы табуированной лексики, основанной на грубых сексуальных образах, блокирует тонкие функции психики — за счет шока от вербального изнасилования в комплекте с принудительным половым возбуждением, в которое неосознанно приводится реципиент.

Дополнительным эффектом матерной речи является чувство морального падения, смешанное с удовольствием от нарушения табу. Этот фундаментальнейший ритуал как бы собирает участников происходящего (всю страну) в одном и том же провафленном мобилизационном бараке, где их уже не видит ни Бог, ни черт — а только политрук и смотрящий, которые проследовали туда вместе со своим народом.

Сознание большинства россиян устойчиво находится в этой зоне с самого детства. Не зря военные говорят, что мат — основа управления общевойсковым боем. Это еще и фундамент всей здешней культуры (не потемкинской, а реальной). Поэтому у мата в России такой сакрально-двусмысленный статус. Если какой-нибудь Майтрейя забредет в наш сектор реальности, ему придется проповедовать матом, иначе на глубоком уровне его просто никто не услышит.

Негласный консенсус относительно роли мата в русской культуре таков: следует различать бытовой мат и художественный. Первый —

мерзок, второй — единственное национальное достояние русского человека, которое еще не сумели похитить те, о ком нельзя говорить. И вот теперь хотят отнять — и тянут, тянут к нему свои черные клешни, науськивают своих заливистых шавок...

Политик, который найдет способ обратиться к гражданам на замысловатом и задушевном матерном языке, получит доступ к закрытым для остальных коммуникаторов слоям психики, где бытует русская душа. Он, таким образом, будет иметь огромное преимущество перед коллегами, вынужденными говорить на кастрированном — в полном смысле — языке фальшивых общественных приличий...

Такой политик вызовет волну показного возмущения, но будет после этого восприниматься как хороший, сердечный и откровенный человек в толпе лицемеров. Он будет единственным, кто заговорит на языке правды, потому что окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом.

Технологию можно оформить как слив множества нецензурных телефонных разговоров, где клиент откровенно характеризует своих соратников и соперников, а также общую ситуацию в стране...

Ггг, надо будет сказать халдеям.

Столица

Самым точным аналогом «столицы» является введенное американским антропологом К. Кастанедой понятие «*assemblage point*» — «точка сборки». Так называется светящийся центр осознания, который может перемещаться по энергетическому телу человека. В зависимости от положения точки сборки на этом теле внимание человека способно собирать совершенно разные миры, даже отдаленно не напоминающие друг друга. Меняется и сам человек. При возвращении точки сборки в исходную позицию он вернется в состояние, в котором начинал свое путешествие.

Все это следует, разумеется, понимать как метафору.

То же относится и к положению столицы нации — с той разницей, что из-за инерционности геополитических процессов смена реальности может отставать от сдвига точки сборки. Если говорить о России, то «Москва» — это положение точки сборки, соответствующее культурному и геополитическому конструкту, известному как «Московское царство», для которого характерно всестороннее загнивание и деградация, полувраждебно-полувассальная зависимость от диких южных племен, хамоватое заискивание перед Западом, техническая отсталость, косность, всепроникающее воровство и неспособность эффективно контролировать слишком большую территорию.

«Петербург» — это положение точки сборки, соответствующее мировой империи. Понятно, что при сдвиге столицы из «Москвы» в «Петербург» московское царство будет стремиться к трансформации в петербургскую мировую империю. А при сдвиге столицы из позиции «Петербург» в позицию «Москва» от мировой империи, собранной вокруг Петербурга, со временем останется только московское царство со всеми его древними неизлечимыми сифилисами.

Интересно, что в случае сдвига столицы в позицию «Дальний Восток» Россия могла бы войти в совершенно новое для себя тихоокеанское измерение, родившись в качестве азиатской державы рядом с Японией и Китаем. Но в настоящий момент такая схема вампирами не рассматривается. Да и «русские европейцы» могут не понять — им ведь обещали, что уже лет через двадцать их начнут пускать в Европу.

Социальная реализация

Никто не станет отрицать, что это важная вещь.

Парадокс, однако, в том, что современная наука верит, будто человеческие мысли и чувства, в том числе ощущения социальной значимости и жизненного успеха — это результат электрохимических реакций в мозгу. Вернее, даже не результат — а сами эти реакции и процессы.

При этом социальный успех признан учителями человечества вполне разумной целью для того, чтобы потратить на его достижение всю жизнь.

То есть с одной стороны выходит, что социальная значимость есть определенная комбинация атомов в мозгу. А с другой — для достижения этой ничтожно малой по размерам и стоимости материальной конфигурации следует всю жизнь трудиться в так называемой «реальности» на непонятного дядю, перелопачивая огромные объемы материи. Есть в этом какой-то грохочущий абсурд.

Впрочем, это все та же самая hard problem, понимать которую людям запрещено.

Интереснее другое.

Может ли вообще у человека быть «социальная реализация»? Разве это не фальшивый «хэппи-энд» из американского фильма, за рамкой которого скрыты старость и смерть? Даже если социальная реализация будет размером с пирамиду Хуфу или яхту Стива Джобса, куда она денется после смерти реализованного?

Как сказал в частной беседе св. Григорий Нисский, «человек же есть малое скоропреходящее зловоние». Но про этот аспект проблемы учителя человечества предпочитают не говорить — и вспоминают о нем только тогда, когда им проплачена реклама какого-нибудь кладбища или пенсионного фонда.

В российской прессе некоторое время назад происходило вялое переругивание каких-то персонажей на тему: «равен ли Лимонов Сахарову, Солженицыну и Бродскому — или такая претензия смешна?» Отвечаем — равен. И Солженицыну, и Бродскому, и Сахарову. И Копернику. И даже самому товарищу Сталину. И каждому по отдельности, и всем в сумме. А они, и каждый отдельно, и вся палата, равны нулю. То же самое относится к любому наполеону из любой кашценко, включая оригинальный французский бренд. Увы, это относится даже к произносящему эти слова

— хоть он и Кавалер Ночи.

Религия денег, несмотря на свою абсолютную победу во всех странах мира, не имеет сегодня конкретного объекта поклонения. Это связано с тем, что золотой телец перестал быть физическим золотом и стал чистым духом, электронной абстракцией.

И здесь на помощь прогрессивной религии человечества приходит психоанализ. Он ставит знак метафорического равенства между золотом и экскрементами, позволяя заменить поклонение золотому тельцу ажиотажем вокруг символического кала, источником которого становится т. н. «культура».

Отсюда возникает все современное искусство и его «кураторы», обслуживающие право капитала назначить любой произвольно выбранный кусок говна золотом — и не только в переносном, но и в самом прямом инвестиционном смысле. Постоянно происходящее алхимическое превращение кала в деньги и денег в кал, об аукционных итогах которого с придыханием сообщают все СМИ, становится сердцевиной культурного процесса.

Воспитательная функция эртертейнмента, в недрах которого обитает невидимая, но шустрая и обязательная для всех идеология, теперь проста и однозначна. Это реклама золота. Позитивные образы массовой культуры — это люди, послушно окучивающие золотую гору, вершина которой скрыта облаками. Их сакральный защитник — похотливый лакей мировой олигархии Джеймс Бонд, с прибаутками уничтожающий на своем пути все высокое и светлое (см. «Skyfall»). Повсеместно насаждаемая тантрическая практика — символически приближающая к золоту содомия.

Сам бог денег нематериален — но ему надо как-то поклоняться. Поэтому от персонала золотой горы требуется придумать прямо противоположное христианскому причастию таинство: сделать из говна конфету, раскрасить ее флюоресцентными красками, а затем маргинализировать обсуждение — и даже понимание — того, чем исходная субстанция является на самом деле («лузеры, браза, так говорят все лузеры»). Если спустить этот артефакт в массы в качестве жизненного ориентира, поведенческого шаблона, политинформации и селф-хелп-методички, мы получим современное культурное пространство.

Но хватит о высоком. Вернемся в Россию, отставшую от Запада на двести лет (или опередившую на триста, ибо история циклична). Страна в

самом начале славных дел — и только начинает расправлять прямую кишку, принявшую эстафету власти у сгнивших рогов с копытами.

Кажется, что единственным пространством, где «душа» еще может как-то дышать, остается литература.

И вот мы видим гордого, прекрасного и уязвленного несовершенством мира героя, который, как Мартин Бубер, обращается к Богу напрямую и говорит:

«Ты создал этот мир полным страдания и мрака, ты приковал мою душу к полному мерзости телу, ты заставил меня стариться и гнить, совершая мерзость за мерзостью, чтобы жить в этой мрачной вселенной... Но подожди. Я отвергну твое творение с такой яростью и силой, что оно содрогнется и развалится на куски!»

На багровом как шанкр закате он кидается в бездну кала и гноя и рушится вниз, вниз, вниз — в бледном венчике из смегмы, в окружении роя живых вшей и облаках ссаной вони.

Но Бог безмолвствует.

«Ты молчишь? — кричит бунтующий гностик. — Тогда смотри. Я совершу такое, чего испугается сам Люцифер. Я пойду дальше — самую красоту я сделаю безобразной, соединив ее в одно целое с мерзостью... На это ты вынужден будешь ответить... Ты не сможешь промолчать... Тебе придется явить себя...»

Кажется, что ниже и страшнее невозможно упасть — но герой делает последнее кощунственное усилие, низвергается еще глубже и...

И вдруг пробивает потолок какой-то комнаты. Поднявшись на ноги, он обнаруживает, что попал в приличную каргобуржуазную гостиную. Ему стоя аплодируют собравшиеся.

— Ах, — проносится шепот, — мы знали, всегда знали, что вы с нами...

Когда шок от удара проходит, герой принимает бокал с желтым и шипучим и после короткого обмена репликами выясняет, что там, куда он так самоубийственно рушился с хулой и пеной на устах, собрались приличные рукопожатные люди, они тут живут, растят детей и даже летают за покупками в Лондон.

Экзальтированные жены наконец расступаются. К герою подходят мужчины в вечерних костюмах и приглашают его чуть прогуляться. Герой выходит за дверь, подавляя спазм ужаса — мнится, что там угли и котлы, котлы... Но за дверью — что-то вроде алхимической лаборатории. Видны следы работ, но не заметно их результата.

Мужчины, чуть заикаясь от застенчивости, начинают объяснять, что

давно и старательно выпекают символическое причастие прогресса для России. Бюджет огромный. Алхимическую реторту духа курируют международные духи добра. Но вот беда, сначала никак не выходило похоже на конфету. А потом по русскому обычаю украли все деньги и проебали все говно. Даже символическое — так что теперь не спасает и Фрейд.

— А вы, Владимир Георгиевич, из хулиганства и злобы так хорошо слепили, что мы и мечтать не смели-с... Не представляете, как совпадает с методическим вектором. Вы из издевательства сделали. А мы не могли на полном серьезе и за большой бюджет... Давайте дружить, вот что-с...

— А что мне надо будет делать?

— Да все то же самое-с. Говорите о говне красиво. Красиво и немного нервно. А мы уж не останемся в долгу перед своим певцом.

Героя отводят в горницу, и он падает спиной на опричную перину.

«Надо же, — думает он, глядя в потолок. — Кто бы ни был создатель этого мира, но чувство юмора у него приличное. В норме...»

Совместно с «Wall-Street Journal»

В России любят метафоры и понты — причем литературные метафоры являются, как правило, именно понтами. Однако некоторых метафорических изысков следует избегать — особенно когда они способны бросить слишком много света на творческую лабораторию стилиста.

Нельзя писать, например, так: «Дрова шипели, словно размокший в писсуаре окурок, раскуриваемый нетерпеливым и жадным ртом». Потому что сразу становится интересно, где автор это шипение слышал и насколько часто. И как подобный тип жизненной умудренности сочетается с претензией на красоту слога. Человек, возможно, хотел поразить соседей по камере богатством языка — а в результате к нему возникло много вопросов.

Ту же ошибку часто допускают в стихах. Вот известные на Востоке строки:

Лучше пьяным от кумыса на коне лихом скакать,
Чем, залупу наслюнявив, втихаря овцу ебать.

Вроде бы верно. Но все же в стихах есть какая-то несообразность.

Попробуем понять, в чем она. Первая строфа — это клише, изображающее лихую и красивую жизнь джигита. Оно кажется напыщенным и глянцево-безжизненным, потому что его не оживляет точная деталь, которая позволила бы читателю пережить это приключение вместе с рассказчиком. Зато во второй строфе такая деталь есть — чувствуется наличие конкретного практического опыта, о котором умному человеку стоило бы помалкивать.

Поэтому, хоть с двестишiem трудно не согласиться на концептуальном уровне, перед нами не жемчужина житейской мудрости, а ламентация автора о том, что он неправильно живет.

Чужое сердце скорее бы уж тронул такой вариант:

Лучше пьяным от кумыса втихаря овцу ебать,
Чем залупу наслюнявив, на коне лихом скакать.

Это хотя бы философия жирного пингвина, прячущегося среди утесов

с томиком Мураками. А в рассмотренном выше оригинале нет ничего, кроме фальшивой красоты — и констатации собственного падения.

Избегать следует также и разных цацек, памятных наград и символических знаков отличия — вроде медального ряда на синей казацкой груди, где при сильном увеличении становятся видны металлические диски с надписями «С Днем Рождения!» и «Мать-героиня».

Но все это, однако, еще не предел пошлости.

«Ведомости» — московская газета, которая издается, как на ней гордо написано, «совместно с „Wall-Street Journal“».

Не очень понятно, в каких формах осуществляется такая совместность, но это неброское лого сильно меняет статус сказанного здесь слова. Читая в этой газете какую-нибудь статью, вы заранее проникаетесь сознанием, что перед вами не просто ментальный выкидыш завравшейся московской зомбодуры, а еще и набор камланий, имеющий сложное мистическое отношение к кишечному бурлению самой зловещей финансовой сволочи мира.

Или можно сказать по-другому: звучащие здесь голоса кажутся по-особенному респектабельными и авторитетными, потому что на одну треть как бы раздаются из-под крайней плоти Руперта Мэрдока. И хоть последнее, если вдуматься, невозможно по причинам антропологического характера, почтительное доверие к прочитанному остается все равно.

Мы, вампиры, тоже любим метафоры. Поэтому нередко просматриваем с утра эту газету нетерпеливым и жадным взглядом — и видим скрюченную фигурку российского карго-либерала, тихонько слюнявящего что-то воображаемое на свалке неэффективных смыслов. Чует сердце: скоро, скоро в России закончится время дураков — и начнется время других дураков.

Симулякр

Симулякр есть некая поддельная сущность, тень несуществующего предмета или события, которая приобретает качество реальности в трансляции. К примеру, это некий пикет у посольства или пляска в церкви, которые организуются только для того, чтобы снять об этом массово тиражируемый видеоотчет — и длятся ровно столько времени, сколько снимают это «документальное свидетельство реального события» (создатели рассматриваемого понятия жили в те времена, когда у пикетов и плясок могли быть и другие цели).

Словом, симулякр — это подтасовка перед глазами зрителя, которая заставляет его включить в реальный пейзаж некие облако, озеро или башню, которые на самом деле вырезаны из бумаги и хитро поднесены к самому его глазу.

Однако что это за «реальный пейзаж»?

Учение о симулякре, несмотря на свою «революционность», основано на подсознательной вере в существование подлинных, серьезных, фундаментальных и постоянных сущностей и смыслов, поскольку само понятие «симуляции» предполагает существование «настоящего». Проблема, однако, в том, что абсолютно все сущности, среди которых проводит свое время человек, имеют одну и ту же природу. Все они в равной степени являются поддельными — и у «симулякра» нет никакой оппозиции, которая оправдывала бы введение подобного термина.

Это просто обозначение того единственного способа, которым приходит в существование абсолютно все. Разница только в качестве подделки. Что-то подделано недавно, грубо и наспех — это политические симулякры. Что-то подделано уже давно, и работа сделана несколько тоньше — это культурные симулякры. А самые фундаментальные симулякры создает человеческий ум, опирающийся на язык. Это языковые конструкторы, воспринимаемые как внешняя (или внутренняя) реальность.

Человеку разрешается ставить под сомнение некоторые политические симулякры, потому что этого требует «общество репортажа о панк-молебне» (бывш. «общество спектакля»). Однако во все остальное он должен истово верить, если не хочет умереть с голоду, а за некоторые ложные сущности обязан кидаться в бой по первому намеку государства (своего или чужого, зависит от жизненных обстоятельств).

Но человек обречен жить среди фантомов не потому, что так решила

какая-то тайная ложа. Дело в том, что самая его сердцевина, ядро, само его «я» — тоже является лингвистически обусловленным симулякром. Его нет нигде, кроме как в отражающих слова зеркалах сознания. А там оно появляется точно так же, как нарисованное облако, озеро или башня — с той только разницей, что вместо вырезанных из бумаги силуэтов к глазу незаметно подносят укрепленную на иголочке букву «Я».

Современная философия

Перед ней стоят две основные задачи: апология применения боевой беспилотной авиации и философское обоснование понятия «активист». На все прочее не предусмотрено грантов, так что и распространяться про современную философию особенно нечего.

Сознание

Появление сознания как трансфизического эффекта связано с квантовой неопределенностью — точнее, с ее схлопыванием. Исходная неопределенность содержит огромное число потенциальных вариантов и возможных форм их проявления. Сознание — это эффект, который возникает при переходе от бесконечного числа непроявленных возможностей к какому-то одному окончательному варианту. Сознание и есть актуализация единственного оставшегося варианта — который при этом осознается. Это как бы сверкающая трехмерная корона невидимого и многомерного черного солнца — или, как мы говорим, Великого Вампира. С метафизической точки зрения сознание — это смерть свободы, поэтому мы называем его темницей.

Если вы заметили, что вы есть и осознаете себя, с вами уже случилось самое худшее из возможного в вероятностном космосе. Случившееся так ужасно, что вам теперь даже не понять, что произошло и с кем, и как что-то вообще может быть иначе — ибо сознание есть безвыходная самоподдерживающаяся тюрьма, из которой нельзя выглянуть даже мысленно.

Поэтому хорошего в сознании мало, хоть ему и поклоняются масоны с индусами. Это своего рода подвал универсума, тупик абсолютной окончательности. Но не в том смысле, что это осознание тупика. Само сознание и есть тупик, из которого нет выхода, пока тюрьма не рухнет. Как сказал поэт — хоть поезд дальше не пойдет, вагонам не видать свободы, и веку воли не видать, как не видать на воле век, и даже некому спросить, зачем ты здесь сидишь и кто ты, откуда прибыл ты сюда, уснувший человек...

Но для большинства людей это слишком сложно. Вампир не стремится объяснить им все до конца. Так, разве что попугать по укурке самых умных.

Примечания

1

«Oracular» — пророческий, загадочный, относящийся к оракулу.

Размер имеет значение. Иногда.

Ложе из роз.

Косметичка, дословно — «суетный набор».

Принц жуликов.

Семинар 1 — человеческая «тяжелая проблема» и легкий путь вампира.

Семинар 2 — что такое дайвинг и чем он не является, лимбо, анимограммы и некронавигаторы.

Ясная смерть.

Я всегда поражаюсь, как средний американец совмещает такое количество дерьма в голове с тем, что его мозги промыты до самой жопы.

Общее выделяемое количество двуокиси углерода, ведущее к глобальному потеплению.

Семинар 3 — Золотой Парашют, разное, выпускная инициация.

Международная элита.

Острием прогресса.

Потребление на показ.

Все, что мы есть — прах на ветру...

Только для персонала.

Любимые люди.

Ненавидимые люди? Безразличные люди?

По всей видимости, Бога не существует.

Сознание любого человека необузданно и испорчено — вы не можете полагаться на него как на своего проводника, потому что это вы должны удовлетворять его прихоти.

Саблезубые пезды.

Наплыв.

Моя вина.

Люди не живут и не умирают, люди просто плывут с течением.

Столпы отвращения.

Возрождение уверенности.

Большой Атман.

У. С. Моэм — Бремя Страстей Человеческих.

Включи голову.

30

Попадание!

31

Посчитай!

Это вампозэкономика, мой мальчик.

Отвратительный.

Изначальный ум.

Работай изо всех сил и живи по правилам.

Извращенная японская порномультипликация.

Изобрети себя заново или умри.

Потому что «не соси мой член» звучит гораздо оскорбительней, чем «соси мой член».

Тяжелое снаряжение.